GALACTICA MEDIA

JOURNAL OF MEDIA STUDIES

VOL 5 NO 3 (2023)

www.galacticamedia.com

The image was generated by Midjourney

E-ISSN: 2658-7734 18+

Galactica Media

Journal of Media Studies

Academic E-Journal

www.galacticamedia.com

Vol. 5, No 3

https://doi.org/10.46539/gmd.v5i3

2023

E-ISSN: 2658-7734 18+

Галактика медиа

журнал медиа исследований

Исследовательский электронный журнал

www.galacticamedia.com

Том 5, No 3

https://doi.org/10.46539/gmd.v5i3

2023

Table of Content

GENERAL THEORY

Anastasia A. Lisenkova & Elena O. Trufanova
Digital Escapism — From Addiction to Asceticism 17

Elizaveta I. Speshilova
Urban Imaginary: City Image and Media Space 35

NEW MEDIA AND HUMAN COMMUNICATION

Lixiong Chen & Nairui Xu
Public Response to Government Information on Weibo: Friction, Contestation, and Crisis Communication During the 2018 Shouguang Flood in China 55

Olga V. Popova & Nikolai V. Grishin
Political Trust of the Russian Youth Through the Prism of Communication Strategies Choice 79

Elena I. Salganova, Sergey S. Bredikhin & Elizaveta V. Shchetinina
Media and Information Literacy of Young Students in the Post-Truth Era 102

Lejonis Aanris van Haaske
How Media Create Ghosts: Paranormal Experiences in the Cultural Space of Modern Russia 121

Dmitriy A. Chernichkin & Anastasiya I. Krivenko
Analysis of Users' Sentiments in Social Media (on the Example of the Astrakhan Region) 145

GAME STUDIES

Fan Li & Liuyan Song
Video Game Music and Cultural Dissemination: A Study of Honour of Kings as a MOBA Game 170

BODY ORIENTED MEDIA THEORY

Ahmet Oktan, Kevser Akyol Oktan & Gülsüm Büşra Çon
Modular Bodies of Animated Characters and Posthumanist Connotations 192

MISCELLANEOUS

Rastyam T. Aliev
Crossing the Threshold: School Shooting as a "Ritual of Chiral Initiation" 221

Maksym W. Kyrchanoff
Visual Rhetoric of Classical European Nationalism 246

Emilia A. Tajsin
Signification and the Problem of Truth 287

CRITICS & REVIEWS

Nikolai B. Afanasov
The Discreet Charm of the Soviet Things 313

Ivan V. Suslov
Mythologization of Time in the Contemporary Media Landscape 329

Содержание

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Лисенкова А. А., Труфанова Е. О.
Цифровой эскапизм — от аддикции до аскетизма 17

Спешилова Е. И.
Urban Imaginary: образ города и медиасреда 35

НОВЫЕ МЕДИА И КОММУНИКАЦИИ

Чен Л., Сюй Н.
Общественная реакция на информацию правительства в Weibo:
столкновение, дискуссия и кризисная коммуникация 55
во время наводнения в Шоугуане в 2018 году в Китае

Попова О. В., Гришин Н. В.
Политическое доверие российской
молодежи сквозь призму выбора информационно-коммуникативных стратегий 79

Салганова Е. И., Бредихин С. С., Щетинина Е. В.
Медиа-информационная грамотность обучающейся молодежи в эпоху Постправды 102

ван Хааске Лейонис Аанрис
Как медиа создают призраков:
паранормальные переживания в культурном пространстве современной России 121

Черничкин Д. А., Кривенко А. И.
Анализ общественных настроений в социальных медиа Астраханской области 145

ИССЛЕДОВАНИЯ ИГР

Ли Ф., Сонг Л.
Музыка видеоигр и культурное распространение:
исследование кейса MOBA-игры “Honour of Kings” 170

ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕОРИИ МЕДИА

Октан А., Акйол Октан К., Чон Г. Б.
Модульные тела анимированных персонажей и постгуманистические коннотации 192

РАЗНОЕ

Алиев Р. Т.
Переход за грань: скулшутинг как «хиральная инициация» 221

Кирчанов М. В.
Визуальная риторика классического европейского национализма 246

Тайсина Э. А.
Сигнификация и проблема истины 287

КРИТИКА И РЕЦЕНЗИИ

Афанасов Н. Б.
Скромное обаяние советских вещей 313

Суслов И. В.
Мифологизация времени в современной медийной среде 329

Dear friends, colleagues, readers and authors!

Galactica Media: Journal of Media Studies is a periodic academic e-journal without printed forms (since 2019). The journal publishes scholastic articles, reviews, information resources, reports of expeditions, conferences and other scientific materials.

This project is a truly ambitious initiative that serves to disseminate scientific intellectual knowledge and information in the field of media and popular culture (history, cultural studies, anthropology, philosophy, etc.) in the modern world community.

It is not for nothing that we used the epithet ambitious, since from the very beginning of its inception and preparation, it really is such. The project was started in 2018 by a small group of enthusiasts, young scientists whose interests lie in the above-mentioned areas of research.

First of all, we have assembled a truly big international team to become the members of our editorial board, people from different parts of our "small global village" called planet Earth, as media culture theorist Herbert Marshall McLuhan put it. Our editors are leading scholars in the field of media and popular culture from Russia, USA, UK, Spain, Austria, Sweden, India, Sri Lanka, China, Malaysia, Ghana.

Therefore, we chose English (the international language of science) and Russian (as the project is an initiative of Russian scientists) as the working languages of the online journal.

Openness, and peer reviews by leading scholars are the fundamental principles of our project (Ethics). And the digital character of modern international communications made us choose the electronic version of the journal (without physical printing). Based on the above while choosing a platform we preferred an open and free engine called Open Journal Systems, which ideally allows to organize the entire publishing process.

This allowed us to automate each stage of publication through the user registration system.

The names and e-mail addresses entered on the website of this online journal will be used solely for the purposes indicated by the journal and will not be used for any other purposes or passed to other individuals or organizations.

Journal publishes articles on quarterly basis.

Our online edition is devoted to the topical issues in the field of studies of media and mass culture in the broadest coverage of: history, cultural studies, anthropology, philosophy, etc.

The title of the journal was chosen as a reference to the work of the famous theorist of media culture, Herbert Marshall McLuhan, who in his periodization of the invention and assimilation by mankind of mass communications (media) introduced the concept of "Galaxy" (Galaxy of Gutenberg, Galaxy Marconi, etc.).

Aim and Scope

To create a virtual platform for exchange of views and discussions in the field of studies of media and mass culture. We strive to ensure that our network publishing performs an important scientific function – communication and information, which allows not only to accumulate new achievements in this area, but also serves as the basis for new discoveries and insights.

Online edition maintains its principles – to ensure the intercultural dialogue and to reduce the conflict of civilizations. It adheres to the philosophy of non-violence, cultural and religious tolerance. The editorial Board aims at removing language barriers while maintaining respect for the national culture of each nation, residing on the small planet Earth.

All materials submitted to the editors will be carefully selected and sent for double-blind review.

Which does not mean though that any article sent to the editor will be accepted for our online edition. Any unscientific or not based on facts article will be rejected by the editors.

All articles are published FREE, but the fee is not paid to the authors.

Best regards,
Editors

- Certificate of registration issued by Roskomnadzor: ЭЛ № ФС77-75215 since 07 march 2019
- Materials are intended for persons over 18 years old.

Уважаемые друзья, коллеги, читатели и авторы!

Сетевое издание Galactica Media: Journal of Media Studies является периодическим научным изданием, не имеющим печатной формы, и выпускается с 2019 года. В сетевом издании публикуются научные статьи, рецензии, информационные ресурсы, отчеты об экспедициях, конференциях и прочие научные материалы.

Данный проект является поистине амбициозной инициативой, служащей распространению научных интеллектуальных знаний и информации, посвящённых исследованиям в области медиа и массовой культуры (история, культурология, антропология, философия и т.д.) в современном мировом сообществе.

Мы не зря использовали эпитет амбициозный, так как с самого начала его зарождения и подготовки он действительно является таковым. Проект был задуман в 2018 году небольшой группой энтузиастов, молодых учёных, сферой интересов которых оказалась вышеуказанная область научных исследований.

Первым делом мы собрали по-настоящему огромную международную команду, которая представлена в редколлегии сетевого издания и охватывает большинство континентов, как выразился теоретик медиакультуры Герберт Маршалл Маклюэн, нашей «маленькой глобальной деревни» под названием планета Земля. Сюда вошли ведущие учёные в сфере медиа и массовой культуры следующих стран: Россия, США, Великобритания, Испания, Австрия, Швеция, Индия, Шри-Ланка, Китай, Малайзия, Гана.

Поэтому в качестве рабочих языков сетевого издания мы выбрали английский (международный язык науки) и русский (так как проект является инициативой российских учёных).

Открытость и рецензируемость ведущими учёными всех поступающих для публикации материалов являются основополагающими научными принципами нашего проекта (основные этические принципы представлены здесь). А цифровой характер современных международных коммуникаций заставил нас выбрать электронный вариант публикации статей (без физической печати). Исходя из вышеперечисленного в выборе платформы для реализации задуманного, мы остановились на открытом и бесплатном движке под названием Open Journal Systems, который позволяет идеально организовать весь издательский процесс.

Это дало нам возможность автоматизировать каждый этап на пути к опубликованию научных материалов через систему регистрации пользователей.

Имена и адреса электронной почты, введенные на сайте этого сетевого издания, будут использованы исключительно для целей, обозначенных этим

сетевым изданием, и не будут использованы для каких-либо других целей или предоставлены другим лицам и организациям.

Мы выходим ежеквартально 4 раза в год.

Сетевое издание посвящено актуальным вопросам в сфере исследований медиа и массовой культуры в самом широком их охвате: история, культурология, антропология, философия и т.д.

Название проекта было выбрано в качестве отсылки к творчеству известнейшего теоретика медиакультуры Герберта Маршалла Маклюэна, который в своей периодизации изобретения и усвоения человечеством средств массовой коммуникации (медиа) использовал понятие «Галактика» (Галактика Гуттенберга, Галактика Маркони и т.д.).

Цель проекта

создание виртуальной площадки для обмена мнениями и дискуссий в области исследований медиа и массовой культуры.

Исходя из цели, мы стремимся к тому, чтобы наше сетевого издание выполняло важные научные функции – коммуникативную и информационную, которые послужат основой для новых открытий и озарений.

Сетевое издание выступает с позиций «идеологии» диалога культур и устранение условий конфликта цивилизаций. Оно придерживается принципов философии ненасилия, культурной и религиозной толерантности. Редакция преследует цель устранения языковых барьеров и уважительного отношения к границам национальной культуры каждого народа, проживающего на маленькой планете Земля.

Все материалы, поступающие в редакцию проходят тщательный отбор и отправляются на двойное слепое рецензирование.

Вместе с тем это не означает, что любая, присланная в редакцию статья, будет напечатана в нашем сетевом издании. Любая антинаучная и не подкрепленная фактологически статья будет отклонена редакторами.

Все статьи публикуются в сетевом издании БЕСПЛАТНО, но и гонорар авторам не выплачивается.

С уважением,
редакция журнала

- Свидетельство о регистрации выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС77-75215 от 07 марта 2019
- Опубликованные в журнале материалы предназначены для лиц старше 18 лет

Editor-in-Chief	**Olesya S. Yakushenkova** PhD, Associate Professor, Astrakhan State University, Russia
Associate Editors	**Serguey N. Yakushenkov** Dr. Habilitatus in History, Professor, Astrakhan State University, Russia
Copy editors	**Emilia A. Taysina** Dr. Habilitatus in Philosophy, Professor, Kazan State Energy University, Russia **Elina A. Sarakaeva** PhD, Hainan Professional College of Economics and Business in Haikou, China **Isabeau Vollhardt** B.A. Philosophy/English University of Washington, USA **Ekaterina V. Teneva** PhD, Saint Petersburg State University, Russia
Editorial Board	**Aleksandr V. Pavlov** Dr. Habilitatus, Associate Professor, Higher School of Economics, Russia **Amador Iranzo** PhD, Universitat Jaume I de Castelló, Spain **Christophe Duret** PhD Université de Sherbrooke, Canada **David Hesmondhalgh** PhD, Professor, University of Leeds, UK **Elena V. Khlyscheva** Dr. Habilitatus, professor, Astrakhan State University, Russia **Gautam Basu Thakur** PhD, Associate Professor, Boise State University, USA **Ibitayo Samuel Popoola** PhD, University of Lagos, Nigeria **Joan Copjec** PhD, Brown University, USA

Editorial Board

Konstantin A. Ocheretyaniy
PhD, Senior Lecturer, St. Petersburg State University, Russia

Kwasu David Tembo
PhD, Independent Researcher, Zimbabwe

Ludmila V. Scheglova
Dr. Habilitatus, Professor, Volgograd State Socio-Pedagogical University, Russia

Madina Tlostanova
PhD, Professor, University of Linköping, Sweden

Maksim V. Kirchanov
Dr. Habilitatus, Associate Professor, Voronezh State University, Russia

Natalya B. Kirillova
Dr. Habilitatus, Professor, Ural Federal University named after the First President of Russia B. N. Yeltsin, Russia

Neeraj Khattri
PhD, Associate Professor, Jaipur National University, Jaipur Rajasthan, India

Qiao Li
Associate Professor, University of Wollongong in Malaysia, Malaysia

Robert Pfaller
Dr. philos., Professor, niversity of Art and Design Linz, Austria

Stephen Duncombe
PhD, Professor, Steinhardt School New York University, USA

Todd A. Comer
PhD, Professor, Defiance College, USA

Todd McGowan
PhD, Associate Professor, University of Vermont, USA

Theodora Dame Adjin-Tettey
PhD, Lecturer, University of Professional Studies, Accra, Ghana

Valeriy V. Savchuk
Dr. Habilitatus, Professor, St. Petersburg State University, Russia

Wasana Maithree Herath
PhD, Senior Lecturer, Uva Wellassa University, Sri Lanka

Главный редактор	**Олеся Сергеевна Якушенкова** к. филос. н., Астраханский государственный университет, Россия
Заместители главного редактора	**Сергей Николаевич Якушенков** д. ист. н., профессор, Астраханский государственный университет, Россия
Литературные редакторы	**Эмилия Анваровна Тайсина** д. филос. н., профессор, Казанский государственный энергетический университет, Россия **Элина Алиевна Саракаева** к. филол. н., Хайнаньский профессиональный колледж экономики и бизнеса Хайкоу, Китай **Изабо Воллхардт** Бакалавр философии университет Вашингтона, Сиэтл Вашингтон, штат Вашингтон, США **Екатерина Веселиновна Тенева** к. филол. н., Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
Редакционная коллегия	**Александр Владимирович Павлов** д. филос. н., Факультет гуманитарных наук / Школа философии НИУ ВШЭ, Россия **Амадор Иранцо** PhD, Университет Хайме I, Испания **Кристоф Дюре** PhD, Университет Шербрука, Канада **Дэвид Хесмондхалг** PhD, профессор, Университет Лидса, Великобритания **Елена Владиславовна Хлыщёва** д. филос. н., профессор, Астраханский государственный университет, Россия **Гаутам Басу Тхакур** PhD, профессор, Государственный университет Бойсе, США **Ибитайо Самюэль Попула** PhD, профессор, Лагосский университет, Нигерия **Джоан Копьек** PhD, профессор, Университет Брауна, США

Редакционная коллегия

Константин Алексеевич Очеретяный
к. филос. н., Санкт-Петербургский государственный университет, Россия

Квасу Дэвид Тембо
PhD, Независимый исследователь, Зимбабве

Людмила Владимировна Щеглова
д. филос. н., профессор, Волгоградский государственный социально-педагогический университет, Россия

Мадина Тлостанова
д. филол. н., профессор, Университет Линчепинг, Швеция

Максим Валерьевич Кирчанов
д. ист. н., доцент, Воронежский государственный университет, Россия

Наталья Борисовна Кириллова
доктор культурологии, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ), Россия

Нирадж Хаттри
PhD, профессор, Джайпурский национальный университет, Индия

Сяо Ли
PhD, профессор, Университет Вуллонгонга в Малайзии, Малайзия

Роберт Пфаллер
Dr. philos., профессор, Университет искусств и дизайна Линца, Австрия

Стивен Дункомб
PhD, профессор, Школа Стейнхардта Нью-Йоркского университета, США

Тодд А. Комер
PhD, профессор, Колледж Дефайнс, США

Тодд МакГован
PhD, профессор, Вермонтский университет, США

Теодора Даме Аджин-Тетти
PhD, лектор, Профессиональный университет в Аккре, Ghana

Валерий Владимирович Савчук
д. филос. н., профессор, Санкт-Петербургский государственный университет, Россия

Васана Мейтри Герат
PhD, старший лектор Университет Ува Велласса, Шри-Ланка

Founder	Limited Liability Company Scientific Industrial Enterprise “Genesis. Frontier. Science”
Address	57, Granovskiy St. apt. 2, Astrakhan, Russia 414038
Editor-in-Chief	Olesya S. Yakushenkova
Email	admin@galacticamedia.com
Support Contact	Rastyam T. Aliev
Email	rastaliev@galacticamedia.com

The opinion of the editorial board
may not coincide with the opinion of the authors

Учредитель	Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «Генезис.Фронтир.Наука»
Адрес редакции	414038, Астраханская обл., г. Астрахань, Грановский пер., д. 57, кв. 2
Главный редактор	Олеся Сергеевна Якушенкова
Email	admin@galacticamedia.com
Представитель технической поддержки	Алиев Растям Туктарович
Email	rastaliev@galacticamedia.com

Мнение редколлегии журнала
может не совпадать с мнением авторов

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2023. No 3 | ISSN: 2658-7734
General Theory | https://doi.org/10.46539/gmd.v5i3.412

Digital Escapism — From Addiction to Asceticism

Anastasia A. Lisenkova (a) & Elena O. Trufanova (b)

(a) Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University. Saint-Petersburg, Russia. Email: oskar46[at]mail.ru

(b) The Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences. Moscow, Russia. Email: iph[at]etrufanova.ru

Received: 12 July 2023 | Revised: 24 August 2023 | Accepted: 29 August 2023

Abstract

The rapid development of digital virtual reality has exposed social problems associated with the transformation of forms of cultural experience transmission, adaptation, socialization, and communication. Information saturation and stress caused by the acceleration of the life rhythm, constant changes on the one hand, and an attractive, constructed hypervisualized digital world on the other, have created conditions for the emergence and development of new forms of escapism and digital avoidance. The purpose of the study is to assess the degree of influence, opportunities, and risks associated with the problems of human interaction and the new virtual reality, ways to escape from the "routine of everyday life" into a new digital environment. Within the framework of the study, the forms of digital escapism were identified as ranging from radical, replacing reality, to conscious and balanced forms within the framework of digital asceticism based on the principles of eco–friendly network consumption and digital ethics. As a result, it was concluded that the growth of escapist tendencies indicates the imbalance of digital and physical realities and needs a harmonious hybrid inclusion in the daily life of society of digital consumption norms based on the principles of de-anonymization and social responsibility, as well as the rules of digital hygiene.

Keywords

Digitalization; Digital Escapism; Virtualization; Digital Asceticism; Communication; Personal Identity; Public; Private; Subjectivity; Hybrid Environment

This work is licensed under a Creative Commons "Attribution" 4.0 International License

Цифровой эскапизм — от аддикции до аскетизма

Лисенкова Анастасия Алексеевна (a), Труфанова Елена Олеговна (b)

(a) Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Санкт-Петербург, Россия. Email: oskar46[at]mail.ru

(b) Институт философии РАН. Москва, Россия. Email: iph[at]etrufanova.ru

Рукопись получена: 12 июля 2023 | Пересмотрена: 24 августа 2023 | Принята: 29 августа 2023

Аннотация

Бурное развитие цифровой виртуальной реальности обнажило проблемы социального характера, связанные с трансформацией форм передачи культурного опыта, адаптации, социализации и коммуникации. Информационное перенасыщение и стресс, вызванный ускорением ритма жизни, постоянными изменениями, с одной стороны, и привлекательный, конструируемый гипервизуализированный цифровой мир, с другой, создали условия для появления и развития новых форм эскапизма и цифрового избегания. Цель исследования – оценить степень влияния, возможности и риски, связанные с проблемами взаимодействия человека и новой виртуальной реальности, способы ухода от «рутины повседневной жизни» в новую цифровую среду. В рамках исследования были определены формы цифрового эскапизма: от радикальных, замещающих реальность, до осознанных и сбалансированных в рамках цифрового аскетизма, основанного на принципах экологичного сетевого потребления и цифровой этики. В результате был сделан вывод о том, что рост эскапистских тенденций свидетельствует о несбалансированности цифровой и физической реальностей и нуждается в гармоничном гибридном включении в повседневную жизнь общества норм цифрового потребления, основанных на принципах деанонимности и социальной ответственности, а также правил цифровой гигиены.

Ключевые слова

цифровизация; цифровой эскапизм; виртуализация; цифровой аскетизм; коммуникация; личностная идентичность; публичное; приватное; субъектность; гибридная среда

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons “Attribution” («Атрибуция»)4.0 Всемирная

Введение

Современная социальная среда характеризуется неустойчивостью. Некоторые современные исследователи определяют ее уже не только в акронимах VUCA (изменчивая, неопределенная, сложная, двусмысленная) и BANI (хрупкая, тревожная, нелинейная, непостижимая), но и в определениях SHIVA (расщепленная, ужасная, невообразимая, беспощадная, возрождающаяся) и TACI (турбулентная, случайная, хаотичная, враждебная). Подобные определения фиксируют то, что современный мир стремительно меняется, в каждый момент являясь трудно предсказуемым для человека, и становится очевидным то, что человеческая цивилизация находится в данный момент в очередном переходном периоде к новой парадигме общественной жизни. Этот переход назрел под воздействием все более активного внедрения новых технологий передачи и распространения информации, которые мы обобщенно можем назвать сейчас цифровыми. Их внедрение оказало влияние на все сферы общественной жизни, а пандемия не дала возможности пройти период адаптации более плавно: многие новые способы цифровых взаимодействий пришлось вводить в социальную практику авральным путем, что создало дополнительную напряженность. Текущий мировой политический кризис хотя и не связан с этой ситуацией напрямую, но, несомненно, усугубляется из-за ее нерешенности. Как следствие, бытие современного человека в обществе характеризуется с одной стороны высокой степенью риска (техногенного, природного, социально-политического и т.д.), а с другой — высокой информационно-событийной насыщенностью. Последнее означает, что количество информационных событий, происходящих за определенный промежуток времени, очень высоко (однако значимость этих событий может быть различной). Эта насыщенность быстро приводит к чувству усталости, снижающей успешность когнитивной деятельности человека, а также негативно влияющей на его социальные коммуникации, изменяя и размывая границы публичного и приватного, в пространстве непрерывных виртуальных интеракций. Цифровое буквально вторглось в повседневную жизнь каждого человека, создавая неразделимую коммуникативную среду, в которой повседневные жизненные практики становятся гибридно вплетенными в онлайн пространство, и каждый субъект, включенный в цифровой мир, оказывается объектом для новых акторов и алгоритмов глобальных сетей и цифровых корпораций. Непрямая передача опыта, киберсоциализация также стимулировали трансформацию поведенческих паттернов, изменяя ценностно-смысловое восприятие реальности, раскалывая ее на множество публичных, раздробленных фрагментов гипертекстовых переходов, и при этом собирая эту бесконечную делимость в единую цифровую целостность. Развитие технологий ещё более обнажило проблемы социального характера, оказывающие влияние на человека, изменяя процессы идентификации, социализации,

персонификации, предъявляя новые требования к каждому участнику и создавая условия для развития креативности нового порядка, формируя новые запросы на развитие цифровой субъектности. Особенно ярко данные тенденции проявляются у представителей т. н. цифровых поколений, т. е. в молодежной среде.

Современная цифровая открытость, изменение границ приватного и публичного, близкого и далекого, «своего» и «чужого/чуждого» создают условия для новых форм «обживания» и «очеловечивания» этого пространства, а уход от анонимности, характерный для современного цифрового пространства, порождает дополнительные риски депривации, цифрового избегания и манипуляций. В виртуальном мире границы норм, ценностей, девиации становятся более гибкими и проницаемыми. Дезориентация виртуальности оказывает существенное влияние на реальный мир, изменяя привычки потребления и взаимодействия его субъектов.

Ситуация пандемии COVID-19 в данном отношении привела к изменению многих привычек потребления и буквально вытолкнула всех в цифровой мир, оказав колоссальное влияние на способы коммуникации, взаимодействия, постоянной активности, размывая границы рабочего и свободного времени, вынуждая быть включенными во все процессы 24 часа 7 дней в неделю. Это в результате привело к информационному пресыщению, медиабулимии, киберагрессии и колоссальному стрессу цифрового гиперпотребления (Труфанова, 2019). Данные тенденции проявляются и в молодежной среде, где цифровое потребление подчас обесценивает офлайн-коммуникации и создает иллюзию доступности и возможности переноса различных форм цифровых коммуникаций в обыденные практики, что не всегда является приемлемым и адекватным реальному физическому взаимодействию. В связи с испытываемым в результате осознания риска стрессом и информационным перенасыщением, вызывающим утомление и снижение когнитивных способностей, человек начинает искать возможности для отдыха от этой ситуации постоянного напряжения, для бегства из нее, для эскапизма.

Мы уже показывали ранее (Труфанова, 2021b), что цифровая среда выступает в качестве «третьей природы», когда «первая» природа — это собственно природный окружающий мир, а «вторая» природа» — созданная с помощью науки и технологий искусственная среда обитания человека. Создание «второй природы» необходимо для выживания человека, оно является проявлением фундаментального «эскапизма» человека — «бегства» от природных опасностей к создаваемым искусственно защите и комфорту (Tuan, 1998, p. 124). Цифровая «третья природа» сначала оказалась пристанищем для тех, кто стремится погрузиться в виртуальные коммуникации, оторвавшись от повседневности, но затем сама стала местом, откуда хочется сбежать.

Эскапизм это, прежде всего, механизм адаптации человека к неоптимальным условиям окружающей среды: мы естественным образом всегда стремимся перейти от состояния дискомфорта к состоянию комфорта.

Это явление нейтральное само по себе, оно не несет той изначально негативной нагрузки, которую ему обычно приписывают, приравнивая эскапизм к нежеланию видеть проблемы или отказу от активной жизненной позиции. В определенных ситуациях мы можем либо пытаться изменить среду, либо же уйти от ее негативного воздействия. К примеру, мы не можем «выключить» идущий дождь, но мы можем открыть зонтик и «спастись» с его помощью от дождя, хотя бы частично. Таким же образом мы можем быть недовольны повседневной рутиной и не можем изменить ее, но мы в состоянии временно «выключиться» из этой повседневности различными способами. Рутина утомительна, и такое переключение необходимо — это не признак слабости, это естественный механизм адаптации, или копинга. Оксфордский словарь определяет эскапизм как тенденцию искать отвлечения и разгрузку от неприятной реальности, особенно в поисках развлечений или погружения в фантазии. Согласно этому определению, эскапизмом может быть что угодно, «от виртуальных видеоигр до приготовления сложных кулинарных рецептов» (Warren, 2020). Однако в современном мире самая масштабная форма эскапизма, как правило, связана с цифровыми технологиями, так как по своим эскапистским возможностям «киберпространство несравнимо ни с какими другими формами избегания, внешними или внутренними» (Шапинская, 2013, с. 2), которые существовали до появления виртуальной цифровой реальности. Возможности и механизмы «виртуальной реальности позволяют современному человеку входить в воображаемые миры с убедительной правдивостью, высвобождая громадный потенциал для фантазии, самооткрытия и самоконструкции» (Posters, 1995, p.81)

Таким образом, эскапизм применительно к проблемам взаимодействия человека с современной цифровой средой (назовем его цифровым эскапизмом) приобретает разные формы. Нами было выделено две основных формы цифрового эскапизма, выраженных в первом случае в виде бегства в виртуальный мир от неустойчивости и изменчивости реального физического мира, иногда приводящего к различным формам цифровой аддикции, и во втором – в различных видах избегания цифровых технологий и виртуального взаимодействия в новой цифровой реальности, вплоть до полного цифрового аскетизма. Анализ этих форм цифрового эскапизма является одной из важных задач в исследовании бытия человека в современном цифровизирующемся мире.

Цифровой эскапизм

Говоря о цифровом эскапизме, современные исследователи придерживаются различных позиций. Например, В.А. Плешаков определяет социализацию в цифровой среде как «процесс качественных изменений структуры самосознания личности и мотивационно-потребностной сферы, происходящий под влиянием и в результате использования человеком современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий в контексте усвоения и воспроизводства им культуры» (Плешаков, 2016, с.5). Он отмечает, что цифровой мир выглядит безопасным, менее стрессогенным и более открытым, объясняя это тем, что в цифровой среде нет ощущения высокого уровня ответственности, в ней существенно легче почувствовать себя практически идеальным, некоей улучшенной версией себя, что влечет, по его мнению, риски эскапизма и десоциализации. Другая точка зрения связывает данное явление с социальным аутизмом, описывая его как отказ от реальных (т. е. существующих вне виртуального цифрового пространства) социальных ролей в угоду проявлению внутренних состояний человека, что «способствует развитию аутентичности личности» и социальной виртуальной активности. Одной из причин такой популярности цифровых ресурсов является «выраженная тенденция индивидуализации, частичная утрата традиционных социальных связей, увеличение количества формальных контактов между людьми при сокращении доли «качественного общения» (Болдакова, 2015, с. 153). Существенным драйвером цифрового эскапизма становится поиск социального признания и накопление паблицитного капитала с необходимостью конструирования «цифровых проектных идентичностей» (Лисенкова, 2021, с. 90), через процессы «сотворения себя» (Кэмпбелл, 1997, с. 242) в виртуальном мире. При этом цифровой эскапизм часто рассматривается как «избегание реального мира в его разнообразных проявлениях» (Calleja, 2010, с.336). Вместе с тем очевидно, что реальность, под которой мы понимаем физический мир повседневного существования социума вне виртуального пространства, — это сложный концепт, а в цифровую эпоху реальность все чаще предстает в бинарной оппозиции виртуальному. Суть данного утверждения заключается в том, что виртуальный цифровой эскапизм противостоит физическому, т.к. опосредован техническими средствами коммуникации, что еще более усугубляет разрыв с физическим миром и приводит к избеганию физической повседневности. Крайнее проявление такого эскапизма – сознательное ограничение офлайн-общения, виртуальное затворничество и бегство в «паскалианской тоске» (Sacasas, 2019) от собственного «Я» в другой мир, в свою «вторую жизнь» (second life).

Вместе с тем цифровой эскапизм имеет не только отрицательный характер. Современные исследования характеризуют две значимые формы цифрового эскапизма, направленные на самоподавление (Self-Suppression) и саморазвитие (Self-Expansion) (Stenseng, Rise, & Kraft, 2012). При самоподавлении человек, избегая негативных и неприятных эмоций, прячется в цифровом мире, а при саморазвитии использует цифровой опыт для эмоционального, творческого и интеллектуального обогащения, приумножая различные сферы взаимодействия в реальной жизни за счет виртуальных контактов и расширяя сферу воображаемого. В обоих случаях сбалансированная доля цифрового эскапизма может быть продуктивной, т.к. приносит расслабление, нарушая монотонную рутину повседневности и стресса, привносит наслаждение фантастическим, зачастую воображаемым миром,

ведет к самосовершенствованию, росту креативности и инновациям в различных сферах. Виртуальное воображаемое позволяет временно отстраниться от настоящего момента. Так, например, Й. Туан рассматривает цифровой эскапизм как определяющий элемент человека, культуры и воображения утверждая, что «реальность всегда соотносится с конкретным социальным, географическим и индивидуальным контекстом, а цифровая виртуальная реальность представляет большой спектр разнообразных контекстов и впечатлений, создавая условия для развития, воображаемого и различных положительных форм цифрового эскапизма» (Tuan, 1998, p. 21).

Рассматривая положительные и отрицательные механизмы, A. Evans (Evans, 2003, p.124) выделяет четыре типа цифровых эскапистов:

- **уклоняющиеся** – классическая форма эскапизма, в которой пользователи избегают любых реальных действий, максимально погружаясь в мир виртуальной реальности (представители цифровых сообществ, зависимые зрители и подписчики блогеров);

- **пассивные** – молчаливое наблюдающее большинство, нуждающиеся в кратковременном избегании и эмоциональной разрядке; они обладают низкой включенностью в «цифровую жизнь», не требуют откликов и интерактивности, в большей степени играют роль зрителя (потребители новостного контента, подверженные алгоритмам нейросети и попадающие в информационные коконы и ловушки собственных предпочтений);

- **активные** – непосредственные участники «строительства цифрового мира», наполняющие его контентом, создающие алгоритмы (предприимчивые цифровые трейдеры, блогеры, геймеры, представители IT-индустрии);

- **экстремальные** – разрушающие реальный мир цифровой виртуальной зависимостью и агрессией (игрозависимые, азартные, совершающие сетевые противоправные действия).

Очевидно, что цифровой эскапизм зачастую кажется легким способом отвлечения и ухода от реальных жизненных проблем. Цифровая среда создает для этого все условия, разрабатывая все более сложные алгоритмы, разнообразные платформы и тонко настроенный контент под запросы пользователей. При этом цифровому эскапизму подвержены все возрастные группы, он не имеет темпоральных ограничений. В ловушку зависимостей попадает не только молодежь, но и старшие поколения, избегающие одиночества, болезненных, неприятных эмоций, уходя от реальной ответственности в социальное дистанцирование цифрового мира. Рост цифрового эскапизма среди людей более зрелой возрастной когорты связан с развитием различных сервисов для так называемых «цифровых эмигрантов» (тех, кто был рожден до 1990 г. вне бурного развития цифровых технологий) (Prensky, 2011, p. 19), т. к. расширение цифрового рынка происходит сегодня именно за счет его освоения данной категорией, и эти процессы все более алгоритмизируются, попадая в сферу интересов цифровых гигантов, конвертирующих цифровой

эскапизм в реальные доходы и влияние. При этом цифровые корпорации, выстраивая на платформах в рамках заданных алгоритмов удобный, ценностно приемлемый контент для каждого пользователя, оставляют все меньше возможностей для анонимности и приватности. Собирая в единую целостность различные профили, интересы, предпочтения и статусы своих пользователей они создают беспрецедентные условия для сращивания реальной и цифровой среды, а также максимальной включенности в эту среду всех жителей планеты. Таким образом, в связи с возрастающей степенью деанонимизации виртуальное пространство все в меньшей мере предоставляет возможности для психологического «бегства» и ухода от ответственности в вымышленный мир, поэтому виртуальная цифровая среда, «создавая новые возможности для удовлетворения эскапистских потребностей, не является основной причиной эскапизма» (Trufanova, 2021a, p. 826).

Данные трансформации влекут за собой пересмотр подходов к взаимодействию всех субъектов и сообществ «от характеристики архаичных и классических акторов в цифровой среде к становлению новой киберсоциальной агентности» (Аршинов, 2021, с. 43). Цифровой виртуальный мир – это продолжение мира реального воображаемого, опосредованного визуализированными компьютерными технологиями. В современных условиях развития цифровых виртуальных пространств наиболее оптимальной видится позиция по отношению к этому миру, обозначаемая терминами гибридности и диалогичности. Так, например, Е. Кастронова подчеркивает, что наступающая виртуальность «создает беспрецедентную форму массового исхода из реального мира, которая коренным образом изменит их оба, породив новые формы нецифрового эскапизма и постоянной виртуальной миграции» (Castronova, 2005, 2008).

В современной информационно- и коммуникативно-перенасыщенной среде, где ключевыми источниками стресса, дискомфорта являются разнообразные получаемые сообщения, эскапизм прежде всего выступает как бегство от общества, от избыточных социальных контактов, от избытка информации. В то же время цифровые технологии сейчас являются одним из основных способов поддержания социальных контактов, которые количественно превышают число «реальных» офлайн-контактов, но качественно отличаются от них. Не будучи в состоянии удостовериться в истинности той или иной информации, многие люди стараются отгородиться от ее притока в целом, чтобы не повышать уровень стресса, вызванный растерянностью от невозможности адекватно классифицировать поступающие данные.

Цифровой эскапизм в связи с этим выступает двояко. Это, с одной стороны, эскапизм *с помощью* цифровых технологий, с другой стороны — это эскапизм как бегство *от* цифровых технологий.

Помимо очевидных эскапистских технологий (погружение в виртуальную реальность, активное использование онлайн-игр и т. д.), в первом случае можно также выделить создание и поддержание особых форм цифровой

жизни, т. е. ведение персонализированных онлайн-профилей и социальных сетей в ущерб социальной жизни, протекающей в физической среде.

Этот первый случай, касающийся онлайн-игр, виртуальных «путешествий» по Метавселенной и т. д., не является чем-то оригинальным. Это такое же использование технологий для в первую очередь рекреационного эскапизма как просмотр сериала, компьютерная или видео-игра до-сетевой эпохи или даже чтение книги для «переключения» с повседневной ситуации на вымышленную. Это прежде всего «уклоняющийся» и «экстремальный» эскапизм, в терминологии Эванса. В таком эскапизме нет принципиальной новизны, в отличие от второго типа эскапизма.

Как верно пишут психологи А. Л. Журавлев и Т. А. Нестик, любые «технологии сначала выступают в качестве «игрушек», затем они становятся «зеркалом» для самого общества, когда собственно техническая сторона продукта становится привычной, отходит на второй план, и внимание пользователей сосредоточивается на полезных свойствах, переходит с формы на передаваемое содержание» (Журавлев, Нестик, 2016, с. 8). Именно подобный переход мы наблюдаем в связи с развитием цифровых технологий, в ходе которого происходит перенос акцента на эскапизм второго типа.

Второй описанный тип менее очевиден, прежде всего — для самого субъекта, который ему подвержен. Современный мир в его пост-пандемийном формате позволяет вести активную социальную жизнь, не выходя за пределы цифрового мира — мы можем осуществлять трудовую деятельность в «удаленном» формате, выражать свою гражданскую позицию в социальных сетях, участвовать в коммуникациях с различными онлайн-сообществами по интересам, даже участвовать в политической жизни страны через системы электронного голосования. Такой стиль жизни очень трудно считать эскапизмом в смысле «бегства от общества»; напротив, количество социальных коммуникаций в нем будет даже больше, чем при непосредственных физических взаимодействиях. Такое активное социальное поведение в Сети может подкрепляться не менее активной социальной жизнью в физической среде, и тогда об эскапизме в принципе не имеет смысла говорить. Однако в ряде случаев оно может почти полностью замещать взаимодействия в физической среде. Именно второй тип эскапизма представляет наибольший интерес, поскольку он выступает неявно и может расцениваться по-разному.

Цифровая аддикция

Итак, в современной среде обитания человека, где цифровые и нецифровые процессы сплетаются в единое целое, вопрос о цифровом эскапизме оказывается неоднозначным. С одной стороны, еще с ранних этапов развития Интернета начали возникать сообщения об Интернет-аддикции. Е. В. Петрова, в частности, указывает на существование томографических исследований мозга, которые демонстрируют, что «состояние мозга людей в процессе погру-

жения в цифровую реальность схоже с воздействием на мозг веществ, изменяющих сознание» (Петрова, 2022, с. 101). Тем не менее, понятие Интернет-аддикции не стало медицинским термином, а, скорее, обозначило определенный тип социального поведения. Если раньше речь шла преимущественно о чрезмерном использовании рекреационных ресурсов Интернета, то сейчас эта аддикция приобретает новые формы и градации — от обсессивной регулярной проверки своих цифровых устройств до полного погружения в цифровые коммуникации с ущербом для внецифровой социальной жизни. Яркой иллюстрацией этого явления могут служить данные исследований цифрового потребления в мире, которые говорят о том, что 80% людей проверяют телефон в первые 10 минут после пробуждения, 83% испытывают дискомфорт, если забыли телефон, 54% испытывают панику при низком заряде своего гаджета (менее 20%), 67% пишут сообщения людям, находясь с ними в одном помещении, 65,6% проверяют свои телефоны более 160 раз в течение дня (Демахина, 2021), 17% молодежи предпочитают яркую онлайн жизнь рутине офлайн повседневности, среди геймеров этот показатель достигает 52% (Kane, 2021). Зависимость от цифровых средств коммуникации, необходимость быть постоянно «на связи» становится навязчивой привычкой, порождая экзистенциальную тоску и недомогание от возможности быть наедине со своими мыслями вне информационного роя виртуальной среды. Постоянная манифестация «Я здесь!», «Я с вами!» позволяет ощущать мнимую полноту жизни, вызывая специфические нарушения социализации – так, человек коммуникабельный, социализированный, успешный в виртуальном мире, может оказаться исключенным из реальной социальной жизни, иметь девиации и быть совершенно одиноким.

В этой связи психологи выделяют ряд факторов риска цифровой аддикции личности, связанные с бесконтрольным цифровым потреблением, указывая на то, что на первый план выходит патологическое изменение потребностей: «смыслообразующим мотивом становится именно потребность нахождения в сети, все остальные отходят на второй план» (Лысак, 2017), то есть существенным становится не то, какое количество времени человек проводит в цифровом пространстве, а то, что оно становится главным смыслом его жизни. Это своего рода подмена повседневных социальных практик, реализуемых в физическом мире, социальным сетевым действием, которое мы расцениваем как эскапизм, фактически – перенос своей активности в действие виртуальное, при отсутствии физического, выраженного в особой форме интерпассивности (С. Жижек). Потребность стать кем-то в виртуальном мире, подменяя реальные поступки виртуальными микродействиями (лайками, репостами, сообщениями) и виртуальными отношениями, приводит к избеганию реальности, а «глобальная технологическая среда, обладая своей системой символов, форм и алгоритмов идентификации, становится равнозначной по отношению к реальности, где действие и поступок замещаются наличием, присутствием и обозначением» (Лисенкова, 2022, с.

324). Обилие информации, ее переизбыток сказывается на том, что решения и поступки людей становятся все менее осмысленными, подверженными мнению и оценкам других людей, услужливо «подкинутыми» алгоритмами нейросети в удобный персональный информационный мир, что в результате приводит к изменению личного мировоззренческого дизайна и кризису ценностно-смысловой самоидентификации.

Так, парадоксальным образом, сегодня человек, активно участвующий в социальной жизни, может одновременно быть затворником и избегать ее. В качестве яркого примера крайней стадии цифрового эскапизма можно привести культуру хикикомори, добровольно выбирающих асоциальный образ жизни и затворничество, не принимающих общественные нормы и правила и не желающих обременять себя социальной ответственностью. В данной форме цифрового ограничения находит отражение присвоение мнимой идентичности с отсылкой к культурной традиции Японии (при этом основанной на присвоении исключительно внешних маркеров данного явления, вне идеологии). Современная интерпретация культуры хикикомори фактически представляет собой некую форму «цифрового дауншифтинга» (бегства от реальности) (Баева, 2018, с. 54). В то же время, хикикомори, ведя абсолютно закрытый образ жизни, зачастую буквально — в пределах своей комнаты, — тем не менее, могут быть активны в онлайн-сообществах (в том числе — сообществах для общения с другими хикикомори), а также иногда осуществляют дистанционную работу или участвуют в торгах на бирже, в майнинге криптовалют и т. д. Таким образом, подобный эскапизм является частичным — это по сути устранение из физической среды взаимодействий при сохранении активной социальной позиции и цифровой активности.

В российском цифровом сегменте, впрочем, это движение демонстрирует не столько антисоциальную направленность, сколько присвоение элементов романтизированной экзотической культуры, особенно это касается виртуальных сетевых сообществ “Hikikomori Girls” с элементами игры и эпатажа. В российской практике культура хикикомори тесно переплетается с субкультурами и фэнпабликами аниме. Данное слияние существенно отличается от японской практики, где поклонники аниме (культура каваи), скорее, противоположны хикикомори. В российском сегменте эти явления оказались соединены в некоем конструкте социального цифрового воображаемого, состоящего из разных по сути явлений (фактически это возможность бегства в непонятный, волшебный, чуждый цифровой мир японской культуры через привычный способ виртуальных коммуникаций). Цифровая изоляция здесь сочетается с возможностью ухода от привычных визуальных, эстетических форм и норм общения, придавая романтический флер своему уединенному идеализированному миру, но фактически попадая в ловушку двойного эскапизма цифровой реальности и другой культуры. Эскапизм в данном отношении воспринимается как перемещение в более желанное место или ситу-

ацию и тесно связан с воображением, это скорее эскапизм первого вида, выделенного нами ранее.

Однако не всегда этот вид эскапизма выступает как аддикция и вследствие этого не всегда может расцениваться как эскапизм как таковой: это может быть просто разделением двух сред «обитания» на публичную (реализуемую в цифровой среде) и приватную (реализуемую в физической среде). В таком случае человек переносит свою публичную социальную деятельность (включая трудовые отношения) преимущественно в цифровой формат, оставляя для физической среды только частную жизнь, контакты с близкими людьми. В таком формате мы говорим об ограничении цифровых контактов как о роскоши, которую не всякий может себе позволить. Это означает, что человек может позволить себе не работать на постоянной основе, не думать о собственном имидже, а просто жить в свое удовольствие. Свобода и независимость от технических средств воспринимаются в данном отношении как элитарность, как медиаснобизм (демонстративное не- потребление), и цифровой аскетизм уступает под натиском виртуальной коммуникативной среды свое место цифровому эскапизму, когда сбежать в виртуальную среду оказывается более просто и доступно. Разумеется, это касается такого типа общества, в котором цифровые коммуникации хорошо развиты и глубоко внедрены в повседневную жизнь, тогда как для обществ, находящихся по другую сторону «цифрового разрыва», именно наличие возможности использовать цифровые устройства, напротив, будет символизировать более высокий социальный статус, а умение хорошо владеть ими будет важным преимуществом на рынке труда. Вместе с тем, с целью всестороннего исследования и понимания различных форм цифрового эскапизма, видится логичным обратить внимание на связанное с ним понятие, присущее в большей степени элитарным сообществам – цифрового аскетизма.

Цифровой аскетизм

Цифровой аскетизм, называемый также медиааскетизмом, цифровым воздержанием, экологичным цифровым потреблением и др., представляет собой практику сознательного ограничения в использовании цифровых коммуникаций. Данное явление в современном мире приобретает все более массовый характер, несмотря на то, что полный цифровой аскетизм в современном обществе практически невозможен. Это связано с тем, что ускоренные темпы цифровизации во многом вытеснили время отдыха и досуга вне пространства сетевых коммуникаций из повседневной жизни человека, что, безусловно, привело к психологическим перегрузкам и желанию избавиться от причины постоянного стресса.

Вместе с тем очевидно, что попытки регулировать цифровое потребление предпринимаются наиболее «продвинутыми» субъектами современного общества. Данная тенденция пришла из западных IT корпораций, когда такие

персоны, как Билл Гейтс, ввели запреты на чрезмерное использование гаджетов в семье и в нерабочее время. В России цифровой аскетизм присущ в большей степени узкому сегменту образованных, достаточно обеспеченных предпринимателей, руководителей компаний, представителей творческих профессий и рассматривается скорее как модный тренд, реализуемый в практиках «цифрового шаббата», «аналоговых вечеринок», digital detox, где свобода от цифровых технологий выступает маркером новой роскоши, выраженной в возможности отключиться от онлайн коммуникации.

Наконец, еще одной чертой, демонстрирующей, что именно выход за пределы цифрового мира является современной роскошью, является то, что цифровая среда становится во многом эрзацем недоступного нам в физической среде желаемого — мы листаем картинки с красивыми пейзажами в социальной сети, в то время как другие могут позволить себе поехать в эти места в реальности; мы флиртуем с другими пользователями, стесняясь делать это с реальными людьми, и т. д. Как следствие, многие люди могут обладать дорогим смартфоном, но не иметь возможности позволить себе рекреационную поездку за пределы своего региона. «Путешествие» в цифровые миры, взаимодействие с цифровыми субъектами оказывается доступнее и проще, чем жизнь за пределами цифрового пространства.

Вместе с тем, как мы отмечали выше, в небольших городах складывается противоположная ситуация, здесь превалирует цифровой разрыв и цифровое неравенство. Это связано с тем, что доступ к цифровым технологиям, наличие новых цифровых навыков и компетенций позволяют быть более востребованными на рынке труда и получать доступ к различным образовательным ресурсам и платформам. Таким образом, очевидно, что в современном мире мы наблюдаем два вектора развития взаимодействия в цифровой среде: с одной стороны, это максимальное погружение в виртуальный мир с его нормами и правилами цифрового потребления и взаимодействия, с другой стороны, избегание и минимизация соприкосновения с «цифрой». В данном отношении видится значимым то, что цифровой аскетизм выступает здесь не в качестве полного отказа от цифрового потребления, а как необходимая и экологичная практика ограничения информационных потоков. Возможно, такой подход станет необходимым вектором развития цифровой среды, цифровой этики в современной России и цифровых норм в будущем. Фактически мы сегодня говорим о движении Digital Ascetism 2.0 (пришедшего на смену медиааскетизму) – как способе борьбы с обилием информации, новом векторе развития критического мышления и осознанного экологического цифрового потребления.

Так, полный отказ от цифровых гаджетов может расцениваться нами как крайняя степень эскапизма *от*, тогда как цифровой аскетизм 2.0 пытается найти пределы адекватного цифрового потребления. Однако, как мы уже показали выше, этот процесс зависит во многом от социального статуса пользова-

теля и того, насколько он может позволить себе ограничить цифровые коммуникации без ущерба для себя. Для того, чтобы достигнуть комфортного для индивида уровня цифрового потребления, необходима разработка цифрового этикета, который будет минимизировать несанкционированное вторжение в личное пространство человека, уточнение формата удаленной работы (ее нормирование), четкое разделение рабочих и личных цифровых гаджетов, аккаунтов и т. д. Можно предположить, что большинство людей сейчас испытывают усталость от цифровых технологий, но не могут себе позволить даже на время отказаться от них, поскольку от этого зависят как их трудовая деятельность, так и их личные отношения с другими людьми. Эта усталость и ведет к все большей востребованности цифрового аскетизма.

Заключение

Мы показали, что цифровой эскапизм может быть представлен разными формами. Во-первых, это рекреационный эскапизм с помощью цифровых средств. Во-вторых, это эскапизм в форме цифровой аддикции, когда цифровой мир замещает собой мир физический. В-третьих, это цифровой аскетизм, который, напротив, является эскапизмом *от* цифровых технологий. Нет смысла оценивать эти формы как однозначно позитивные или негативные поведенческие стратегии — все из них в радикальной форме будут выступать как негативные тенденции, однако в умеренной форме все они нейтральны.

Однако возрастание числа эскапистских тенденций, в том числе в радикальных формах, связанных с цифровыми технологиями, говорит о несбалансированности взаимодействия цифровой и физических сред в современном мире. В рамках данных тенденций необходимо изменение вектора от хаотического освоения цифрового пространства по заданным сетевым алгоритмам к гармоничному гибридному включению цифровой реальности в повседневную жизнь современного человека на принципах деанонимности и технологического расширения жизни современного общества. Востребованным является воспитание ответственности за свои сетевые действия, чему должен способствовать отказ от анонимности, а также разделение цифровой среды на разные сферы, в одних из которых анонимность возможна (например, сетевые ролевые компьютерные игры, суть и привлекательность которых заключается именно в создании иного «игрового» образа, отличающегося от себя), но в других — недопустима (социальные сети, комментарии в онлайн-ресурсах, аккаунты в онлайн-сервисах и т. д.). Пространство для цифрового эскапизма должно быть отделено от пространства ответственных социальных действий, что будет способствовать улучшению качества взаимодействий в обеих этих средах. Необходимо продолжение исследования различных форм цифровых коммуникаций и интеракций, создание новых понятийно-терминологических словарей, внедрение в школьные образовательные модули курсов цифровой гигиены, цифровой безопасности, медиаграмотности и тренингов

по формированию критического мышления (сегодня данные программы существуют в рамках некоторых ФГОС вузов и ссузов, но практически отсутствуют в школе). Необходимо осуществление научной экспертизы и социокультурного инжиниринга происходящих изменений в различных сферах жизни общества, анализ этических, нравственных, ценностных оснований и последствий данных трансформаций на глобальном, локальном, индивидуальном уровне, а также прогнозирование эффектов внедрения и развития различных аспектов цифровой среды в повседневную жизнь современного общества. Анализ цифрового эскапизма является промежуточной задачей в исследовании особенностей функционирования цифрового мира.

Список литературы

Calleja, G. (2010). Digital Games and Escapism. *Games and Culture*, 5, 335–353. https://doi.org/10.1177/1555412009360412

Castronova, E. (2005). *Synthetic worlds: The business and culture of online games*. University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226096315.001.0001

Castronova, E. (2008). *Exodus to the Virtual World: How Online Fun Is Changing Reality*. St. Martin's Griffin.

Evans, A. (2003). *This virtual life: Escapism and simulation in our media world*. Fusion Press.

Kane, A. (2021, July 29). *10 key predictions from our latest trend report '2031: A Future World'*. DAZED. https://www.dazeddigital.com/science-tech/article/53653/1/dazed-studio-trend-report-2031-a-future-world

Poster, M. (1995). *The Second Media Age*. Polity Press.

Prensky, M. (2011). Digital wisdom and homo sapiens digital. In *Deconstructing Digital Natives. Young People, Technology, and the New Literacies* (pp. 15–29). Routledge.

Sacasas, L. M. (2019, February 25). *Digital Asceticism and Pascalian Angst*. The Frailest Thing. https://thefrailestthing.com/2019/02/25/digital-asceticism-and-pascalian-angst/

Stenseng, F., Rise, J., & Kraft, P. (2012). Activity engagement as escape from self: The role of self-suppression and self-expansion. *Leisure Sciences*, 34(1), 19–38. https://doi.org/10.1080/01490400.2012.633849

Subudhi, R. N., Das, S. C., & Sahu, S. (2020). Digital Escapism. *Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 2(S), 37–44. https://doi.org/10.37534/bp.jhssr.2020.v2.nS.id1071.p37

Trufanova, E. (2021). Digital Escape Or Escape From The Digital. In *Man, Society, Communication. European Proceedings of Social and Behavioural Sciences* (Vol. 108, pp. 822–828). European Publisher. https://doi.org/10.15405/epsbs.2021.05.02.105

Tuan, Y. (1998). *Escapism*. Johns Hopkins University Press. https://doi.org/10.56021/9780801859267

Warren, J. (2020, June 19). *Escapism: Please Don't Make Me Think About It*. The Current. https://thecurrentmsu.com/2020/06/19/escapism-please-dont-make-me-think-about-it/

Аршинов, В. И., Гримов, О. А., & Чеклецов, В. В. (2021). Киберанимизм: Искусство быть живым в гибридном обществе. *Философские Проблемы Информационных Технологий и Киберпространства*, 2(20), 39–59. https://doi.org/10.17726/philIT.2021.2.3

Баева, Л. В. (2018). Эскапизм в цифровом социуме от хикикомори до «групп смерти». *Ценности и Смыслы*, 2(54), 53–68.

Болдакова, И. А. (2015). Основные риски киберсоциализации молодежи. *Научно-Методический Электронный Журнал «Концепт»*, 37, 151–155.

Демахина, Т. В. (2021, December 23). *45% людей скорее откажутся от секса, чем от телефона*. Laba. https://l-a-b-a.com/blog/2914-45-lyudey-skoree-otkazhutsya-ot-seksa-chem-ot-telefona

Журавлев, А. Л., & Нестик, Т. А. (2016). Психологические факторы негативного отношения к новым технологиям. *Психологический Журнал*, 6(37), 5–14.

Кэмпбелл, Дж. (1997). *Тысячеликий герой*. Ваклер; Рефл-бук; АСТ.

Лисенкова, А. А. (2021). *Трансформация социокультурной идентичности цифровом пространстве*. ПГИК.

Лисенкова, А. А. (2022). *Цифровая идентичность: Свобода фрагментированности и дискретности или опасная целостность*. Академиздат. https://doi.org/10.24412/cl-36976-2022-1-319-327

Лысак, И. В. (2017). Компьютерная и Интернет-зависимость: Эволюция подходов к исследованию проблемы. *Мир Науки, Культуры, Образования*, 4(65), 206–209.

Петрова, Е. В. (2022). Экология цифровой среды как попытка ответа на цивилизационные вызовы современной эпохи. *Вопросы Философии*, 11, 99–109. https://doi.org/10.21146/0042-8744-2022-11-99-109

Плешаков, В. А. (2016). Слово главного редактора: О киберсоциализации человека и ее организации на интернет-портале «Homo Cyberus». *Электронный Научно-Публицистический Журнал «Homo Cyberus»*, 1. http://journal.homocyberus.ru/Pleshakov_VA_1_2016

Труфанова, Е. О. (2019). Информационное перенасыщение: Ключевые проблемы. *Философские Проблемы Информационных Технологий и Киберпространства*, 1(16), 4–21. https://doi.org/10.17726/philIT.2019.1.16.1

Труфанова, Е. О. (2021). Эскапизм: Между природой и культурой. *Вестник Северного (Арктического) Федерального Университета. Серия: Гуманитарные и Социальные Науки*, 1, 125–134. https://doi.org/10.37482/2287-1505-V081

Шапинская, Е. Н. (2013). Эскапизм в киберпространстве: Безграничные возможности и новые опасности. *Культурологический Журнал*, 2(12), 2.

References

Arshinov, V. I., Grimov, O. A., & Chekletsov, V. V. (2021). Cyberanimism: The Art of Being Alive in the Hybrid Society. *Philosophical Problems of IT & Cyberspace (PhilIT&C)*, 2(20), 39–59. https://doi.org/10.17726/philIT.2021.2.3 (In Russian).

Baeva, L. V. (2018). Escapism in the Digital Society from Hikikomori to 'Death Groups'. *Values and Meanings*, 2(54), 53–68. (In Russian).

Boldakova, I. A. (2015). Key Risks of Cyber-socialization among Youth. *Concept: Scientific and Methodological e-Magazine*, 37, 151–155. (In Russian).

Calleja, G. (2010). Digital Games and Escapism. *Games and Culture*, 5, 335–353. https://doi.org/10.1177/1555412009360412

Campbell, D. (1997). *The Hero with a Thousand Faces*. Vakler; Refl-book; AST. (In Russian).

Castronova, E. (2005). *Synthetic worlds: The business and culture of online games*. University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226096315.001.0001

Castronova, E. (2008). *Exodus to the Virtual World: How Online Fun Is Changing Reality*. St. Martin's Griffin.

Demakhina, T. V. (2021, December 23). *45% of People Would Rather Give Up Sex Than Their Phone*. Laba. https://l-a-b-a.com/blog/2914-45-lyudey-skoree-otkazhutsya-ot-seksa-chem-ot-telefona (In Russian).

Evans, A. (2003). *This virtual life: Escapism and simulation in our media world*. Fusion Press.

Kane, A. (2021, July 29). *10 key predictions from our latest trend report '2031: A Future World'*. DAZED. https://www.dazeddigital.com/science-tech/article/53653/1/dazed-studio-trend-report-2031-a-future-world

Lisenkova, A. A. (2021). *Transformation of Socio-cultural Identity in the Digital Space*. PGIK. (In Russian).

Lisenkova, A. A. (2022). *Digital Identity: Freedom of Fragmentation and Discreteness or Dangerous Integrity*. Akademizdat. https://doi.org/10.24412/cl-36976-2022-1-319-327 (In Russian).

Lysak, I. V. (2017). Computer and Internet Dependency: Evolution of Approaches to Problem Research. *World of Science, Culture, Education*, 4(65), 206–209. (In Russian).

Petrova, E. V. (2022). Ecology of the Digital Environment as an Attempt to Respond to the Civilizational Challenges of the Digital Age. *Voprosy Filosofii*, 11, 99–109. https://doi.org/10.21146/0042-8744-2022-11-99-109 (In Russian).

Pleshakov, V. A. (2016). Editor's Word: On Cyber-socialization of Humans and Its Organization on the Internet Portal 'Homo Cyberus'. *Homo Cyberus: Electronic Scientific-Popular Journal*, 1. http://journal.homocyberus.ru/Pleshakov_VA_1_2016 (In Russian).

Poster, M. (1995). *The Second Media Age*. Polity Press.

Prensky, M. (2011). Digital wisdom and homo sapiens digital. In *Deconstructing Digital Natives. Young People, Technology, and the New Literacies* (pp. 15–29). Routledge.

Sacasas, L. M. (2019, February 25). *Digital Asceticism and Pascalian Angst*. The Frailest Thing. https://thefrailestthing.com/2019/02/25/digital-asceticism-and-pascalian-angst/

Shapinskaya, E. N. (2013). Escapism in Cyberspace: Unlimited Opportunities and New Dangers. *Cultural Journal*, 2(12), 2. (In Russian).

Stenseng, F., Rise, J., & Kraft, P. (2012). Activity engagement as escape from self: The role of self-suppression and self-expansion. *Leisure Sciences*, 34(1), 19–38. https://doi.org/10.1080/01490400.2012.633849

Subudhi, R. N., Das, S. C., & Sahu, S. (2020). Digital Escapism. *Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 2(S), 37–44. https://doi.org/10.37534/bp.jhssr.2020.v2.nS.id1071.p37

Trufanova, E. (2021). Digital Escape Or Escape From The Digital. In *Man, Society, Communication. European Proceedings of Social and Behavioural Sciences* (Vol. 108, pp. 822–828). European Publisher. https://doi.org/10.15405/epsbs.2021.05.02.105

Trufanova, E. O. (2019). Information oversaturation: Key problems. *Philosophical Problems of IT & Cyberspace (PhilIT&C)*, 1(16), 4–21. https://doi.org/10.17726/philIT.2019.1.16.1 (In Russian).

Trufanova, E. O. (2021). Escapism: Between Nature and Culture. *Vestnik of Northern (Arctic) Federal University. Series 'Humanitarian and Social Sciences'*, 1, 125–134. https://doi.org/10.37482/2287-1505-V081 (In Russian).

Tuan, Y. (1998). *Escapism*. Johns Hopkins University Press. https://doi.org/10.56021/9780801859267

Warren, J. (2020, June 19). *Escapism: Please Don't Make Me Think About It*. The Current. https://thecurrentmsu.com/2020/06/19/escapism-please-dont-make-me-think-about-it/

Zhuravlev, A. L., & Nestik, T. A. (2016). Psychological Factors of Negative Attitude to New Technologies. *Psychological Journal*, 6(37), 5–14. (In Russian).

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2023. No 3 | ISSN: 2658-7734
General Theory | https://doi.org/10.46539/gmd.v5i3.398

Urban Imaginary: City Image and Media Space

Elizaveta I. Speshilova

Yaroslav-the-Wise Novgorod State University. Veliky Novgorod, Russia. Email: e.speshilova[at]yandex.ru

Received: 4 June 2023 | Revised: 11 August 2023 | Accepted: 20 August 2023

Abstract

The article examines the role of imagination in creating an individual and collective city image. Noting the essential value of information and digital technologies in the modern world, the author draws attention on how the city image can be represented in the media space, and reveals possible effects of the media image on the real city and urban practices. The study focuses on solving the problem of the fragmented nature of the direct city perception, aimed at certain elements of the urban environment. The author shows that the imagination allows forming an image of the city as a whole, to defragment the complex of individual perceptions and supplement them with mental, symbolic and emotional aspects. The aim of the research is to argue that by means of the Urban Imaginary we can comprehend the city as an existentially important and culturally heterogeneous space of the human lifeworld. One of the key tools for generating the Urban Imaginary and creating the city image is the media space. As a result of the study, the author substantiates the constitutive role of imagination in the process of forming the city image, as well as identifies the types of city representation in the media based on the frequency of mentions of the city and the nature of these mentions. The article demonstrates that the image of the city has a significant impact on city residents and visitors, determining the tourist, migration and economic flows.

Keywords

Urban Studies; City Image; Urban Imaginary; Postmetropolis; Mental Maps; Media City; Media Spaces; Digital City; Mass Media; Veliky Novgorod

This work is licensed under a Creative Commons “Attribution” 4.0 International License

Urban Imaginary: образ города и медиасреда

Спешилова Елизавета Ивановна

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого. Великий Новгород, Россия.
Email: e.speshilova[at]yandex.ru

Рукопись получена: 4 июня 2023 | Пересмотрена: 11 августа 2023 | Принята: 20 августа 2023

Аннотация

В статье исследуется роль воображения в конструировании индивидуального и коллективного образа города. Отмечая существенное значение информационных и цифровых технологий в современном мире, автор акцентирует внимание на том, как образ города может быть представлен в медиасреде, и выявляет возможные варианты влияния медиаобраза на реальный город и городские практики. Исследование ориентировано на решение проблемы ограниченности и фрагментарности непосредственного восприятия города, направленного на определённые элементы городской среды. Автор показывает, что именно воображение позволяет сформировать образ города в целом, дефрагментировать комплекс отдельных восприятий и дополнить их ментальными, символическими и эмоциональными аспектами. Цель исследования заключается в аргументации тезиса о том, что благодаря городскому воображаемому мы можем осмыслять город не просто как точку в географической системе координат, но как экзистенциально значимое и культурно гетерогенное пространство жизненного мира человека. При этом утверждается, что одним из ключевых инструментов генерирования городского воображаемого и конструирования образа города является медиасреда. Результатом исследования стало обоснование конституирующей роли воображения в процессе формирования образа города, а также выявление типов репрезентации города в средствах массовой информации на основании частоты упоминаний города и характера данных упоминаний. Используя метод контент-анализа, автор анализирует представленный на одном из федеральных телеканалов образ Великого Новгорода. В статье демонстрируется, что образ города оказывает значительное влияние на жителей и посетителей города, определяет туристические, миграционные и экономические потоки. Позитивный медиаобраз города даёт импульс для развития и благоустройства городской среды, тем самым повышая её привлекательность.

Ключевые слова

городские исследования; образ города; Urban Imaginary; постметрополис; ментальные карты; медиагород; медиасреда; цифровой город; СМИ; Великий Новгород

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons “Attribution” («Атрибуция»)4.0 Всемирная

Введение

Дискурс, посвящённый urban imaginary, интенсивно развивается в последние годы в зарубежной урбанистике (Çinar & Bender, 2007; Lindner & Meissner, 2019; Bonakdar & Audirac, 2021), однако в российских городских исследованиях он встречается незаслуженно редко (Федотова, 2020). Данное исследование ориентировано на коррекцию сложившейся ситуации и призвано показать роль воображения в конструировании образа города – как индивидуального, так и коллективного, в том числе представленного в медиапространстве. Особенно актуальной указанная тема становится в контексте стремительного развития информационных и цифровых технологий, которые значительно влияют и на городскую среду, и на способы её рецепции. Города чаще воображаются, нежели воспринимаются физически: наши представления о том или ином городе конструируются на основе его репрезентаций в кино, фотографии, литературе, социальных сетях, блогах, веб-сайтах и иных медиаресурсах, и только в ограниченном числе случаев мы имеем непосредственный доступ к реальной городской среде.

По словам Кристофа Вульфа (2008, с. 122), воображение есть «*conditio humana*», то есть имеет экзистенциальную ценность для человека, поскольку является энергией, связывающей человека с миром и мир с человеком. Как правило, значительная часть этого жизненного мира человека сопряжена с городом, который, как писал Марк Оже, существует благодаря сфере воображаемого. Именно сфера воображаемого питает город и подпитывается им, даёт городу жизнь и в то же время сама призывается им к жизни (Оже, 1999). Городское воображаемое путешествует по старым и новым медиа (Lindner & Meissner, 2019, p. 1), пронизывает нашу повседневность, охватывая туризм, городское искусство, архитектуру и планирование и во многом определяя наше отношение к тому или иному месту. Методологически опираясь на предложенное Кевином Линчем понятие «образ города», а также понятие постметрополиса и концепцию третьего пространства Эдварда Соджи, я предлагаю проследить историю развития темы “urban imaginary” в городских исследованиях и затем сосредоточиться на формировании образа города в медиасреде и его воздействии на реальное городское пространство.

Urban imaginary, ментальные карты и конструирование образа города

Понятие “urban imaginary” («городское воображаемое») можно определить как «синтез реальных и виртуальных коллективных представлений о городе» (Аванесов, Федотова, 2022, с. 371). Вместе с тем urban imaginary имеет значение и при конструировании индивидуального образа города, например, при построении ментальных карт городского пространства (Митин, 2017, с. 66).

Пожалуй, одно из самых ранних упоминаний “imaginary map” встречается в статье Чарльза Троубриджа «О фундаментальных методах ориентирования и “воображаемых картах”», посвящённой рассуждению о «причинах, по которым цивилизованный человек склонен терять пространственную ориентацию в незнакомых регионах» (Trowbridge, 1913, p. 888). В качестве одной из причин дезориентации он называет наличие у человека “imaginary map”, то есть ментальной карты пространства, в основе которой – вследствие неправильного раннего воспитания или иных факторов – лежат ошибочные представления о направлениях движения к отдалённым местам. Такая внутренняя репрезентация местности не отражает реальное положение дел, а является полностью воображаемой. Поэтому, на мой взгляд, нельзя согласиться с тем, что перевод понятия “imaginary map” как «вообразимая карта» является более точным (Глазков, 2015, с. 108; Митин, 2017, с. 65). Троубридж анализирует не то, что можно вообразить, но именно то, что человек представляет в отношении местности, о которой думает. В данном случае воображение сталкивается с отражением, господствует над ним, перекрывая реальность своей активностью, и речь идёт именно о воображаемых, «ненастоящих» картах, то есть о картах, которым ничего не соответствует в действительности. Выделяя различные типы воображаемых карт, Троубридж отмечает, что доля людей, имеющих так называемые «воображаемые карты», поразительно велика и составляет около 30–50 % (Trowbridge, 1913, p. 893). Такие люди легко путаются в определении местности, в поиске дороги в незнакомых городах и регионах, а также теряются при попытке найти дорогу домой из непривычной точки городского пространства.

О том, что ментальные карты не имеют существенного значения в повседневном городском ориентировании и не приносят реальной пользы в случае дезориентации человека в пространстве, пишет один из основателей гуманитарной географии И-Фу Туан (Tuan, 1975, p. 210). С его точки зрения, «ментальные карты – это воображаемые миры» (1975, p. 211); причём в данном случае «воображаемое» трактуется не в контексте ошибочного восприятия реального пространства, как у Ч. Троубриджа, но как один из способов формирования собственного образа города, в том числе такого города, который никогда не был дан человеку в восприятии. Только человек может конструировать сложные ментальные карты невиданных мест, при этом образ какого-то места может быть настолько привлекательным, что он становится триггером миграционного процесса. Так, например, «шотландские фермеры, трудившиеся на окраинах болот, тем не менее могли представить себе солнечную Калифорнию», формируя свой воображаемый мир на основе фрагментов опыта жизни в тёплых районах Шотландии и информации о Калифорнии, полученной из разных источников (1975, p. 211). Аналогичным образом мы можем вообразить себе Лондон, Париж, Нью-Йорк, Лас-Вегас, Токио и иные не менее интересные города, опираясь не на собственный опыт восприятия конкретной городской среды, а исключительно на вторичные источники,

то есть на литературу, живопись, кинематограф, многочисленные медиаресурсы и так далее, которые в большинстве случаев формируют образ того или иного города ещё до всякой встречи с ним. В нашем распоряжении есть «всевозможные *городские виды*: от туристических фотографий до детских рисунков, от литературных образов до компьютерных моделей и симуляций» (Харламов, 2008, с. 166), которые позволяют составить определённое впечатление о том или ином городе. Что примечательно, мы можем с лёгкостью представлять весьма отдалённые места, которые имеют ярко выраженное и артикулированное поле смыслов, образов и ассоциаций, однако при этом с трудом визуализируем близлежащие поселения: чем меньше культурных нарративов связано с местом, тем сложнее его вообразить.

Важно отметить, что urban imaginary имеет отношение не только к конструированию вида города, в котором человек никогда не бывал, но и к формированию образа города, с которым человек постоянно контактирует в повседневной жизни[1]. В своей ежедневной практике мы непосредственно взаимодействуем только с фрагментами городской среды: улица, дом, площадь воспринимаются нами как части ускользающего целого, которое само оказывается за пределами восприятия. Именно воображение конституирует единство разрозненных, фрагментарных восприятий, дополняет городскую реальность символическими значениями и чувством эмоциональной привязанности, позволяет преодолеть наличность городской среды, раздвигая метафизические границы города путём актуализации прошлого и проектирования будущего. Образ города в определённом смысле оказывается реальнее и культурно значимее своего референта – исходного, материального, «настоящего» города (Аванесов, 2020, с. 57), захваченного суетой и непрерывным движением, из-за которых жители зачастую не имеют возможности остановиться и приглядеться к своему окружению, встретиться с городом и уловить присущие ему смыслы.

Само понятие «образ города» получило активное распространение в городских исследованиях во многом в связи с изданием в 1960 году одноимённой книги Кевина Линча (Lynch, 1960), в которой он впервые акцентировал внимание на восприятии городской среды с точки зрения жителей. Читаемость и ясность городского ландшафта, то есть лёгкость формирования упорядоченного мысленного образа города, он связывал со структурированностью, определённостью и визуальной очевидностью городского окружения – путей, границ, ориентиров, узлов и районов (1960, p. 95). Ключевое значение в его концепции имеет труднопереводимый термин “*imageability*” – «вообразимость» (Линч, 1982, с. 21) или «образоспособность» (Мельникова & Поршнева, 2016, с. 169), то есть способность материальных элементов городской среды за счёт их цвета, формы или композиционного расположения генерировать в сознании горожанина «сильные» образы. Несмотря на то, что Линч отмечает

1 О различии образа и вида см.: Аванесов (2014, с. 18).

важность социальных, исторических и культурных параметров территории для создания образа города, в своём исследовании он ограничивается анализом исключительно физически воспринимаемых объектов городского пространства, фокусируется не на содержании, а на форме, которая при грамотном проектировании должна использоваться для усиления смысла (Lynch, 1960, p. 46). При этом не проясняется, о каких именно смыслах идёт речь, каким образом определённые смыслы возникают и связываются с образом города. В данном случае можно говорить о том, что urban imaginary используется в узком значении, поскольку основное внимание фокусируется на «материальной» городской структуре и том, как она воображается в виде ментальных карт, а не на коммуникативном и символическом характере образа города.

В то же самое время активный интерес к городской проблематике, в том числе к средствам конструирования образа города, появился во второй половине XX века в рамках философии и культурологии, с одной стороны, в свете лингвистического, а затем и иконического (визуального) поворота в гуманитарных науках, и, с другой стороны, в русле постмодернистского дискурса. В первом случае образ рассматривается как особый «медиум, обладающий собственной <…> логикой формирования смысла», что «позволяет безо всякого противоречия мыслить “онтологическую гетерогенность” образа, его одновременную принадлежность двум мирам: каузальным взаимосвязям физического мира и смысловым взаимосвязям “воображённого” мира» (Инишев, 2012, с. 187, с. 202). Однако во втором случае, в постмодернистской интерпретации, отрицается уже само разделение естественного и искусственного, материального и символического, физического и воображаемого – реальность сливается со своим образом, то есть становится гиперреалистичной (Бодрийяр, 2011, с. 153). Согласно такой установке, не существует исходной и нейтральной «реальности самой по себе», некой данности, которая затем воспроизводится и репрезентируется. Сама репрезентация становится реальностью, действительность заменяется симулякрами, образами и воображаемыми картами, которые оказывают существенное влияние на наш жизненный мир и восприятие городской повседневности.

В этом контексте развивает свой исследовательский проект Эдвард Соджа, который отмечает значительные трансформации, происходящие с мегаполисами в новой информационной среде с её заманчивыми сетями виртуальной реальности, постоянно развивающимся искусственным интеллектом, киберпространственными коммуникациями и цифровыми сообществами (Soja, 2000, p. 151). Подчёркивая наличие преемственности между модерном и постмодерном, он предлагает использовать термин «постметрополис» для маркирования современных мегаполисов, которые характеризуются дихотомией разнонаправленных сил – децентрации и рецентрации, социально-пространственной интеграции и дезинтеграции, возрастания однородности и вместе с тем гетерогенности городского пространства. Для Соджи

постметрополис – это не только модель современного социального, экономического и символического развития города, но и отражение интерференции реального и воображаемого в городской среде, которую мы только начинаем понимать (2000, p. 147). Классические варианты жёсткого регулирования городской жизни заменяются в постметрополисе на скрытые, мягкие манипулятивные практики, идеологический контроль посредством создания «правильных» образов в средствах массовой информации и рассредоточенного управления городским воображаемым в целом. Именно urban imaginary относится «к нашему ментальному или когнитивному картографированию городской реальности и интерпретационным сеткам, с помощью которых мы думаем, переживаем, оцениваем и решаем действовать в местах, пространствах и сообществах, в которых мы живем» (2000, p. 324), поэтому власть над городским воображаемым означает контроль социального и пространственного порядка.

Реальные-и-воображаемые места (real-and-imagined places) Соджа анализирует с точки зрения предложенной им концепции третьего пространства (Soja, 1996). Если в перспективе первого пространства городская среда рассматривается как пространственная конфигурация материальных объектов (улиц, зданий, парков и т.д.), а в перспективе второго пространства – как ментальное поле смыслов, представленное в образах, рефлексивных дискурсах и символической репрезентации, то есть в городском воображаемом, то перспектива третьего пространства становится тем интегративным подходом, который включает в себя перспективы первого и второго пространств и благодаря этому приобретает синергийный эффект. В третьей перспективе «пространственная специфика урбанизма исследуется как полностью проживаемое пространство, одновременно реальное-и-воображаемое, актуальное-и-виртуальное место структурированного индивидуального и коллективного опыта и деятельности» (Soja, 2000, p. 11). И несмотря на то, что мы можем наблюдать тенденцию к усилению социально-экономического неравенства в постметрополисе, новый взгляд на город позволяет использовать его материальные и символические ресурсы для сопротивления экономической эксплуатации, идеологическому господству и иным деструктивным силам, а также для создания активного и открытого мультикультурного общества, гетерогенного с точки зрения расы, пола, социального класса, но в то же время ориентированного на идеалы справедливости, прозрачности, неиерархичности и демократичности городских процессов.

Образ города как форма городского воображаемого символически репрезентирует и в то же время продуцирует социальные и властные отношения, художественные и мифологические нарративы, многообразие и разносторонность городского сообщества. Формируясь на основе множества индивидуальных переживаний и мнений, образ города конструируется как некий инвариант, поле совместных смыслов и коллективной идентичности для горожан,

которые не знают большинства своих «соседей» по городу, никогда не встретят их и даже не услышат о них (Anderson, 2006, p. 6), однако при этом объединены общим медиапространством и культурными практиками. Поскольку в современном обществе значительную роль в конструировании образа города играют цифровые и информационные технологии, далее мы сосредоточимся на функционировании urban imaginary в медиасреде и его влиянии на реальные городские практики.

Город в медиасреде: пространство Воображаемого

Взаимоотношения города и медиа неоднократно становились предметом научно-исследовательского интереса (Абашев, 2018), в том числе со стороны классиков теории медиакультуры (McLuhan et al., 1977) и информационного общества (Castells, 1989). Анализ различных концепций, посвящённых этому вопросу, показывает, что все они развиваются в рамках одной из возможных тематических траекторий (или их комбинации), которые можно обозначить следующим образом: 1) город в медиасреде, 2) медиасреда в городе и 3) город как медиасреда. Город в медиасреде – это образы и нарративы, представляющие городское пространство в искусстве и литературе, кино и фотографии, традиционных и новых медиа, компьютерных играх и digital-пространстве в целом. Медиасреда в городе – это и надписи на заборах, и объявления на столбах, и всевозможные вывески, и реклама во всех её видах, и различные иные информационные инструменты, начиная с печатных афиш на остановках, бесчисленных баннеров и завершая мобильными средствами коммуникации, а также светодиодными экранами в ключевых городских локациях. И, наконец, сам город как медиасреда может пониматься в двух аспектах: с одной стороны, в контексте модерна город интерпретируется как место хранения, воспроизведения и передачи информации, которая закрепляется в памятниках и архитектурных сооружениях, транслирующих сложную культуру и историческое наследие от поколения к поколению (Kittler, 1996, p. 721); с другой стороны, в контексте современных тенденций происходит цифровизация самого городского пространства, появляются «умные» города, пронизанные разнообразными информационно-коммуникационными технологиями, которые в режиме реального времени считывают, анализируют и интерпретируют по заданным алгоритмам поступающую извне информацию, формируя тем самым большие городские данные (Спешилова, 2022, с. 109) и трансформируя городскую социальность. Как показывает С. Маккуайр (2014, 2018), медиа оказываются настолько неотъемлемым и почти вездесущим элементом современного городского пространства, что сам город превращается в медиасреду, становится «медийным».

В каждой из перечисленных тематических траекторий присутствует городское воображаемое, которое способствует формированию того или иного образа города, и все указанные направления представляются интересными для

детального анализа в контексте urban studies. Однако в данном исследовании я предлагаю в первую очередь сконцентрироваться на том, как город воображается в медиасреде, и выявить, как такое воображаемое влияет на реальную ткань города и городские практики.

Формирование образа города в медиа является неоднородным процессом, поскольку оно осуществляется по разным информационным каналам и в связи с различными информационными поводами. Однако среди всего этого многообразия вариантов можно выделить определённые типы репрезентации города, например, в средствах массовой информации. Ключевыми параметрами для определения конкретного типа являются количество упоминаний города и характер таких упоминаний. Так, Эли Авраам предлагает выделять следующие четыре типа репрезентации городов в средствах массовой информации:

1. города, которые получают преимущественно негативное освещение в средствах массовой информации;
2. города, которые игнорируются средствами массовой информации, если они не освещаются в негативном контексте;
3. города, которые получают преимущественно положительное освещение в средствах массовой информации;
4. города, которые большей частью игнорируются средствами массовой информации, но при освещении получают в основном положительные характеристики (Avraham, 2000, p. 364).

Кроме того, он отмечает, что образ города в средствах массовой информации может быть насыщенным или одномерным, имея в виду то, что одни города получают широкое освещение своей культурной, политической, экономической и социальной жизни в информационном поле, особенно в национальных СМИ, тогда как другие упоминаются только в том случае, если в них происходят определённые события, например, такие как преступления или стихийные бедствия (2000, p. 364). Во многом это, конечно, определяется численностью населения конкретного города, его географическим положением и наличием на территории объектов государственного значения, однако существенную роль в создании образа города играет и политика городской администрации по связям с общественностью, стремление к формированию позитивного имиджа города.

Неудивительно, что в российской урбанистической действительности наиболее ярко и разносторонне в медиасреде представлены два крупнейших города страны – Москва и Санкт-Петербург, которые являются ключевыми центрами производства медиапродукции. При этом Москва находится на первом месте в информационной повестке со значительным отрывом:

она заметно чаще упоминается в федеральных СМИ, нежели Санкт-Петербург[1], а также лидирует по количеству поисковых запросов[2]. Другие города-миллионеры России упоминаются в национальной информационной повестке гораздо реже[3], освещение городских процессов в данном случае осуществляется прежде всего в региональных медиа. Ещё реже в федеральных СМИ освещаются большие и крупные города России: например, Великий Новгород упоминается на сайте Первого канала (https://www.1tv.ru/) за период с 01.01.1995 по 26.04.2023 всего 314 раз[4]. Важно заметить, что детальный контент-анализ представленного на федеральном уровне материала о Великом Новгороде показывает, что данная подборка содержит нерелевантные результаты, а именно: 8 материалов на самом деле связаны с Нижним Новгородом, однако они ошибочно индексируются по запросу «Великий Новгород», в частности, в случае, если в тексте материала присутствует слово «великий» (Великая Отечественная война, великий Лионель Месси, великая страна, Великая смута, великая христианская святыня); при этом 20 материалов связаны не с городом, а с подводной лодкой, названной в честь Великого Новгорода. Таким образом, город Великий Новгород в данном СМИ в действительности упоминается всего 286 раз за 28 полных лет.

Интересно проанализировать, как именно воображается Великий Новгород в представленных материалах. В заголовках и кратких аннотациях новостей Великий Новгород описывается как «самый древний город России» (12.06.1999), «древнейший русский город» (6 раз), место «зарождения российской государственности» (3 раза), «город Рюрика, Александра Невского и Садко» (01.06.2019). При этом Александр Невский за указанный период упоминался в связи с Великим Новгородом чаще всего (7 раз), несколько реже речь идёт о Садко (3 раза) и Рюрике (2 раза), Гаврииле Державине (1 раз) и Сергее Рахманинове (1 раз). Именно эти известные деятели и персонажи являются «гениями места» для Великого Новгорода, что отражено, в том числе, и в реальной ткани города – наличии соответствующих памятников (рис. 1), названиях объектов городской инфраструктуры и т. д.

1 Например, число упоминаний Москвы на сайте Первого канала (https://www.1tv.ru/) за период с 01.01.1995 по 26.04.2023 составляет 55 270, тогда как Санкт-Петербург за этот же период упоминается 9 908 раз.

2 Согласно данным Яндекса (https://wordstat.yandex.ru/), число поисковых запросов за месяц, включающих слово «Москва», составляет 105 602 069, в то время как Санкт-Петербург упоминается в 27 786 142 запросах по состоянию на 26.04.2023.

3 Число упоминаний Новосибирска на сайте Первого канала (https://www.1tv.ru/) за период с 01.01.1995 по 26.04.2023 составляет 1 687, Екатеринбурга – 2 337, Казани – 2 732, Нижнего Новгорода – 1 298. Интересно, что Новосибирск, несмотря на третье место по численности населения в России, упоминается реже, чем Екатеринбург и Казань, что, вероятно, связано с его географической удалённостью от центров медиапроизводства федерального уровня.

4 Основные культурные, социальные, политические и другие события Великого Новгорода освещаются в региональных СМИ, например, на интернет-порталах 53news.ru, novgorod.ru, vnovgorode.ru, на Новгородском областном телевидении или в газетах «Новгородские ведомости» и «Газета Новгород».

Рисунок 1. Памятник Сергею Рахманинову в Великом Новгороде. Фото: С. Аванесов, 2023

Figure 1. Monument to Sergei Rachmaninoff in Veliky Novgorod. Photo: S. Avanesov, 2023

В целом, семантический анализ материалов свидетельствует о том, что ключевой образ Великого Новгорода формируется вокруг представлений

о древнем городе: эпитет «древний» (и однокоренные слова) употребляется для описания Великого Новгорода и связанных с ним событий или артефактов 38 раз. Примечательно, что в информационной повестке на первом месте по числу упоминаний находятся события культурного значения (89) – археологические раскопки и открытия (14), исторические реконструкции (8), мероприятия религиозного характера (18), реставрационные работы и т. д. Значительное количество материалов (84) связано с чрезвычайными происшествиями, случившимися в Великом Новгороде и его окрестностях: природными катаклизмами, криминальными действиями, дорожно-транспортными происшествиями, эпидемиологической ситуацией в городе. Чуть меньше материалов (63) имеют политический характер, то есть относятся к визитам государственных деятелей в Великий Новгород или к конкретным политическим событиям (митинги, съезды партии, дебаты, выборы и пр.).

Начиная с 2019 года, активно освещается туристическая привлекательность Великого Новгорода (19 раз), город регулярно упоминается в телепередачах про путешествия, отмечается его историческая значимость, гастрономические особенности местной русской кухни, тогда как материалы, связанные с археологическими находками, уходят из ключевой повестки (последняя «археологическая» новость датируется 20.07.2016). Такое смещение акцентов соответствует внутригородскому дискурсу, согласно которому Великий Новгород должен являться не столько городом-музеем, собранием безжизненных исторических артефактов, сколько оживлённым городом-университетом, опирающимся на новгородские культурные традиции и привлекательным как для туристов, так и для местных жителей. И действительно, туристический поток в Великий Новгород значительно вырос за последние годы: согласно данным сервисов МТС Исследования и МТС Travel за январь – август 2021 и 2022 годов, количество туристов, посетивших Новгородскую область, выросло за год на 12 %[1]. В то же время, по словам губернатора Новгородской области, «количество посетителей объектов экскурсионного показа в 2022 году составило 1,3 миллиона человек, что на 40 % больше, чем в 2021 году»[2]. В городе реконструируются существующие и создаются новые общественные пространства, реализуются проекты по городскому благоустройству, городская среда активно трансформируется и становится более комфортной.

То, какой именно образ города формируется в медиа, оказывает значительное влияние на горожан, а также на широкую общественность, определяет туристические, миграционные и инвестиционные потоки. В этом отношении «даже небольшие города зависят от “воображения”, создания культурного образа и наследия, которые будут привлекать туристов и новых резидентов, а акже удовлетворять желания местной элиты и жителей» (Huyssen, 2008, p. 9). Однако стоит отметить, что не всегда формирование притягательного образа города позитивно влияет на реальную городскую среду. Ярким примером

1 https://news.novgorod.ru/news/turpotok-v-novgorodskuyu-oblast-v-2022-godu-vyros-na-12--188439.html
2 https://novvedomosti.ru/news/tourism/87419/

этого является ситуация с хорватским Дубровником, в котором снимались сцены, связанные с Королевской гаванью – столицей и самым крупным городом в созданной Джорджем Мартином вселенной романа «Игра престолов» (рис. 2).

Рисунок 2. Слева – вид реального Дубровника (Cristina Arias – Getty Images), справа – Королевская Гавань в сериале «Игра престолов» (HBO).

Figure 2. On the left is a view of Dubrovnik in real life (Cristina Arias – Getty Images), on the right is King's Landing in "Game of Thrones" (HBO).

В данном случае инкорпорирование в образ реального города элементов города воображаемого, то есть воображение фантастического места на вполне определённом городском материале, привело к значительному росту туристического потока в Дубровник[1]. Так городское воображаемое, визуализированное средствами кинематографа в конкретной городской среде, стало одним из элементов образа самого Дубровника как места, где прошли съёмки «Игры престолов». Но ни жители города, ни городская администрация не были готовы к резкому увеличению туристического потока, который оказал деструктивное воздействие на городскую среду, в частности, спровоцировал удорожание недвижимости, переориентацию городской инфраструктуры на удовлетворение потребностей туристов в ущерб горожанам и ухудшение экологической ситуации из-за роста числа круизных лайнеров, останавливающихся в Дубровнике.

1 https://www.kinopoisk.ru/media/article/3354118/#croatia

Однако, как правило, конструирование образа города в медиасреде оказывает положительное влияние на городское пространство, наполняет его новыми смыслами, символически воплощает «многообразие человеческих существ» и объединяет их «общей системой значений» (Оже, 1999). Новые возможности распространения информации о городе, а также проникновение медийных средств в городское общественное пространство «часто трансформирует сознание тех, кто в нём участвует, меняя горизонты личного и коллективного воображения и порождая или усиливая политическую солидарность» (Маккуайр, 2018, с. 83), позволяет «по-новому вообразить коммуникацию, бытие-с-другими и практики проживания» (2018, с. 235). Вместе с тем практикам со-бытия городских жителей способствуют не только новые цифровые технологии, но и «классические» репрезентации города в художественной литературе, искусстве и кинематографе, которые фиксируют коллективные и индивидуальные истории в биографии города, порождают новые городские маршруты и знаковые места, то есть являются неотъемлемой частью городской культуры.

Рисунок 3. Карта Петербурга «От окраины к центру. Говорит город». © Юрий Гордон

Figure 3. Map of Petersburg “From suburbs to the center. The city speaking”. © Yuri Gordon

Так, например, образ Санкт-Петербурга во всей его насыщенности, неоднозначности и символичности в значительной степени определяет русская художественная литература (Топоров, 2003), которая наделила «голосом» почти каждую петербургскую улицу (рис. 3). Такая полифония, перекличка множества взглядов, определяющих Петербург то как «самый отвлечённый и умышленный город на всём земном шаре» (Ф. М. Достоевский), то как «бесконечность проспекта, возведённого в энную степень» (Андрей Белый) или как «кошмарный город-привиденье» (Игорь Северянин), создаёт многомерное городское воображаемое, сосредоточивающее в себе разнообразные значения. Попытка расшифровать скрытые в городской среде смыслы становится одной из задач как для местных жителей, так и для посетителей города, стремящихся произвести дефрагментацию отдельных городских нарративов и сформировать цельный образ города.

Помимо всего прочего, за счёт городского воображаемого может компенсироваться неблагоустроенность и анти-эстетичность реальной городской среды, например, путём создания цифрового, виртуального города, превосходящего по своим эстетическим характеристикам город-прототип, протяжённый в пространстве и времени и нередко ими же – пространством и временем – искажённый и изувеченный. Виртуальный город, с одной стороны, может быть ирреальным, то есть наполненным Другим, всем тем, чего нет в нашей действительности; с другой стороны, он может одновременно с этим отражать нашу повседневность и нас самих, быть гиперреальным, словно сквозь увеличительное стекло демонстрируя «наши низменные страсти» (Алиев, 2017, с. 186) или, напротив, героические практики. Согласно логике постмодернизма, весь «современный мир представляется виртуальным» и, несмотря на критическое отношение некоторых постмодернистов к ситуации «поглощения всех остальных форм духовного пространства цифровым, нельзя не предположить, что современные очертания города отчасти уже преодолели пространственное измерение» (Николаева, 2021, с. 157). Именно благодаря воображению город является не просто точкой в географической системе координат, не просто объектом, закованным в административные границы, но культурным пространством, простирающимся далеко за пределы физической данности и семиотически значимым для человека – как обитателя города, так и его посетителя.

Выводы

Рассмотрев значение воображения при создании ментальных карт городского пространства и выявив философские и культурологические предпосылки, которые стимулировали появление интереса к теме “urban imaginary”, мы проанализировали образ города в качестве формы городского воображаемого. Было показано, что с помощью воображения человек конструирует как образ тех городов, в которых он никогда не бывал, так и образ тех городов,

которые он воспринимал физически. Непосредственное восприятие города может быть направлено только на конкретные элементы среды, то есть является ограниченным и фрагментарным, тогда как воображение позволяет дефрагментировать набор конкретных восприятий, дополнить их знаниями, символическими значениями и эмоциями, иначе говоря, сформировать образ города в целом.

Огромное значение для осознанного или спонтанного конструирования такого образа имеют коммуникативные практики и средства, понимаемые как медиасреда культуры, предоставляющая материал для воображения города. Такая среда зачастую не только берёт на себя информационные функции, но и выступает в качестве пространства присвоения конкретного смысла и статуса тому или иному городу, формирования городского «портрета» или городской «репутации», делает город привлекательным или отталкивающим, превращает его в героя или изгоя. Ясно, что именно медиасреда является тем инструментом, который сегодня позволяет достигать наиболее значимых результатов в сфере брендирования и продвижения городов, конструирования их позитивного имиджа и, соответственно, повышения их привлекательности со всеми вытекающими отсюда экономическими, социальными и культурными последствиями. Позитивный медийный образ города становится тем драйвером, который способен обеспечить восходящее развитие «реального» города и благополучие его жителей.

Действительно, «без воображения город перестаёт существовать, а без города исчезает воображение» (Оже, 1999), поскольку город вне воображения, вне области символического – это не место памяти о прошлом и встречи с настоящим, а неосмысленная и анонимная конфигурация объектов, нагромождение бетона, стекла, кирпича, плитки и асфальта с редкими вкраплениями зелени и воды. Исследование роли воображения в конструировании образа города позволяет показать, что благодаря данной способности человек может не просто использовать город с его инфраструктурой в исключительно утилитарных целях, но и относиться к городу как к проживаемому пространству смыслов, личного и коллективного опыта, в котором отражается городская история и мифология, гетерогенность городской среды и самих горожан.

Благодарности

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 23-28-01232 «Городское воображаемое: генерирование коллективных представлений о городе в эпоху цифровой культуры», https://rscf.ru/project/23-28-01232/

Список литературы

Anderson, B. (2006). *Imagined Communities*. Verso. https://doi.org/10.1515/9781474472777-006

Avraham, E. (2000). Cities and Their News Media Images. *Cities*, 17(5), 363–370. https://doi.org/10.1016/S0264-2751(00)00032-9

Bonakdar, A., & Audirac, I. (2021). City Planning, Urban Imaginary, and the Branded Space: Untangling the Role of City Plans in Shaping Dallas's Urban Imaginaries. *Cities*, 117, 103315. https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103315

Castells, M. (1989). *The Informational City: Information Technology, Economic Restructuring, and the Urban-Regional Process*. Basil Blackwell.

Çinar, A., & Bender, T. (2007). *Urban Imaginaries: Locating the Modern City*. University of Minnesota Press.

Huyssen, A. (Ed.). (2008). *Other Cities, Other Worlds. Urban Imaginaries in a Globalizing Age*. Duke University Press. https://doi.org/10.1515/9780822389361

Kittler, F. (1996). The City Is a Medium. *New Literary History*, 27(4), 717–729. https://doi.org/10.1353/nlh.1996.0051

Lindner, Ch., & Meissner, M. (Eds.). (2019). *The Routledge Companion to Urban Imaginaries*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315163956

Lynch, K. (1960). *The Image of the City*. The MIT Press.

McLuhan, M., Hutchon, K., & McLuhan, E. (1977). *City as Classroom: Understanding Language and Media*. Book Society of Canada.

Soja, E. W. (1996). *Thirdspace. Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places*. Blackwell Publishing.

Soja, E. W. (2000). *Postmetropolis. Critical Studies of Cities and Regions*. Blackwell Publishing.

Trowbridge, C. C. (1913). On Fundamental Methods of Orientation and "Imaginary Maps". *Science. New Series*, XXXVIII(990), 888–897. https://doi.org/10.1126/science.38.990.888

Tuan, Y.-F. (1975). Images and Mental Maps. *Annals of the Association of American Geographers*, 65(2), 205–213. https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1975.tb01031.x

Абашев, В. В. (Ред.). (2018). *Город и медиа: Материалы международной научно-практической конференции «Новые городские медиа в медиаландшафте России»*. Издательство Пермского государственного национального исследовательского университета.

Аванесов, С. С. (2014). Визуальность и коммуникация. *ПРАΞНМА. Проблемы визуальной семиотики*, 2, 11–25.

Аванесов, С. С. (2020). Город как культурный миф. *Миф в истории, политике, культуре. Материалы IV Международной научной междисциплинарной конференции*, 57–61.

Аванесов, С. С., & Федотова, Н. Г. (2022). *Город: В поисках идентичности*. Алетейя.

Алиев, Р. Т. (2017). Готэм как виртуальная гетеротопия. *Каспийский регион: политика, экономика, культура*, 4(53), 185–194.

Бодрийяр, Ж. (2011). *Символический обмен и смерть*. Добросвет, Издательство «КДУ».

Вульф, К. (2008). Homo Pictor или возникновение человека из воображения. *Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Философия. Филология*, 1, 121–136.

Глазков, К. (2015). Ментальные карты: Ограничения метода и образ «чужого» в малом городе. *Laboratorium*, 7(3), 106–117.

Инишев, И. Н. (2012). «Иконический поворот» в теориях культуры и общества. *Логос*, 1(85), 184–211.

Линч, К. (1982). *Образ города*. Стройиздат.

Маккуайр, С. (2014). *Медийный город. Медиа, архитектура и городское пространство*. Strelka Press.

Маккуайр, С. (2018). *Геомедиа. Сетевые города и будущее общественного пространства*. Strelka Press.

Мельникова, С. В., & Поршнева, О. С. (2016). Образ города и его функционирование в культурно-историческом контексте: К постановке проблемы (на примере Екатеринбурга). *Известия Уральского федерального университета. Серия 3: Общественные науки*, 11(4), 166–172.

Митин, И. И. (2017). Ментальные карты города: История понятия и разнообразие подходов. *Городские исследования и практики*, 2(3), 64–79. https://doi.org/10.17323/usp23201764-79

Николаева, Ж. В. (2021). Черта идентичности: Становление города. *Журнал Фронтирных Исследований*, 6(1), 144–159. https://doi.org/10.46539/jfs.v6i1.258

Оже, М. (1999). *От города воображаемого к городу-фикции*. Художественный журнал. http://old.guelman.ru/xz/362/xx24/x2402.htm

Спешилова, Е. И. (2022). Человек в «умном» городе: Антропологические эффекты и гуманитарные риски. *Человек*, 33(6), 105–119.

Топоров, В. Н. (2003). *Петербургский текст русской литературы*. Искусство–СПБ.

Федотова, Н. Г. (2020). Urban Imaginary: Визуальные маркеры городского воображаемого. *ΠΡΑΞΗΜΑ. Проблемы визуальной семиотики*, 1(23), 121–139. https://doi.org/10.23951/2312-7899-2020-1-121-139

Харламов, Н. (2008). Городские виды, реальные и воображаемые. *Синий диван*, 12, 166–172.

References

Abashev, V. V. (Ed.). (2018). *City and Media: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference 'New Urban Media in the Media Landscape of Russia'*. Publishing House of Perm State National Research University. (In Russian).

Aliev, R. T. (2017). Gotham as a Virtual Heterotopia. *Caspian Region: Politics, Economics, Culture*, 4(53), 185–194. (In Russian).

Anderson, B. (2006). *Imagined Communities*. Verso. https://doi.org/10.1515/9781474472777-006

Avanesov, S. S.; F., N. G. (2022). *City: In Search of Identity*. Aleteia. (In Russian).

Avanesov, S. S. (2014). Visuality and Communication. *ΠΡΑΞΗΜΑ. Journal of Visual Semiotics*, 2, 11–25. (In Russian).

Avanesov, S. S. (2020). City as a Cultural Myth. *Myth in History, Politics, Culture. Proceedings of the IV International Scientific Interdisciplinary Conference*, 57–61. (In Russian).

Avraham, E. (2000). Cities and Their News Media Images. *Cities*, 17(5), 363–370. https://doi.org/10.1016/S0264-2751(00)00032-9

Baudrillard, J. (2011). *Symbolic Exchange and Death*. Dobrosvet, Publishing House 'KDU'. (In Russian).

Bonakdar, A., & Audirac, I. (2021). City Planning, Urban Imaginary, and the Branded Space: Untangling the Role of City Plans in Shaping Dallas's Urban Imaginaries. *Cities*, 117, 103315. https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103315

Castells, M. (1989). *The Informational City: Information Technology, Economic Restructuring, and the Urban-Regional Process*. Basil Blackwell.

Çinar, A., & Bender, T. (2007). *Urban Imaginaries: Locating the Modern City*. University of Minnesota Press.

Fedotova, N. G. (2020). Visual Markers of Urban Imaginary. *ΠΡΑΞΗΜΑ. Journal of Visual Semiotics*, 1(23), 121–139. https://doi.org/10.23951/2312-7899-2020-1-121-139 (In Russian).

Glazkov, K. (2015). Mental Maps: Limitations of the Method and the Image of the 'Other' in a Small City. *Laboratorium*, 7(3), 106–117. (In Russian).

Huyssen, A. (Ed.). (2008). *Other Cities, Other Worlds. Urban Imaginaries in a Globalizing Age*. Duke University Press. https://doi.org/10.1515/9780822389361

Inishev, I. N. (2012). 'Iconic Turn' in Theories of Culture and Society. *Logos*, 1(85), 184–211. (In Russian).

Kharlamov, N. (2008). Urban Views, Real and Imagined. *Blue Sofa*, 12, 166–172. (In Russian).

Kittler, F. (1996). The City Is a Medium. *New Literary History*, 27(4), 717–729. https://doi.org/10.1353/nlh.1996.0051

Lindner, Ch., & Meissner, M. (Eds.). (2019). *The Routledge Companion to Urban Imaginaries*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315163956

Lynch, K. (1960). *The Image of the City*. The MIT Press.

Lynch, K. (1982). *Image of the City*. Stroyizdat. (In Russian).

McLuhan, M., Hutchon, K., & McLuhan, E. (1977). *City as Classroom: Understanding Language and Media*. Book Society of Canada.

McQuire, S. (2014). *Media City: Media, Architecture and Urban Space*. Strelka Press. (In Russian).

McQuire, S. (2018). *Geomedia: Network Cities and the Future of Public Space*. Strelka Press. (In Russian).

Melnikova, S. V.; P., O. S. (2016). Image of the City and its Functioning in the Cultural-Historical Context: Setting the Problem (on the Example of Yekaterinburg). *News of the Ural Federal University. Series 3: Social Sciences*, 11(4), 166–172. (In Russian).

Mitin, I. I. (2017). Urban Mental Maps: History of the Term and the Diversity of Approaches. *Urban Studies and Practices*, 2(3), 64–79. https://doi.org/10.17323/usp23201764-79 (In Russian).

Nikolaeva, Z. V. (2021). The Identity Feature: The Emergence of the City. *Journal of Frontier Studies*, 6(1), 144–159. https://doi.org/10.46539/jfs.v6i1.258 (In Russian).

Oge, M. (1999). *From the Imaginary City to the Fictional City*. http://old.guelman.ru/xz/362/xx24/x2402.htm (In Russian).

Soja, E. W. (1996). *Thirdspace. Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places*. Blackwell Publishing.

Soja, E. W. (2000). *Postmetropolis. Critical Studies of Cities and Regions*. Blackwell Publishing.

Speshilova, E. I. (2022). Man in the 'Smart' City: Anthropological Effects and Humanitarian Risks. *Man*, 33(6), 105–119. (In Russian).

Toporov, V. N. (2003). *Petersburg Text of Russian Literature*. Iskusstvo-SPB. (In Russian).

Trowbridge, C. C. (1913). On Fundamental Methods of Orientation and "Imaginary Maps". *Science. New Series*, XXXVIII(990), 888–897. https://doi.org/10.1126/science.38.990.888

Tuan, Y.-F. (1975). Images and Mental Maps. *Annals of the Association of American Geographers*, 65(2), 205–213. https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1975.tb01031.x

Wulf, C. (2008). Homo Pictor or the Emergence of Man from Imagination. *Bulletin of the Samara Humanitarian Academy. Series: Philosophy. Philology*, 1, 121–136. (In Russian).

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2023. No 3 | ISSN: 2658-7734
New Media and Human Communication | https://doi.org/10.46539/gmd.v5i3.388

Public Response to Government Information on Weibo: Friction, Contestation, and Crisis Communication During the 2018 Shouguang Flood in China

Lixiong Chen (a) & Nairui Xu[1] (b)

(a) Southern University of Science and Technology. Shenzhen, Guangdong, China.
Email: lixiongchen0920[at]163.com

(b) School of Publishing, Beijing Institute of Graphic Communication. Beijing, China.
Email: nairuixu[at]163.com

Received: 11 April 2023 | Revised: 22 July 2023 | Accepted: 11 August 2023

Abstract

Sina Weibo, a popular social media platform in China, plays a crucial role in crisis communication. During the 2018 Shouguang flood, the public criticized the government's delayed, insufficient, and inaccurate information on Weibo, leading to tension between the public and the government. We interviewed 33 Weibo users to understand their experiences in challenging the government's flood-related information. Key areas of contention included the timing of information release, the portrayal of the crisis, and the government's role as the primary crisis manager. When the government's information fails to meet public expectations, it can lead to online discussions that undermine trust. This article delves into theterritory of crisis communication by examining how public online debates evolve in a state-controlled online setting, specifically in China. We propose that diverse interpretations of crisis information serve as a tool to enhance collective crisis response, thereby reducing conflicts among stakeholders.

Keywords

Sina Weibo; Crisis Communication; Trust; Public Online Contestation; Risk Governance; Friction

This work is licensed under a Creative Commons "Attribution" 4.0 International License

1 Corresponding author

Общественная реакция на информацию правительства в Weibo: столкновение, дискуссия и кризисная коммуникация во время наводнения в Шоугуане в 2018 году в Китае

Чен Лисьонг (a), Сюй Найруй[1] (b)

(a) Южный университет науки и технологии. Шэньчжэнь, Гуандун, Китай.
Email: lixiongchen0920[at]163.com

(b) Пекинский институт графических коммуникаций. Пекин, Китай. Email: nairuixu[at]163.com

Рукопись получена: 11 апреля 2023 | Пересмотрена: 22 июля 2023 | Принята: 11 августа 2023

Аннотация

Sina Weibo популярная социальная платформа в Китае; она играет важную роль в кризисной коммуникации. Во время наводнения в Шоугуане в 2018 году общественность критиковала позднюю, недостаточную и неточную государственную информацию в Weibo, что вызвало трение между общественностью и правительством. Мы опросили 33 пользователей Weibo об их опыте использования Weibo для оспаривания государственной информации о наводнении. Ключевые моменты спора включали в себя время публикации информации, описание кризисов и вопрос об ответственности правительства как основного управляющего кризисом. Когда государственная информация не удовлетворяет общественность, она может поднять этот вопрос в интернете, а это подрывает доверие. Эта статья вносит вклад в область кризисной коммуникации, исследуя, как общественные онлайн-споры разворачиваются в государственно регулируемой онлайн-среде, а именно, в Китае. Мы предлагаем, чтобы различные конструкции кризисной информации могли служить ресурсом для улучшения коллективного ответа на кризис и, таким образом, предотвращения трения между заинтересованными сторонами.

Ключевые слова

Sina Weibo; кризисная коммуникация; доверие; общественные онлайн-споры; управление рисками; трение

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons “Attribution” («Атрибуция»)4.0 Всемирная

1 Корреспондирующий автор

Introduction

Shouguang is my hometown. After several days of continuous rain in Shouguang, increased water suddenly caused a flood. I searched for flood-related information on Weibo. I saw much farmland was flooded and livestock drowned. But I found that the information given by the government was not consistent with what I knew. I started posting constantly, and I saw a lot of posts from Shouguang people. The topic of the Shouguang flood was promoted to hot search but was quickly removed. Still, I was touched that many people helped us spread the flood-related information and donated relief goods. Although the governmental users reported the flood on Weibo, the late report and vague description made me question whether the cause of the flood was not only a natural hazard but also a manufactured one.

This story was told by Weipin (a pseudonym of a participants in this study), whose family was affected by the 2018 Shouguang flood in Shandong province. According to Weipin, the Chinese government underreported the flood's impact on the city of Shouguang and provided insufficient crisis relief. Many Sina Weibo users posted or reposted flood-related information which did not echo that by the government user account – the Shandong government (@山东政府). In this massive online posting campaign, users contested the official version of crisis information by assembling their own informal version, as a means to persuade and push the local government to investigate the course of the flood and the extent of crisis response, as well as improve search and rescue efforts.

Social media has come to play an important role in crisis communication as natural hazards increase, since it enables participation by the public (individuals including celebrities and citizens). In contrast to the traditional one-to-many communications by media, the use of social media has expanded crisis response into a social system, with crisis information being disseminated within or between official institutional channels and those of members of the public (Palen et al., 2009). The government and the public can thus form a closer connection and cooperation, yielding benefits for crisis response (Medaglia & Zhu, 2017; Cheng 2020). In some cases, supported by first-hand witness accounts on social media, the public has been able to provide help more quickly and effectively than government agencies (Purohit et al., 2014).

The public can influence government behaviours, decision-making, strategies, and crisis response (Alexander, 2014). Citizen interactions on social media expand the flexibility and reach of the latter, and such networked platforms play a key role in empowering the government and the public to co-create public services for crisis communications (Chatfield & Reddick, 2018).

In this study, we bear in mind that differences in cross-cultural and political regimes and contexts can limit the applicability of many theories and practices (Tricker, 1988). Premised upon the particularities of the Chinese context, we will

take the 2018 Shouguang flood as a lens to better understand how the public contests the government information online. For our empirical case study, we use the term 'Weibo-based crisis communication (WCC)' to describe communication on crises conducted via the popular Chinese social media platform, Sina Weibo. With more than 500 million users to date, Weibo—whose design and functionality resemble Twitter's—has become widely integrated into social media-based crisis communication in China, due to facilitating the rapid spread of information.

As opposed to democracies, the Chinese state has formulated and implemented a series of stringent regulations to censor social media (Gallaghar & Miller, 2020). This is consistent with China's status as one of the world's most restrictive media environments, with one of the most sophisticated censorship regimes, particularly on the internet (Freedom House, 2019). Although the central government has allowed a certain degree of public online participation (Hsu, 2011), its tight control of social media allegedly works to reduce openness and participation online (Sullivan, 2013; Medaglia & Zhu, 2017).

Weibo has managed to partly break through this scenario, pushing users' critical social discussion into political communication, serving to promote government decision-making while shaping Chinese society through the formation of public will (Chen & Jacobson, 2022). In demonstrating the process of public online contestation of the government narrative, we argue that crisis information is the core of WCC and triggers frictions between the government and the public. Dissatisfaction with government information can create friction, and lead to public contestation online, over critical points such as timing of information release and the description of crises by the government, alongside the government's role as primary crisis manager. Such online contestation represents the resilience of the Chinese public, as a bold approach to expressing indignation, advocating for affected areas, and insisting on participating in crisis communication despite the strict censorship measures the government continues to enact.

We contemplate here, in two ways, how social media supplies 'infrastructures' for the practice of public contestation. First, we provide insights into crisis communication, demonstrating, from the public's perspective, its friction with the government in WCC, to gauge the dynamics between the two main types of participants alongside the collective framing of risks, responsibilities, and 'response-abilities'. Second, we contribute to the literature in the field by using WCC to explore how public online contestation unfolds in a state-moderated online environment. We suggest that divergent constructions of crisis information can become a resource to promote collective crisis response, improve cooperative risk governance, and avoid government-public frictions.

Although the social and political behaviour of the public on the Internet, and in particular on social media, has become a significant subject for many social science studies, this specific object of study (users of the Chinese blogging platform—Weibo), as well as Shouguang flood itself, has not previously attracted the attention of the relevant academic fields, which is an innovative research subject. Moreover,

this study offers an original and unique dataset of interview data from closely relevant participants in online contestation in the 2018 Shouguang flood. By proposing the term 'online contestation in Weibo- based crisis communication', we demonstrate the fact that members of the public who were unable to form protests offline chose to engage in crisis communication online and amplify their voices for the affected areas and populations in a roundabout way, as well as to cause online contestation with state censorship, remains understudied scientifically, although this is prevalent in many countries, particularly in China. These aspects constitute the novelty of this study.

In an era of technological, man-made and climatic disasters, the ability to build flexible, trusting and cooperative relationships between States and members of society in times of crisis can save many lives and improve crisis response systems. In addition, we are witnessing the beginning of systematic encroachment on the free Internet by governments around the world, the introduction of increasingly stringent and comprehensive censorship, the expansion of power territories, and the invisible influence and suppression of public opinion. In this context, it is crucial to study the reactions and actions of members of society to hard-line censorship and to assess the long-term impact of these policies on society and the State itself.

Literature review

Social media has created new tools and resources and expedited social mobilisation in crisis communication, helping to turn the public into a force complementary to the government. In the western context, the degree of the public participation in government affairs online indicates the degree that democracy develops. Roberts (2004) defined public participation in a democratic society as processes in which the public directly shared decision-making power with the government. The government in this case accommodates public input in decision-making to motivate more inclusive democratic processes (Feldman & Khademian, 2007). While traditional media made it difficult to include the public from all backgrounds in public participation (Van den Berg et al., 2020), online infrastructures can be designed to facilitate it (Gillespie, 2010), inspiring a generation of civically-engaged netizens (Van den Berg, 2021). This has, of course, varied among contexts. In this study, what drives our investigation on the relationship between Chinese government and the public online participation is how such relationship is associated to the open and free construction of online space. We are interested in exploring to what extent social media censorship in authoritarian regimes like China complicates public online participation and how this might affect WCC. We also discuss and use the concept of trust to examine how the relationship between the government and the public during the crisis happens. This section borrows insights from literature on the censored Chinese social media environment and networked empowerment, construction of trust, and friction.

Chinese social media: a state-moderated environment

The development of online public participation in China is more complex than in the west. An interplay of contradictory forces is observed in China, due to its continual censorship of social media towards controlling public opinion. As a replacement to foreign social media, Weibo has built a new, relatively open network providing favourable conditions for public online participation in China, and has prompted academic disputes. Scholars have expressed doubts regarding the relationship between the government, online users, and platforms from two sides.

First, the government control on Chinese internet and information flow is the key reason that the public cannot fully participate in the discussion of public affairs online. Such control curbs the depth and width of that public participation online. Kaplan and Haenlein (2010) focused on governmental intervention, claiming that this inhibited public online participation since the government could detect public opinion from users' comments on its Weibo accounts and censor them (Schlaeger & Jiang, 2014). Rauchfleisch and Schäfer (2015) argued that diverse categorisations of openness, longevity, and participation demonstrated Weibo users' attempts to validate their discussions online. An empirical study by Medaglia and Zhu (2017) indicated that social media interaction between the government and the public was insufficient for Weibo to be recognised as a deliberative sphere for the Chinese public. Some researchers noted that consuming entertainment news was one of the main motivations to use Weibo, while they rarely involved politics (Benney & Xu, 2018).

Weibo users have been known to apply self-censorship prior to posting or commenting online, to avoid touching on taboo topics (Gueorguiev et al., 2017). Meanwhile, the Chinese government seems to have adopted an ingenious strategy to affirm its authority, by becoming more active on social media platforms and joining the online conversation as a new way to establish and maintain a favourable voice for the regime (Sullivan, 2013; Wang, 2018). Government censorship in China has also targeted the speech and discussions of influential users to prevent them from achieving a certain degree of virality or influence (Gallagher & Miller, 2020).

Second, optimistic scholars have pointed to increased public participation on Weibo. The internet was originally meant to provide an independent space to make individuals better informed and better engaged in political communication; in the ensuing dispute to shape online narratives, Weibo has commonly been taken as a case study in researching public online participation, since it has become a 'new battlefield for the state and social groups to compete for power and interests' (Zheng & Wu, 2006, p. 533). Sullivan (2012) argued that Weibo had the potential to facilitate public participation in discussing social issues due to the massive number of Chinese netizens, their unusually sociable, active personalities, and their distrust of government sources having helped Weibo users become a controversial force.

Increased social media use enables more members of the public to access information and constrains the ability of authoritarian governments to act without oversight (Qin et al., 2017). Moreover, Tong and Zuo (2014) demonstrated that when public opinion was strong enough, it could influence public policy and ensure that genuine public needs were being met.

Netizens' supervision of the government could be feasible on Weibo. Noesselt (2014) presented Weibo as a 'catalyst for social and political transformation', in terms of Chinese society's supervision of authorities (Xiao, 2011, p. 60). As a new mode of communication, social media has given the public an instrument to monitor the bureaucracy and draw attention to administrative insufficiencies with limited power, which represents a reconfiguration of state-society relations without a transformation of the overall political system (He & Warren, 2011). Hence, Weibo users are becoming a united force, gaining sufficient power towards ensuring effective governmental response to crises and affecting national politics and policy-related practices (Nip & Fu, 2016). While such public participation rarely happened in the traditional media era, a tendency has emerged in the digital era regarding greater public awareness of the struggle for power and efforts to demand government accountability via online interactions.

But despite becoming a tangible force for social oversight of government actions, Weibo users must still contend with state control and intervention both in the form of censorship and support of Weibo's commercial operations, facing limitations in self-expression. Thus, we maintain that the social media space is 'state-moderated' in China.

The construction of trust, and friction in a networked environment

Aforementioned, the relationship between Chinese government and the public online participation reflects power dynamic, which means the government has not always played a role as an unchallengeable authority. Chinese government also seeks out ways to promote its trustful image in front of the public during the crisis communication. A broad definition of trust concerns the belief that its holder will solve problems (Gambetta, 1988). A more specific definition is the 'willingness of a party to be vulnerable to the actions of another party based on the expectation that the other will perform a particular action important to the trustor, irrespective of the ability to monitor or control that other party' (Mayer et al., 1995, p. 712). Poortinga and Pidgeon (2003) depicted trust as an important precursor to risk perception and acceptance in crises and thus as key to crisis communication. The provision and consumption of crisis information can directly manifest into trust-building between the public and the government in social media-based crisis communication.

Chinese government has developed various strategies to build the trust with the public online. In investigating government control and the elaborately planned release of Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) news coverage in China, Beaudoin (2007) found that a range of governmental information sources could

powerfully affect public perception of crises, developing greater trust among the public. Based on this dynamic, the regime provides crisis information while the public consumes it, and it is reasonable to expect the former to report on crises carefully, since it has a substantial social impact—especially in China, where the government is accused of withholding information to guard its image against controversy.

However, while some crises are attributed to natural causes, inadequate preparation or insufficient supervision may exacerbate them, which may lead to avoidable casualties, triggering heated exchanges between the public and the government, threatening trust, and generating frictions. As relevant points, Cunningham et al. (2018, p. 142) characterised friction as a situation 'where the value-added that is anticipated is not realised by one or all the parties'; and Popa et al. (2020) portrayed friction as not an interpersonal clash but as a discrepancy between two or more value-creation processes that compete for limited resources. In other words, friction occurs when one party fails to carry out the desired set goals or responsibilities, or when multiple parties compete for resources and power throughout an event.

Xinhua (2016) reported that in a 2015 explosion in the city of Tianjin (The explosions occurred at a container storage station in the Binhai New Area of Tianjin, China), 165 people were killed and 798 injured, and economic losses reached £779 million. Ten hours later, however, Tianjin TV Station broadcasted South Korean dramas instead of reporting on the explosion. Although Tianjin Dongjiang Port Rui Hai International Logistics Co., Ltd, the company responsible for the explosion, had violated local urban planning regulations, it had not been exposed until the incident, which made people question the relationship between Ruihai and the local government. The Tianjin administration did not explicitly answer the public's questions, leading to accusations that it had evaded its responsibilities and concealed information. Friction occurred because the government failed to responsibly play its role as primary crisis manager. Here, frictions can be seen as a test of the trust. As the government failed to respond the information demands of the public, the trust in-between has turned into frictions, which arouse the attention of government. Subsequent public attention forced the government to release the course of the explosion and the public demanded that the central government hold relevant departments and officials accountable. While tension is inevitable between the government, which promises security, and the public, the growing use of social media means that the public is no longer a passive recipient to crisis information. It is now possible for members of the public to prompt their administration to respond or reveal information in that way. It takes a networked form on social media, as in the Tianjin explosion, where the Weibo-using public prompted the governmental response.

From above, we noticed that although Chinese public expresses themselves in an arduous environment, it cannot prevent them to form collective power. Collective online participation shows the resilience and creativity of the public and

their (networked) empowerment. Empowerment is 'a capacity of individuals, groups and/or communities to take control of their circumstances, exercise power and achieve their own goals, and the process by which, they can help themselves and others to maximise the quality of their lives' (Adam, 2008, p. 5). Empowerment reflects how the public enjoys autonomy and self-determination to represent and pursue their interests spontaneously: simply put, it is a process of becoming stronger and more confident. According to Tyfield (2018), as a group of massive, dynamic, increasingly educated, cosmopolitan and prosperous, and indeed digitally adept, the Chinese population has developed a taste for autonomy it is keen to defend even as the governmental regime becomes increasingly determined to centralise control and reassert oversight.

Thus, the Chinese public can promote policy changes through effective and collective self-awareness (i.e. understanding the collective power to act) and capacity-building (Johnson, 2013). The wide application of social media reduces technical barriers to entry. Netizens generate autonomy, increasing consensus on the mutually motivating relationship between the public and social media. However, Yang (2003) argued that simple dualism was insufficient to capture the contradictions and complexity of online participation in Chinese social issues. The rapidly changing and evolving forms of public online participation and self-mobilisation are challenging to categorise precisely, as political or depoliticised, aggressive, or consensual.

Research questions

To understand how the public participates in WCC amid state-moderated crisis communication, and whether trust exists between the government and the public, we need to understand the emergence of friction between the government and the public by looking at a specific case.

We propose three research questions (RQs) to investigate the process of friction between the government and the public, how this friction was promoted, and what critical points of friction there were.

RQ 1. In WCC, how was this friction between the government and the public constructed?

RQ 2. What critical points caused this friction?

RQ 3. How did this friction affect the government's reaction on it and public participation in WCC?

Methods

A controversial case: the 2018 Shouguang flood

This study is based on the controversial case of the 2018 Shouguang flood, since it clearly illustrates frictions between the government and public in WCC and particularly public online contestation, as indicated earlier in the text.

Between 19 and 21 August 2018, a massive flood hit Shouguang, a county-level city within Weifang and Shandong province, famous for its fruit and vegetable produce. Leaving 13 deaths, three missing persons, and £1.05 billion in damages in its wake, it was the worst flood in Shouguang since 1974.

During the flood, narratives diverged significantly between the government and the public (especially victims and their families and friends), leading to a heated debate on the authenticity and trustworthiness of distinct versions of crisis information on Weibo. Government user accounts were perceived as official crisis information providers, while individual users affected directly or indirectly by the flood assumed the role of informal crisis information providers. As flood-related posts spread, onlookers joined in the online campaign.

Data collection

The first author conducted interviews with 33 Weibo users between October 2018 and March 2020. All respondents were selected based on their participation in WCC related to the 2018 Shouguang flood, providing their thoughts, opinions, and reflections based on their experiences.

We recruited the interviewees through three channels: 23 through the Weibo private messaging functionality, by searching crisis-related posts and contacting the posters; six by snowball sampling; and four from both authors' personal networks. Since the subjects were from different cities in China, and due to limitations under the COVID-19 pandemic, the first author conducted semi-structured interviews via online audiovisual applications unrelated to Weibo, to protect the participants' privacy. Due to the limited time and contributors, findings for this study came from 25 respondents as a limited number of candidates accepted our invitation to participate in the interviews. Even though the sample size is limited, our data still present an image of how online contestation from the view of the public was carried out in the 2018 Shouguang flood from the sampled respondents and the data they contributed. In future research, we will expand the sample size and enrich the number and type of interviewees as much as possible in order to further discuss relevant research questions and phenomena. All interviews were conducted in Chinese, transcribed, and translated by the authors.

We explore the users' participation with Weibo during the 2018 Shouguang flood, by asking 'Can you please tell me your experience of using Weibo during the flood?'. The following questions include, but are not limited to: (1) Why did you use Weibo to express concern about this flood? (2) How did you access crisis information on Weibo, from what types of Weibo users, and why? (3) Have you noticed any regulation of content when you use Weibo? (4) Do/will you pay attention to the role and work of the government in responding to crises?

Sampled interview data

Table 1 provides basic information about 25 respondents mentioned in this study and summarises their stated purposes for online participation and roles during the flood.

Of the individual users, 17 were women and 16 men; thus, the gender ratio of respondents was quite balanced. The interviewees ranged from 19 to 55 years old, but the vast majority were in their 20s. They came from many walks of life, including students, new media editors, civil servants, entrepreneurs, actors, soldiers, and police officers. However, we have to note that most of our respondents are well-educated, and most careers of our respondents are related to new industries: IT, blogging, design, financial consulting, event planning, etc. It means that the overall characteristics of respondents are educated, well-off, Westernised, and younger generation. Thus, although the age and occupation are diverse, it can be representative of the current Weibo users instead of the diversity of structure of the population in China, which is a limitation of the respondents and sampled data that should be noticed in the future study. The diversity of the sample points to participation in WCC by both those directly affected by the flood and those concerned about the flood and its societal effects.

Participant (pseudonym)	Age	Gender	Occupation	Reasons for online participation	Role
Yi	27	Female	New Media Editor	Concern	Onlooker
Penna	26	Male	Student	Concern	Onlooker
Stone	24	Female	Student	Concern	Onlooker
Weipin	25	Female	Student	Personal exposure	Informal information provider
Binqi	26	Female	Lawyer Assistant	Hometown	Informal information provider
Clara	21	Female	Fashion Brand PR	Concern	Onlooker
Ming	19	Female	Student	Personal exposure	Informal information provider
Yuhan	21	Male	Actor	Personal exposure	Informal information provider
Tian	23	Female	Student	Concern	Onlooker
Xiaotian	27	Male	Social Media Worker	Concern	Onlooker
Hui	48	Female	Journalist	Concern	Onlooker
Baoluo	42	Male	The private sector employee	Concern	Onlooker
Nai	30	Female	Event Manager	Concern	Onlooker
Cong	25	Male	Student	Hometown	Informal information provider
Jun	24	Female	New media editor	Concern	Onlooker
Zhenbang	24	Male	Medical laboratory staff	Concern	Onlooker

Weiba	23	Female	Tourism Planner	Hometown	Informal information provider
Yami	26	Female	Financial industry staff	Hometown	Informal information provider
Chang	23	Female	Computer Engineer	Concern	Onlooker
Gao	28	Male	Building designer	Concern	Onlooker
Jairui	32	Male	Self-media producer	Personal exposure	Informal information provider
Shicheng	24	Female	Financial planner	Concern	Onlooker
Che	37	Male	Advertising staff	Concern	Onlooker
Ziju	23	Male	Self-Media focus on Environment	Hometown	Informal information provider
He	52	Male	Earthquake researcher	Concern	Onlooker

Table 1. Basic information for study respondents

Coding procedure

To better analyse the interview data, we did manual coding of 25 interview data by additionally recruiting two Chinese research assistants (the first author was also participating in the coding) since the language of transcripts of the interview data is Chinese. Therefore, each post can be coded at least three times to improve the credibility. The Cohen's kappa coefficient = 0.837, a high and stable degree. The coding was conducted by using NVivo 12.

After completing the entry of respondents' personal information, we generate nodes inductively by doing pilot coding study of five randomly selected interview transcripts. Since we focus on the online contestation of the 2018 Shouguang flood, the coding scheme includes the following nodes:

(1) The role of each respondent in the flood,

(2) The reasons why the respondents used Weibo in the flood,

(3) The actions of each respondent on Weibo,

(4) Crisis information they posted on Weibo during the flood,

(5) Respondents' review, thoughts, and comments on the governmental response,

(6) The attitude of each respondent on the governmental response during the flood,

(7) The future plan of using Weibo of each respondent after the flood.

By using the node sheet, we next used crosstab function of NVivo 12 to explore the relationship between our respondents and different nodes to better generate the image of online contestation and friction points between the government and the public in the 2018 Shouguang flood on Weibo.

Findings

In a state-moderated online environment, crises, coupled with human factors, can prompt the public to contest government information, particularly in allocating blame. To answer **RQ 1**, we examine the friction surrounding the 2018 Shouguang flood by looking at public online contestation of the government information of the flood identifying friction points and illustrating how this friction has impacted public online participation. The presented names of our responders are pseudonyms to preserve their privacy and anonymity.

How did the public contest government information on Weibo?

Weibo enabled users to post about the flood from closed quarters or to follow the flood from afar. To draw the attention of the government and other Weibo users, informal crisis information providers emerged—including the users identified in this study as 'Weipin', 'Binqi', 'Ming', 'Yuhan', 'Cong', 'Weiba', 'Yami', 'Jairui', and 'Ziju'—and posted about the flood, since Shouguang was their hometown and some of them were directly affected. Considering its huge user base, the respondents believed that Weibo would enable the information to spread to a wide-ranging audience quickly. They posted textual descriptions, photos, and short video clips, and used geotags to verify the authenticity of their posts.

Many respondents expressed trust in the importance of Weibo in online contestation in the 2018 Shouguang flood, presenting that some members of young generation in China have become a group of massive, dynamic, increasingly educated, cosmopolitan and prosperous, and indeed digitally adept (Tyfield, 2018), 'Binqi' posted on behalf of her parents, who had never used Weibo. 'Weipin', a Shouguang native, searched for 'Shouguang flood' and posted on Weibo accordingly. 'Yuhan', as an actor, believed that Weibo would facilitate rapid dissemination if his followers reposted the crisis information he supplied, since some of his followers were also actors with many followers. Onlookers 'Yi', 'Penna', 'Stone', 'Clara', 'Jun', 'Zhenbang', 'Shicheng', and 'Tian' considered Weibo a source of the latest flood information. Finally, since 'Yi' and 'Jun' were social media editors and 'Jairui' and 'Ziju' were 'self-media' producers, they relied on Weibo to access the latest news, especially its 'hot searches' (a function like 'trending' on Twitter).

'Yi' explained how she actively retrieved flood information:

> I heard about the flood from my friends. Then I searched for the flood on Weibo. I use Weibo to follow news because I can get real-time information from multiple sources. During the Shouguang flood, I saw many posts describing the dangerous situations in Shouguang sent by people from flood-stricken areas. I also saw some

> videos posted by other users providing descriptive content of the flood, such as interviews with local farmers.

However, amid the online contestation, informal crisis information providers and onlookers frequently faced censorship by the government and Weibo itself, which promotes the friction between the government and the public in such a state-moderated online environment. This is an obvious impediment to building trust between the two parties since the government has issued a straightforward attack and blunt repression. Weibo deleted posts from the informal information providers 'Binqi', 'Weipin', 'Yuhan', 'Weiba', 'Yami', and 'Jairui'. Other users reported being unable to find 'Shouguang flood' under 'hot searches', causing them to question whether the government was suppressing public opinion (i.e. 'Chang', 'Gao', and 'He'). Both the flood-related posters and onlookers then began to actively contest the official narrative, constantly posting and reposting informal information to push 'Shouguang flood' up to 'hot searches'. 'Ming' called on her friends 'Yami' and 'Cong' to repost, and 'Binqi' continued to post, including photos and videos, even after her posts had been deleted.

Onlookers such as 'Yi', 'Penna', 'Stone', 'Clara', 'Chang', 'Che' and 'Xiaotian' reposted flood-related content, although they had no local connections. Many outside users learned about the flood and joined in the collective online campaign. This demonstrates the dynamism of users in online contestation although in a censored platform.

What crisis information was contested (points of friction)?

The result of coding shows that the official information which the public contested online in this case centred on three aspects: the causes of the flood, the descriptions of the flood, and the government's provision of crisis relief (the government's responsibility as primary crisis manager).

On 20 August 2018, China Central Television (CCTV) released its official report on the flood. Reporting from the upper Mi River, the journalist declared that the flood was 'not serious' because it had not affected villages downstream, and the local government had dispatched rescue teams to the affected areas (CCTV, 2018). During the first flood control and relief news conference on 23 August, the Weifang government vaguely attributed the flood to heavy rainfall:

> Under the influence of Typhoon Rumbia, heavy rain swept Weifang. Some cities and towns have been flooded. The heavy rainfall led to a rapid rise in the water level at three reservoirs. To prevent the dam from collapsing and for the safety of nearly one million people downstream, the municipal government released the floodwater downstream. However, Shouguang was still seriously flooded (BBC, 2018).

No more details were released in Shouguang, and the public came to vehemently contest flood-related news from CCTV. The informal crisis information providers initially used Weibo to vent their anger at its journalist, who was criticised for having misled the public into believing that the situation in Shouguang was 'not serious' and that it had received adequate resources for rescue.

Informal information posters 'Ming', 'Binqi', 'Ziju', 'Yami', 'Cong', and 'Weiba' provided a version of crisis information vastly different from the official press release. Most of our study respondents, especially those exposed to the flood or whose families or friends had been affected by it, attributed it to a complicated combination of human error and natural causes.

'Ming', a student, lived in a small town near Shouguang. As her town lay on the far side of Shouguang, away from the Mi River, it was not heavily damaged by the flood. However, she read the government news and noticed that it was different from what she had seen and what her relatives had told her. She recalled: 'The reporter said that the upstream flood had no impact on the downstream, we Shouguang people were outraged because the damage was really serious!'

Although 'Cong' was away from Shouguang during the flood, he contributed by drawing attention on Weibo, just like 'Binqi'. Dissatisfied with the CCTV report, he posted: 'The CCTV misled the public by reporting that the upstream reservoir flood did not cause serious damages to the downstream areas. Due to the absence of rescue forces, villagers suffered heavy losses.' 'Cong' explained how he learned about the flood from family and friends living in Shouguang:

> Although I am not in Shouguang now, my parents and friends still live there. They told me that it rained heavily for several days before the flood, which caused the upstream reservoir to overflow. It forced the local authority to discharge flood-water from the reservoir, which flooded several villages on both sides of the river ... The flood swept away all crops of my parents' farmland that were about to be harvested.

Was the cause of the flood an act of nature, a human-made crisis, or both? We can probably not get a definitive answer. The devastation the flood caused to Shouguang and the local people was quite evident, however, according to the accounts by the informal crisis information providers.

The public on Weibo also contested whether the government had sent adequate relief to the flooded areas. The Weifang government claimed to have sent a relief team to Shouguang and the Shandong party secretary had arrived there in the evening of 22 August, four days after the flood.

Informal information providers accused the Shandong and central authorities of inaction. 'Binqi', 'Yuhan', and 'Jairui' posted that local firefighters and the police force only reached the affected area on the second day, which was far from sufficient. Other users, such as 'Ming', 'Weiba', and 'Yami', used the '@' function to draw the attention of government departments and state media outlets, pleading with them to dispatch relief. However, they received no response from government user accounts. Other informal information providers also shared their first-hand experiences of the rescue situation. 'Ming' said:

> There were rescue teams in some of the worst-hit areas. However, I saw posts from many users with geotags in Shouguang saying that the affected areas were 'cordoned off' and were not allowed to contact the outside world. The rescue does not seem to go well either.

As contestation developed online, the hashtag #ShouguangSelfRescue (寿光自救) started to trend on Weibo, according to 'Binqi' and 'Weiba'. Using Weibo, residents spontaneously self-organised to rescue people trapped due to the flood and deliver relief supplies to affected villages. Governmental rescue teams only arrived a few days later.

The disputes on Weibo showcased divergence and diversity, as the various stakeholders assumed distinct social positions and responsibilities. Most government user accounts on the platform were silent over the previous four days preceding the press conference. Following the news conference mentioned earlier, both government user accounts and traditional media outlets published crisis information on Weibo.

Shouguang natives and informal crisis information providers in general occupied diverse positions as they took part in the online contestation. 'Weipin', a Shouguang native, said that 'because this is my hometown, I definitely have to pay attention to it when something like this happens.' Based on narratives from their friends and family members, some other informal information providers who did not live in Shouguang posted what they believed to be true. For such posts, familial, friendship, and affective ties played an important role in authenticating and validating the crisis information.

At the same time, it was hard for onlookers to judge the veracity of crisis information. 'Stone' defended the government, arguing that it was essential for the authorities to anticipate the public's reaction and consider whether any given information bits could trigger panic or anger. This Weibo user further explained that the government narrative was necessarily constructed to maintain social stability and mitigate negative social impacts arising from the flood.

As a journalist with over 20 years' experience, 'Hui' also defended the government:

> Sometimes, the government releases information more comprehensively to ensure the authenticity, accuracy, and authority of the information and consider social and even international influences. If the process of publishing information is more cautious, it may appear that information release is not timely, late, hidden. The public's interest in crisis communication is usually from the personal point of view, especially when [their] personal life and property [are] facing problems.

Conversely, onlookers 'Yi', 'Penna', 'Clara', 'Tian', 'Xiaotian', 'Baoluo', and 'Nai' indicated that they trusted information from informal providers over the government in most cases, because they believed that the latter might have intended to cover up negligence. Other participants remained cautious in their assessment, due to their fear of misinformation.

In the disaster's aftermath, onlookers acted upon the narratives they believed. One week after the flood, 'Tian' accessed the related crisis information via the hashtag #ShouguangFlood. This user donated supplies and later reflected that 'I did not think about it too much, and maybe I was just guided by narratives from people claiming to be victims on Weibo.'

Contestation and the future practice of WCC

Public online contestation of government-provided crisis information can influence future public participation in WCC.

Unlike traditional media, Weibo provides the public a widely accessible channel for self-expression, offering diverse means of communication and high levels of interactivity. This enables netizens to become an information source on crises and facilitates the extensive spread of crisis information in general, with friction being likely to arise if the government's version of events fails to satisfy the public. Weibo user 'Nai' specified three elements likely to spark friction: (1) the government conceals information, intentionally or unintentionally, and does not disclose negative information; (2) the government fails to respond in a timely manner to questions from the masses, which leaves room for guesses and doubts on the part of the public; or (3) the public misinterprets government information, having previously consumed rumours.

'Xiaotian', 'Hui', and 'Jun' expressed their belief that the government might conceal information to protect its own image. This is one of the reasons why some members of the public do not trust the Government. Consequently, rescue efforts might be delayed, and victims might release first-hand information on Weibo, resulting in online contestation. 'Penna' added that the slow process of official information release could be a factor; it takes time for the local-level administrations to report on the crisis to the central government, and Weibo users filling in gaps at this time may prompt public dissatisfaction with the government's perceived tardiness.

The impact of this friction-laden relationship upon public participation in WCC is complex. It does inhibit public participation to a certain extent, as user 'Xiaotian' indicated:

> 'In online contestation, the government's repression may be counterproductive, making people braver. We must have an answer from the government. But it may disappoint people and [cause them to] stop using Weibo, to avoid being punished.'

'Xiaotian' further affirmed that he would act cautiously amid such frictions:

> I probably would not repost crisis information from either side because I would not know what the facts are, and I need more information sources and evidence to judge. If my friend or relative… has suffered a crisis, I will ask them about their experience. If the government says something very different, I will join the Weibo army in contesting to make the crisis [appear] on hot search.

Thus, the online action of Weibo users like 'Xiaotian' is flexible since they will adjust their action by judging the situation of the moment; 'Penna', 'Hui', and 'Shicheng' gave similar answers.

Such friction may reduce the public's trust in the government and thus also participation. The friction during the flood crisis decreased the enthusiasm of users 'Weipin', 'Binqi', 'Stone', and 'Nai' for crisis communication, and they may no longer repost government information, and even stop engaging in WCC altogether. 'Baoluo'

noted that the points of friction diluted the ability and actions of the government and the public in crisis response, which may ultimately scupper an adequate response. 'Hui' stated that reduced trust in the government due to online contestation would lead to poor command and mobilisation of, and communication with, the public, inhibiting search and rescue. The tensions that build up in crises place tasks and pressures upon both the government and the public exceeding those of straightforward crisis response.

Discussion and conclusion

When government information and crisis response dissatisfy the public, friction appears. For the case of the Shouguang flood, we illustrated critical points of friction and online contestation by analysing interviews with 33 respondents who had used Weibo within the crisis's context. Although the Chinese government has continued to censor social media, it has neither eliminated the public's adaptability nor prevented them from developing autonomy in Weibo-based crisis communication (WCC).

Focusing on the Chinese context, we argue that the popular social media platform Sina Weibo has become a powerful channel for netizens to monitor the government's crisis response. This paper enhances crisis communication research by identifying points of friction between the government and the public, and how these impacts public participation in WCC.

The friction points in WCC under state-moderated online environment

The friction in the 2018 Shouguang flood is provoked by the government's failure to fulfil its stated goals or responsibilities regarding crisis response triggered a contestation between the government and the public for crisis response resources, power, and discourse throughout the flood. Amid such friction, some members of the public have become informal information providers or onlookers contesting the government narrative. Although this pertains to the practice of networked empowerment, it also impacts on the following online participation of the public on Weibo: the public gains and increases awareness and becomes stronger and sufficiently confident to participate civically on Weibo, urging the government to act. However, some member of the public will be onlookers, keep silent on Weibo and only post what they have seen with their own eyes or heard from relatives and friends due to the regulation and censorship of the government in this online contestation. It is not only a process, but also a result. We highlighted a few points of friction as part of the process.

First, the timing of information release and temporalities of witnessing mediation in the unfolding crisis may differ considerably among stakeholders. For government agencies, the speed of distribution of informal crisis information is hard to control and may counteract their necessarily slower fact-checking and censorship measures. But amid the great urgency to report and publish on crises, the reasons why those in power do not provide adequate response are complex.

For onlookers, the censorship and tangible disappearance of posts are profoundly unsettling and foreground divergent expectations surrounding crisis response.

The second point of friction identified is the description of crises. Friction can easily arise when government information is at odds with what the public has witnessed. As authorities think carefully about what and how they post, they may conceal some types of information. Now, however, the public can share informal crisis information to tell the masses what they know, causing friction to occur more frequently. Onlookers need to rely on their own judgment to choose which side to stand on, which requires skills to distinguish situations rather than blindly following the crowd.

The third point is the scale of responsibility. The government is responsible for crisis coping, and the drive for innovation and growth in regional productivity influenced the engineering of the dams implicated in the 2018 floods. Thus, state engineering of complex socio-technical systems increased risk exposure. While they stood to benefit from these socio-technical systems, the local community experienced greater risks and expected rapid crisis response. Local citizens' responsibilities which may have contributed to the crisis, such as settlements and agricultural use along the riverbanks, were not discussed on Weibo.

The results in this study inspired us to consider two more substantive points regarding frictions between the government and the public. First, differently from crises which are difficult to prevent, such as earthquakes, people tend to expect floods to be more controllable via dam construction, setup of flood warning systems, and resident evacuations. The nature of floods may thus be one of the points making friction between the government and the public in WCC. Second, Weibo and WCC appear to have raised the public's expectations of receiving information instantaneously and supervising government work of crisis response, as part of the digital era, leading to their accusing the government of not responding fast and accurate enough. The public would not have expected this 10 years ago, when they had to wait for news reports from traditional state media.

Networked empowerment between the government and the public in online contestation

Online contestation demonstrates the essential change of government online participation provoked by the networked protest on Weibo and ongoing social supervision of the government's crisis response in WCC. We can see that the government has mitigated the extent of the unchanging blockade and repression of public participation and opinion. From the public's point of view, the government's administration is figuratively embodied in deleting posts and blocking news. This resonates with Gallagher and Miller's (2020) research that the Chinese government will purposefully censor the posts of influential users to prevent public opinion from being guided by their viral spread or influence, expanding the potential for public challenges to authority. But our results demonstrate that although the government did blocks and repression, it adjusted the most unpopular

measures after online protests, widely disseminating information and sending rescue teams to alleviate Shouguang, as well as conducting relevant briefings in the aftermath. In contrast to the tough measures and attitudes of the past, the government has started to respond to the public's questions and concerns after this online contestation, weakening the possibility of an online explosion of public opinion brought about by the protest and pacifying the masses. Such a change can be seen as an ingenious strategy of the government, namely, being more active on Weibo and to establish and maintain a favourable voice and responsible image for the regime (Wang, 2018, Sullivan, 2012). This change could be caused by the raising scale and scope of public online participation which can strive for more attention and assistance to the crisis at hand, motivating the government to limit error and deploy high-quality crisis response. We argue that such collective contestation speaks to how public awareness in China has been awakened and raised through online participation.

Sullivan (2012) states that Weibo users have become a controversial force to participate in discussions of social issues; however, under a rigorous state-moderated online environment, the risks of openly challenging state power should be clear to most members of the public, from a variety of sources, which prevent the complete freedom of users to participate in setting social agenda. Thinking carefully before posting and even self-censoring could be a self-protective strategy of netizens, presenting that the governmental intervention inhibited public online participation (Kaplan and Haenlein, 2010).

Some changes in online participation have been conducted by some specific members of the public during and after online contestation. Informal informants such as 'Binqi', who has remained active on Weibo even after having posts removed, are still in the minority, in arguing, fighting, and advocating for their own interests. Partly agreeing with Nip and Fu's argument that we can see that to some extent, some members of Weibo users are becoming a united force to fight for what they concerned, affecting governmental reactions to specific social issues. However, after protesting online, they expressed their dissatisfaction and disappointment with the government and Weibo platforms for blocking crisis information and suppressing public opinion by not forwarding government information or no longer participating in the WCC. Many others, concerned about potential government censorship, choose to remain silent or leave Weibo altogether, partly because no action will avoid censure as a way around censorship restrictions, and partly, perhaps because the crisis at hand is not closely associated with them, and it is customary for Chinese people to stay away from matters that do not concern them directly.

It should also be noted that some groups participate in the online contestation and express their feelings of anger, their activism was purely situational, and once the issue that stirred them was resolved, the motivation for their opposition to the state also disappeared. Therefore, they will continue to use Weibo to engage in other WCC and maintain a neutral attitude towards the state and Weibo plat-

form. While tending to drive the public away from Weibo, decrease their power and passion, and limit their WCC participation on one hand, friction tends to expand the government's voice, power, and WCC participation on the other, which can trigger deeper friction between these two crisis stakeholder groups.

Trust is significant but hard to build in WCC

Although Tyfield (2018) argues that the current Chinese people are a vibrant, increasingly educated, cosmopolitan, prosperous, and indeed digitally savvy group, the results of this study illustrate that the steady presence of centralised governmental control and reiterated oversight has also made the path to online participation for the Chinese people less than smooth. The ensuing result is that building trust between the two sides is also difficult. On the one hand, it is so because of the ever-expanding power of the government and the ever-improving terms and frameworks of censorship; on the other hand, a public that retreats under censorship, who, in a moment of dilemma between the consequences of censorship on their personal work and life and their contestation for social issues, will mostly choose to remain silent and stay away, with a reduced incentive to participate online, and may be resistant to establishing a closer connection with the government.

We suggest that the government and the public can avoid frictions in future WCC by building mutual trust, a process which would require more effort on the government's part. From the government's perspective, it is crucial to consider how better to construct the discourse of crisis information in WCC, to improve the speed and the scale of releasing crisis information, how to interact with the public, and how to bypass friction with the public in controversial crises, particularly adjust the degree and rationality of censorship and regulation of social media to avoid direct conflict with the public since new forms of communication technology are bound to become commonplace in due course. By being active, responsible crisis manager keeping transparency of information can motivate the public to drop the guard and build trust on the government in WCC.

Meanwhile, the public should improve their ability to screen and discriminate among online information and sources on Weibo. Members of the public are often not experts and may be gullible, unwittingly bringing rumours and misinformation to WCC. The traditional editing mode (i.e. the editors review, control, and edit news coverage before releasing) enables the public to obtain the necessary information to form their own judgments when they participate in political affairs. However, in the social media era, such an author role suitable for modern society can only be formed through learning.

Limitations of this study and directions of future research

Limitations in the present study point to important directions for future research. First, the sample comprised individuals, which does not necessarily reflect the perspectives of others, such as older, lower-income, and less educated population in China, which limits us to explore how did these groups assess and response

to government actions in crises, how and whether they would engage in crisis communication and contestation, both online and offline, and to what extent do social networks influence their opinions and actions in crises. This study also does not reflect such as government user accounts. As these users have many followers and possess influential, symbolic status on Weibo, their views are often based on their social roles. Crisis communication researchers could explore further complex friction, reactions, and online participation from diverse types of population with different characteristics and also the government's perspective, to enrich the data and reduce the risk of bias or quality loss from the over-representation of any given background and thus better understand influences on online participation and decisions of different types of population in WCC in China.

The second limitation lies in our selection of a single Chinese social media platform, namely Weibo, for our case study. We chose the platform as a means to gauge friction between the government and the public because Weibo is widely accessible, creating an open channel for crisis communication. Future studies could helpfully examine the characteristics of other platforms (e.g. WeChat and Tik Tok), how frictions between two parties arise on them, and whether the present findings are applicable across different social media platforms. The expansion of studies on social media platforms is bound to provide comprehensive insights, considering that each social network has unique features and functionalities, which may provide further opportunities for social-media-based crisis communication in China in the future.

Acknowledgments

This work was supported by the National Social Science Fund of China [grant numbers 20&ZD152]

References | Список литературы

Alexander, D. E. (2014). Social media in disaster risk reduction and crisis management. *Science and Engineering Ethics*, 20, 717–733. https://doi.org/10.1007/s11948-013-9502-z

Beaudoin, C. E. (2007). SARS news coverage and its determinants in China and the US. *International Communication Gazette*, 69(6), 509–524. https://doi.org/10.1177/1748048507082839

Benney, J., & Xu, J. (2018). The decline of Sina Weibo: A technological, political and market analysis. In K. Eills, M. Kent, & J. Xu (Eds.), *Chinese Social Media: Social, Cultural and Political Implications* (pp. 221–235). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315160214-21

Chatfield, A. T., & Reddick, C. G. (2018). All hands-on deck to tweet# sandy: Networked governance of citizen coproduction in turbulent times. *Government Information Quarterly*, 35(2), 259–272. https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.09.004

Cheng, Y. (2020). The social-mediated crisis communication research: Revisiting dialogue between organizations and publics in crises of China. *Public Relations Review*, 46(1), 101769. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2019.04.003

China Country Report. (2019). Freedom House. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/china

Cunningham, J. A., Menter, M., & O'Kane, C. (2018). Value Creation in the Quadruple Helix: A Micro Level Conceptual Model of Principal Investigators as Value Creators. *R&D Management*, 48(1), 136–147. https://doi.org/10.1111/radm.12310

Feldman, M. S., & Khademian, A. M. (2007). The Role of the Public Manager in Inclusion: Creating Communities of Participation. *Governance*, 20, 305–324. https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2007.00358.x

Floods hit Shouguang, Shandong province, China's "hometown of vegetables". The public questioned the man-made factor (洪灾冲击中国"蔬菜之乡"山东寿光 公众质疑人祸因素). (2018). BBC. https://www.bbc.com/zhongwen/simp/chinese-news-45327428 (In Chinese).

Gallagher, M., & Miller, B. (2020). Who not what: The logic of China's information control strategy. *China Quarterly*, 1–26. https://doi.org/10.1017/S0305741021000345

Gambetta, D. (1988). Can we trust trust? In D. Gambetta (Ed.), *Trust: Making and Breaking Cooperative Relations* (pp. 213–237). Blackwell.

Gueorguiev, D., Shao, L., & Crabtree, C. (2017). *Blurring the Lines: Uncertainty and Self-Censorship in China*. https://doi.org/10.2139/ssrn.3075481

Hsu, C. (2011). Even further beyond civil society: The rise of Internet-oriented Chinese NGOs. *Journal of Civil Society*, 7(1), 123–127. https://doi.org/10.1080/17448689.2011.553468

Johnson, T. (2013). The politics of waste incineration in Beijing: The limits of a top-down approach? *Journal of Environmental Policy and Planning*, 15(1), 109–128. https://doi.org/10.1080/1523908X.2012.752183

Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. *Business Horizons*, 53, 59–68. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003

Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust. *The Academy of Management Review*, 20(3), 709–734. https://doi.org/10.2307/258792

Medaglia, R., & Zhu, D. (2017). Public deliberation on government-managed social media: A study on Weibo users in China. *Government Information Quarterly*, 34(3), 533–544. https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.05.003

Nip, J. Y., & Fu, K. W. (2016). Challenging official propaganda? Public opinion leaders on Sina Weibo. *The China Quarterly*, 225, 122–144. https://doi.org/10.1017/S0305741015001654

Noesselt, N. (2014). Microblogs and the adaptation of the Chinese party-state's governance strategy. *Governance*, 27(3), 449–468. https://doi.org/10.1111/gove.12045

Palen, L., Vieweg, S., Liu, S., & Hughes, A. (2009). Crisis in a networked world: Features of computer mediated communication. *Social Science Computing Review*, 27(4), 467–480. https://doi.org/10.1177/0894439309332302

Popa, E. O., Blok, V., & Wesselink, R. (2020). A processual approach to friction in quadruple helix collaborations. *Science and Public Policy*, 47(6), 876–889. https://doi.org/10.1093/scipol/scaa054

Purohit, H., Castillo, C., Diaz, F., Sheth, A., & Meier, P. (2014). Emergency-relief coordination on social media: Automatically matching resource requests and offers. *First Monday*, 19. https://doi.org/10.5210/fm.v19i1.4848

Qin, B., Strömberg, D., & Wu, Y. (2017). Why Does China Allow Freer Social Media? Protests versus Surveillance and Propaganda. *Journal of Economic Perspectives*, 31(1), 117–140. https://doi.org/10.1257/jep.31.1.117

Rauchfleisch, A., & Schäfer, M. S. (2015). Multiple public spheres of Weibo: A typology of forms and potentials of online public spheres in China. *Information, Communication & Society*, 18(2), 139-155. https://doi.org/10.1080/1369118X.2014.940364

Roberts, N. (2004). Public deliberation in an age of direct citizen participation. *The American Review of Public Administration*, 34(4), 315–353. https://doi.org/10.1177/0275074004269288

Schlaeger, J., & Jiang, M. (2014). Official microblogging and social management by local governments in China. *China Information*, 28(2), 189–213. https://doi.org/10.1177/0920203X14533901

Sullivan, J. (2013). China's Weibo: Is faster different? *New Media and Society*, 16(1), 24–37. https://doi.org/10.1177/1461444812472966

Tong, J., & Zuo, L. (2014). Weibo communication and government legitimacy in China: A computer-assisted analysis of Weibo messages on two 'mass incidents'. *Information, Communication & Society*, 17(1), 66–85. https://doi.org/10.1080/1369118X.2013.839730

Tricker, R. (1988). Information resource management—A cross-cultural perspective. *Information and Management*, 15(1), 37–46. https://doi.org/10.1016/0378-7206(88)90028-6

Tyfield, D. (2018). *Liberalism 2.0 and the rise of China: Global crisis, innovation and urban mobility (Routledge advances in sociology)*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315735917

Van den Berg, A. (2021). Participation in Online Platforms: Examining Variations in Intention to Participate across Citizens from Diverse Sociodemographic Groups. *Perspectives on Public Management and Governance*, 4(3), 259–276. https://doi.org/10.1093/ppmgov/gvab013

Van den Berg, A., Giest, S. N., Groeneveld, S. M., & Kraaij, W. (2020). Inclusivity in online platforms: Recruitment strategies for improving participation of diverse sociodemographic groups. *Public Administration Review*, 80(6), 989–1000. https://doi.org/10.1111/puar.13215

Wang, Q. (2018). Does the Chinese government engage in online public debates? A case study of political communications around the building of an oil refinery in Kunming, China. *Global Media and China*, 3(3), 158–176. https://doi.org/10.1177/2059436418804274

Xiao, Q. (2011). The battle for the Chinese internet. *Journal of Democracy*, 22(2), 47–61. https://doi.org/10.1353/jod.2011.0020

Xinhua. (2016). *Investigation report on the "8-12" dangerous goods warehouse accident at Tianjin Port released* (天津港"8·12"瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故调查报告公布). http://www.xinhuanet.com//politics/2016-02/05/c_1118005206.htm (In Chinese).

Yang, G. (2003). The Internet and Civil Society in China: A Preliminary Assessment. *Journal of Contemporary China*, 12(36), 453–475. https://doi.org/10.1080/10670560305471

Zheng, Y., & Wu, G. (2005). Information technology, public space, and collective action in China. *Comparative Political Studies*, 38(5), 507–536. https://doi.org/10.1177/0010414004273505

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2023. No 3 | ISSN: 2658-7734
New Media and Human Communication | https://doi.org/10.46539/gmd.v5i3.362

Political Trust of the Russian Youth Through the Prism of Communication Strategies Choice

Olga V. Popova[1] & Nikolai V. Grishin[2]

Institute of Scientific Information on Social Sciences of the Russian Academy of Sciences; St. Petersburg State University. Moscow, St. Petersburg, Russia.

Received: 8 January 2023 | Revised: 28 July 2023 | Accepted: 11 August 2023

Abstract

The article examines the political trust of Russian youth in the context of their representatives' choice of channels for obtaining political information. The study contributes to the research of theoretical problems of political trust formation under the spread of modern communication means. The impact of the spread of new media on political trust of Russian youth is considered. The article is based on the results of two empirical studies conducted in the fall of 2022: a mass online survey of Russian youth and an expert survey. The mass online survey was based on the online questionnaire method, while conducting an expert survey, the method of non-standardized interview was used to collect information, and the method of discourse analysis was used for processing. The results of the study revealed the differentiation of communication strategies in different socio-demographic and status groups of generations x and z. It is confirmed that the choice of new media as the main information sources about politics is in line with the trend of political trust decreasing. Russian youth are characterized by very low levels of trust in public opinion leaders; by this, it was possible to identify significant intra-generational splits. The communication strategies of the representatives of Russian youth also testify to the crisis of the two-step flow of communication model.

Keywords

Political Trust; Social Trust; Youth; Trust In Authorities; Youth Policy; Political Communication; Communication Strategies; New Media; Blogging; Social Networks

This work is licensed under a Creative Commons "Attribution" 4.0 International License

1 Email: pov_64[at]mail.ru
2 Email: nvgrishin[at]mail.ru

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2023. No 3 | ISSN: 2658-7734
Новые медиа и коммуникации | https://doi.org/10.46539/gmd.v5i3.362

Политическое доверие российской молодежи сквозь призму выбора информационно-коммуникативных стратегий

Попова Ольга Валентиновна[1], Гришин Николай Владимирович[2]

Институт научной информации по общественным наукам РАН; Санкт-Петербургский государственный университет. Москва, Санкт-Петербург, Россия.

Рукопись получена: 8 января 2023 | Пересмотрена: 28 июля 2023 | Принята: 11 августа 2023

Аннотация

В статье исследуется политическое доверие российской молодежи в контексте выбора ее представителями каналов получения политической информации и наличия лидеров общественного мнения. Исследование вносит вклад в изучение теоретических проблем формирования политического доверия в условиях распространения современных средств коммуникаций. Рассмотрен вопрос о влиянии распространения новых медиа на состояние политического доверия российской молодежи. Статья базируется на результатах двух эмпирических исследований, проведенных осенью 2022 года: массового онлайн-опроса российской молодежи и экспертного опроса. Массовый онлайн-опрос был основан на методе онлайн-анкетирования, при проведении экспертного опроса для сбора информации применен метод нестандартизованного интервью, для обработки полученных данных – метод дискурс-анализа. Результаты исследования выявили дифференциацию информационно-коммуникативных стратегий у различных социально-демографических и статусных групп поколений x и z. Подтверждается, что выбор новых медиа в качестве основных источников информации о политике соответствует тенденции к снижению политического доверия. Для российской молодежи характерны весьма низкие показатели доверия лидерам общественного мнения, при этом удалось выявить значительные внутрипоколенческие расколы. Информационно-коммуникативные стратегии представителей российской молодежи свидетельствуют также о кризисе двухступенчатой модели политической коммуникации.

Ключевые слова

политическое доверие; социальное доверие; молодежь; доверие органам власти; молодежная политика; политическая коммуникация; коммуникативные стратегии; новые медиа; блоггинг; социальные сети

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons “Attribution” («Атрибуция»)4.0 Всемирная

1 Email: pov_64[at]mail.ru
2 Email: nvgrishin[at]mail.ru

Введение

Исследования проблем политического доверия переживают подъем интереса со стороны ученых по всему миру. Доверие политическим институтам считается важнейшим фактором эффективности публичного управления (Moamenla, 2017). Хотя центральной проблемой по-прежнему считается снижение политического доверия, наблюдаемое на протяжении нескольких десятилетий (Chevalier, 2019; Koivula, Malinen & Saarinen, 2021), многие отдельные вопросы в этой предметной области также оказываются в фокусе внимания ученых. Одной из таких тем является влияние на формирование политического доверия происходящих в современном мире изменений в использовании средств получения информации о политике. Существующие теории политического доверия по-разному трактуют механизм его формирования (Avery, 2009; Lu, Qi & Yu, 2019); вместе с тем, никто из ученых не отрицает, что существенным фактором, формирующим и поддерживающим эту особенность политического сознания индивида, группы или, наоборот, разрушающим ее, является политическая коммуникация. В современной науке признано, что средства массовой информации являются важным источником формирования политического доверия (Moy & Scheufele, 2000; Chang, 2022); при этом различия между традиционными СМИ и новыми медиа представляются наиболее значимыми (Echeverría & Mani). Изменения в системе СМИ и распространение новых медиа часто оцениваются как одна из главных причин снижения политического доверия, наблюдаемого в странах мира на протяжении последних десятилетий (Xu, Ye & Zhang, 2022). Влияние современных источников информации о политике на формирование политического доверия может быть признано значимой научной проблемой, касающейся широкого ряда вопросов изучения современного общества (Назаров, Иванов & Кублицкая, 2019).

Целью данной статьи является исследование политического доверия российской молодежи в контексте использования ее представителями различных источников информации о политике. В частности, рассматривается вопрос о влиянии распространения новых медиа на уровень политического доверия. Мы предлагаем взглянуть на проблему более широко, чем в большинстве современных исследований, и учитывать, что использование новых медиа вытесняет не только традиционные СМИ, но и выступает конкурентом иных, не связанных со СМИ, традиционных каналов получения информации о политике. Таким образом, речь идет об изменениях информационно-коммуникативных стратегий, которые влияют, в частности, на механизмы формирования политического доверия. Вопрос о политическом доверии российской молодежи рассматривается нами в контексте выбора ею каналов получения политической информации, наличия у молодежи ЛОМов (лидеров общественного мнения) в вопросах политики, взаимосвязи потенци-

ального репертуара действий в случае нарушения интересов представителей этой группы и политического доверия.

Мы исходим из разделения понятий коммуникационных и коммуникативных стратегий, в соответствии с которым под коммуникационной стратегией понимается долгосрочная сбалансированная программа достижения стратегических целей субъекта через информационно-коммуникационные взаимодействия с внешней и внутренней средой, а под коммуникативной стратегией – план реализации целей коммуникатора, схема построения индивидуальным субъектом коммуникации модели своего речевого поведения с целью достижения задачи общения (Гавра, 2019).

Статья основана на результатах двух эмпирических исследований, проведенных с участием авторов во второй половине осени 2022 года: массового онлайн-опроса российской молодежи и экспертного опроса. Массовый онлайн-опрос проведен в ноябре 2022 г., метод сбора информации – онлайн-анкетирование, объем выборки – 1500 респондентов, выборка квотная, несвязанная, контроль над квотами осуществлялся по параметрам пола, возраста, федерального округа респондентов. Экспертный опрос проведен в конце октября – начале ноября 2022 г., метод сбора информации – нестандартизованное интервью, объем выборки – 30 экспертов; экспертами выступили отечественные исследователи с большим опытом научной работы, политики, политтехнологи, молодежные активисты и руководители молодежных организаций с различными политическими взглядами; метод обработки полученных первичных данных – дискурс-анализ.

Метод дискурс-анализа доказал свою методическую релевантность и может быть признан традиционным для анализа стенограмм нестандартизованных экспертных интервью.

Теоретико-методологические проблемы изучения влияния новых медиа на политическое доверие

Исследователи влияния современных средств коммуникации на политическое доверие практически всегда дифференцируют эффекты традиционных СМИ и новых медиа (Brosius, van Elsas & de Vreese, 2019). Новые медиа почти единогласно признаются в качестве средств коммуникации, обеспечивающих эффективные способы политической мобилизации (Шентякова, Гришин, 2021), раскрывающих для граждан возможности её распространения, активизации их роли в системе распространения информации (Camaj, 2014). Новые медиа, основанные на применении новых информационных технологий, меняют роль общества (получателя информации) в той же мере, как меняется роль социальных акторов в новых информационных технологиях в целом. В современной науке преобладает так называемый «демократический подход» к изучению новых медиа, который акцентирует внимание преимущественно на демократических эффектах от распространения новых средств коммуни-

кации (Hetherington & Husser, 2012). К ним относят, в частности, преодоление гражданами пассивной роли получателей информации (что характерно для традиционных СМИ), обретение получателями информации большей степени контроля над источниками информации и возможности широкого выбора, возрастающие сложности для использования СМИ в целях централизованного манипулирования (Попова, 2020).

Проблема конфликта между традиционными СМИ и новыми медиа при формировании политического доверия может быть рассмотрена с противоположных точек зрения. Идея о вытеснении традиционных СМИ новыми медиа при формировании политического доверия (Ceron, 2015) едва ли привлекает поддержку большинства исследователей. Более востребованы теоретические конструкты, обосновывающие возможность их сосуществования. Можно предположить, что формирование новых медиа в полной мере подтверждает так называемый «закон Рипля», сформулированный немецким исследователем Вольфгангом Риплем в 1913 г. В соответствие с этим законом, каждый новый вид средств массовой информации не заменяет старый вид СМИ, а создает новую сферу и находит своего зрителя (Schulz, 2014). Таким образом, распространение новых медиа не обязательно вытеснит традиционные СМИ из процессов формирования политического доверия, но вполне может отнять у них первенство. В рамках этого подхода находится концепт гибридной медиасистемы, предложенный британским исследователем Эндрю Чедвиком (Chadwick, 2013).

Одной из острых теоретических проблем, возникших в связи с распространением новых медиа, стал вопрос о лидерах общественного мнения. Новые медиа ставят под сомнение существовавшую в эпоху традиционных СМИ систему лидеров общественного мнения, стирают границу между аудиторией и источником информации (Schoon & Cheng, 2011). Используя новые технологии, зритель, даже если он не обладает соответствующей подготовкой и ресурсами, сам может в любой момент взять на себя роль распространителя информации – при помощи своего аккаунта в социальных сетях, блога и т. д. Распространение новых медиа бросает вызов двухступенчатой модели политической коммуникации П. Лазарсфельда. В отношении процессов формирования политического доверия не ясно, может ли идти речь об ослаблении феномена лидеров общественного мнения в целом, либо же можно говорить о качественном изменении системы лидеров общественного мнения, в роли которых более часто могут выступать обычные граждане (пользователи).

В современной науке распространение новых медиа в той или иной мере связывают с сокращением уровня политического доверия в обществе (Козырева & Смирнов, 2015). Тем не менее, существует подход, который положительно оценивает потенциальное влияние новых медиа на уровень политического доверия в связи с их потенциалом в отношении развития гражданского участия и активизма (Wilkins, 2000; Warren, Sulaiman & Jaafar, 2014).

Политическое доверие молодежи и источники получения политической информации

В ходе обработки данных массового онлайн-опроса российской молодежи с учетом ответов респондентов на серию вопросов о степени доверия государственным институтам власти, политикам, силовым структурам и политизированным общественным организациям были вычислены 4 группы российской молодежи, принципиально различающиеся по этому показателю. Группа молодежи с полным отсутствием признаков политического доверия оказалась достаточно большой и составила 26,4%. Почти треть молодежи (32,9%) обладает низкими показателями политического доверия, четверть (24,9%) — средними. Наконец, очень небольшая группа молодежи (15,8%) обладает высокими показателями политического доверия.

Источник политической информации	Процент использующих данный источник политических сведений молодежи	Позиция в рейтинге
Интернет-ресурсы	88,0	1
Друзья, знакомые	34,2	2
Телевидение	30,8	3
Родственники	21,3	4
Радио	5,7	5
Периодические печатные издания	5,2	5
Другие источники политической информации	3,2	6
Рассылки по электронной почте	1,8	6

Таблица 1. Рейтинг источников получения политической информации российской молодежью, ноябрь 2022 г., %

Table 1. Ranking of Sources for Political Information Acquisition by Russian Youth, November 2022, %

Безусловным лидером в рейтинге источников политической информации являются интернет-ресурсы различных типов: интернет-сайты, мессенджеры, информационные ленты и т.д.; их используют 88% молодежи (Таблица 1). При такой распространенности признака, казалось бы, невозможно выделить какие-либо особые группы; тем не менее, чаще других пользуется политической информацией из интернет-пространства российская молодежь из мегаполисов и крупных промышленных центров. В наименьшей степени интересуются политической информацией в интернете молодые люди в возрасте от 14 до 17 лет, обучающиеся в школе, обладатели начального, неполного сред-

него, начального профессионального образования, жители поселков городского типа, молодежь, проживающая в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральном округах (статистически значимые стандартизованные остатки равны соответственно +1,6, –2,1, –2,2, –1,8, –1,6, –2,1).

С большим отрывом на второй позиции в рейтинге источников политической информации оказались друзья и знакомые (34,2%). Чаще всего этот источник указывает молодежь в возрасте от 18 до 24 лет с полным средним образованием, студенты младших курсов вуза (статистически значимые стандартизованные остатки равны соответственно +2,2, +1,6, +2,7, +1,9).

На третьей позиции — телевидение; вопреки распространенному представлению, что современная российская молодежь в принципе не обращается к ТВ как к источнику информации, информационные и аналитические телепрограммы на политическую тематику использует почти треть жителей России в возрасте от 14 до 35 лет. Наиболее типичный социально-демографический и статусный профиль молодого пользователя политической телеинформации: девушки в возрасте от 14 до 17 и от 30 до 35 лет с неполным средним, начальным профессиональным и полным средним образованием, ученицы школы, проживающие в маленьком городке, поселке городского типа, в селе или деревне. Чаще потребители политической телеинформации встречаются в Приволжском и Дальневосточном федеральных округах (статистически значимые стандартизованные остатки равны соответственно +2,2, +2,5, +1,8, +1,8, +3,1, +2,7, +3,5, +3,0, +1,7, +1,7, +1,7, +2,8).

Лишь каждый пятый молодой человек в нашей стране обсуждает политические вопросы со своими родственниками (21,3%). Чаще других это делают девушки в возрасте от 14 до 20 лет, ученицы школы и обладательницы полного среднего образования, обучающиеся на младших курсах вузов, выходцы из поселков городского типа, трудоустроенные официально (статистически значимые стандартизованные остатки равны соответственно +2,0, +2,6, +2,6, +2,4, +3,4, +2,0, +2,6, +2,0).

Наконец, каналы-аутсайдеры политической информации для молодежи — радио, журналы и газеты, рассылки по электронной почте; ими пользуются только от 2% до 6% молодежи. В данном случае выявить наиболее типичных пользователей политической информации из этих источников не удалось.

Совсем не используют никакие источники для получения политической информации только 2,0% молодежи.

Сведения об источниках получения политической информации (Таблица 2) важны с точки зрения принадлежности молодежи к группе с определенным уровнем политического доверия. Статистически значимые стандартизованные остатки свидетельствуют о том, что молодежь со средним и высоким уровнем политического доверия склонна принять в качестве источников политической информации телевидение и радио (с.з.с.о. равны соответственно +2,6, т+5,1, +1,8, +2,3).

Источник информации	Доверие отсутствует	Уровень доверия низкий	Уровень доверия средний	Уровень доверия высокий	Всего
Интернет-ресурсы	26,6	33,0	25,5	15,0	100,0
Друзья, знакомые	26,8	34,3	24,0	14,9	100,0
Телевидение	15,1 −4,9	29,1	30,8 +2,6	25,0 +5,1	100,0
Родственники	21,2 −1,9	34,9	26,3	17,6	100,0
Радио	12,2 −2,6	27,8	34,4 +1,8	25,6 +2,3	100,0
Периодические печатные издания	22,2	32,1	27,2	18,5	100
Рассылки по электронной почте	48,3 +2,3	24,1	20,7	6,9	100,0
Другие источники политической информации	30,0	34,0	26,0	10,0	100,0
Затрудняюсь ответить	47,1 +1,7	23,5	11,8	17,6	100,0

Примечание. Вторая цифра в ячейке таблицы — статистически значимый стандартизованный остаток, в зависимости от знака фиксирующий склонность или отсутствие склонности группы мыслить или действовать определенным образом.

Таблица 2. Использование источников политической информации молодежи с разным уровнем политического доверия, ноябрь 2022 г., % по строке

Table 2. Utilization of Political Information Sources by Youth with Varying Levels of Political Trust, November 2022, % per row

В целом полученные результаты согласуются с распространенным мнением о доминировании и продолжающемся расширении влияния новых медиа в системе источников информации для молодежи. Нами получено эмпирическое подтверждение, что распространение этого влияния способствует снижению уровня политического доверия, в время как наиболее высокие показатели политического доверия характерны для тех групп молодежи, которые в большей степени используют традиционные СМИ. Экстраполируя данную тенденцию, можно предположить, что в случае дальнейшего

расширения влияния новых медиа уровень политического доверия молодежи будет снижаться.

Лидеры общественного мнения в сфере политики в глазах российской молодежи

Выражение «нет пророка в своем Отечестве» применительно к ориентации российской молодежи на лидеров общественного мнения в отношении получения политической информации вполне актуально как в полном своем звучании, так и в «урезанном» до двух слов. Только чуть больше 1/3 российской молодежи (38,3% респондентов) уверенно назвали фамилию, никнейм персоны или сообщества, организации, к мнению которых они прислушиваются. Каждый пятый (21,2%) убежденно заявил, что таких нет, а две пятых респондентов не смогли назвать политиков, журналистов, блогеров, чьей точке зрения они доверяют (Таблица 3).

Варианты ответа	%
Есть такие политики, журналисты, блогеры	38,3
Таких нет	21,2
Затрудняюсь ответить	40,5
Всего	100,0

Таблица 3. Интерес российской молодежи к политической информации и точке зрения лидеров общественного мнения (конкретных политиков, журналистов, блогеров), ноябрь 2022 г., % по столбцу

Table 3. Interest of Russian Youth in Political Information and the Perspectives of Opinion Leaders (specific politicians, journalists, bloggers), November 2022, % per column

Типичный социально-демографический и статусный профиль представителя российской молодежи, у которого есть персонализированный идеал источника политической информации, – это молодой мужчина в возрасте от 30 до 35 лет, с высшим образованием, работающий с трудовой книжкой или неофициально, а также одновременно получающий образование и официально трудоустроенный, имеющий относительно высокие или высокие доходы, житель мегаполиса или крупного промышленного центра, чаще всего областного, житель Центрального или Северо-Западного федеральных округов (с.з.с.о равны соответственно +2,9, +3,3, +2,8, +1,6, +1,7, +2,5, +4,6, +2,0, +3,2, +1,8, +4,4).

В большей степени, чем представители других групп, склонны считать, что политических авторитетов и лидеров общественного мнения среди политиков, журналистов и блогеров для них нет, молодые люди в возрасте

от 14 до 17 лет, обладатели полного среднего образования, ученики школ, малообеспеченные люди, доходов которых по большому счету хватает только на продукты питания, жители поселков городского типа, жители Северо-Кавказского федерального округа (с.з.с.о равны соответственно +4,2, +3,1, +3,1, +1,6, +3,6, +2,8).

В наибольшей степени среди молодежи затруднились с ответом на вопрос о наличии для них политических авторитетов среди собственно политиков, журналистов и блогеров молодые девушки в возрасте от 18 до 20 лет, обладатели начального и неполного среднего, а также среднего профессионального образования, чьих доходов хватает на питание, одежду и повседневные траты, жители сельской местности, жители Северо-Кавказского, Приволжского и Дальневосточного федеральных округов (с.з.с.о равны соответственно +2,9, +1,6, +2,3, +2,8, +1,8, +2,1, +3,5, +1,6, +1,7).

Варианты ответа	Политическое доверие отсутствует	Уровень политического доверия низкий	Уровень политического доверия средний	Уровень политического доверия высокий	Всего
Есть такие политики, журналисты, блогеры	26,1	32,2	27,7	14,0	100,0
Таких нет	26,7	37,5	22,5	13,2	100,0
Затрудняюсь ответить	26,6	31,1	23,4	18,9 +2,0	100,0

Примечание. Вторая цифра в ячейке таблицы – статистически значимый стандартизованный остаток, в зависимости от знака фиксирующий склонность или отсутствие склонности группы мыслить или действовать определенным образом.

Таблица 4. Интерес представителей российской молодежи с различным уровнем политического доверия к политической информации и точке зрения лидеров общественного мнения (конкретных политиков, журналистов, блогеров), ноябрь 2022 г., % по строке

Table 4. Interest in Political Information and the Perspectives of Opinion Leaders (specific politicians, journalists, bloggers) among Russian Youth with Varying Levels of Political Trust, November 2022, % per row

Представляет интерес практически гомогенное распределение ответов молодежи о наличии в их глазах политических лидеров общественного мнения среди молодежи с различным уровнем политического доверия (Таблица 4): единственная группа, которая чуть выбивается из общей картины, – это обладатели высокого уровня политического доверия, которые затрудняются

с определением политически авторитетных для себя персон (статистически значимый стандартизованный остаток в этом случае равен +2,0).

Среди проправительственных и оппозиционных политиков, общественных деятелей были названы: Авксентьева Сардана Владимировна (российский государственный и политический деятель, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва с 2021 года, заместитель руководителя фракции партии «Новые люди» с 11 октября 2021 г.), Гудков Дмитрий Геннадьевич (российский оппозиционный политик), Дугин Александр Гельевич (общественно-политический деятель, философ, основатель НБП), Кара-Мурза Владимир Владимирович (Российский оппозиционный политик, https://t.me/s/vladimirkaramurza)[1], Собчак Анатолий Александрович (умерший советский и российский политический деятель, первый мэр Санкт-Петербурга, доктор юридических наук), Навальный Алексей Анатольевич (отбывающий наказание в колонии российский политический и общественный деятель, юрист и видеоблогер, https://t.me/s/Navalny), Царев Олег Анатольевич (с 26 июля 2014 г. – спикер парламента ДНР), Прилепин Захар (Евгений Николаевич) (член Центрального совета политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» с 22 февраля 2021 г.), Хинштейн Александр Евсеевич (Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи ГД РФ), Ходаковский Александр Сергеевич (военный и политический деятель ДНР), Шлосберг Лев Маркович (российский общественный и политический деятель, правозащитник, https://t.me/s/shlosberg).

В списке названных журналистов оказались как военкоры, представители официальных изданий, так и представители оппозиционных сетевых изданий, активно работающих в социальных сетях. В некоторых случаях достаточно сложно обозначить приоритетный вариант деятельности популярного лидера общественного мнения в сети, считать ли его журналистом или именно блогером: «анонимный блогер» Архивариус, Венедиктов Алексей Алексеевич*, Гаспарян Армен, Дзядко Тихон Викторович*, Дудь Юрий*, Кац Максим*, Кашеварова Анастасия, Котрикадзе Екатерина*, Коц Александр Игоревич, Лебедев Артемий, Осечкин Владимир (правозащитник, основатель сайта Гулагу.нет, https://www.gulagu.net), Панасенков Евгений*, Пегов Семен, Поддубный Евгений, Рожин Борис (военный эксперт, блогер на Live Journal), Сладков Александр, Собчак Ксения Анатольевна, Татарский Владлен, Филатов Лев Иванович, Шарий Анатолий, Штефанов Александр*.

Важно отметить, что среди авторитетных для молодежи лиц оказались представленные в социальных сетях ученые, писатели, бизнесмены с очень разными политическими взглядами: Абзалов Дмитрий Габитович (политолог, президент «Центра стратегических коммуникаций»), Аксенов Василий Павлович (писатель), Акунин Борис (писатель), Глуховский Дмитрий (россий-

1 Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Далее символом отмечены лица, внесенные Минюстом РФ в список иностранных агентов.

ский писатель, автор «Метро 2033»), Естафьев Дмитрий Геннадиевич (политолог-американист, профессор НИУ ВШЭ), Зубаревич Наталья Васильевна (российский географ, профессор МГУ), Котс Александр Федорович (ученый, доктор биологических наук), Крутихин Михаил (российский экономист, специалист по нефтегазовому делу), Потапенко Дмитрий Валерьевич (предприниматель, директор ООО «МДГ»[1]), Спицын Евгений Юрьевич (историк, блогер[2]), Шульман Екатерина Михайловна* (кандидат политических наук, политолог, популяризатор науки), Щипков Александр Владимирович (философ, блогер[3]). Кроме того, в качестве авторитетного источника политической информации для молодежи был упомянут «Изборский клуб» – сообщество экспертов, изучающих внешнюю и внутреннюю политику РФ.

Рассмотрение взаимосвязи между уровнем политического доверия молодежи и признанием лидеров общественного мнения дало любопытные результаты. Хотя в целом у российской молодежи уровень поддержки лидеров общественного мнения весьма невысокий, на особенно низком уровне он находится у группы с наиболее высокими показателями политического доверия. Таким образом, результаты анализа позволяют сделать вывод, что в качестве фактора, способствующего снижению политического доверия, можно считать популяризацию новых лидеров общественного мнения, представленных в новых медиа. При этом на снижение уровня политического доверия существенно не влияет, являются ли эти признаваемые молодежью лидеры общественного мнения, представленные в новых медиа, проправительственными или оппозиционными.

Экспертные оценки влияния блогеров на формирование политического доверия российской молодежи

Результаты проведенного экспертного опроса позволяют дополнить представленную выше информацию, полученную в ходе массового опроса молодежи. Как отметили эксперты, за последние годы принципиально изменились вызывающие у молодежи доверие источники политической информации и контрагенты в ходе политической коммуникации.

> «Если раньше как-то ценности транслировались от старшего поколения к младшему, то сейчас она, молодежь, как-то сама коммуницирует между собой, либо обращается к авторитету блогеров» (м., политтехнолог, создатель и ведущий популярного телеграм-канала).

Парадоксальным образом в проигрыше оказываются не только представители старшего поколения в семьях, но в глобальном плане и те политические игроки, которые от имени и в интересах государства транслируют определенные сведения на молодежную аудиторию.

1 https://www.youtube.com/channel/UC54SBo5_usXGEoybX1ZVETQ
2 https://t.me/s/EvgenijSpicin https://www.youtube.com/channel/UCDbLjDJX2t8gXgrgwihkH6w
3 https://t.me/s/shchipkovav https://www.youtube.com/channel/UCQCuzIC1pW0Kwy0-QV8QIwg

«Не хватает реально тех возможностей, которые есть у блогеров, которые ведут как раз вот эти негативные истории. Мы не умеем вести политически открытую работу, в СМИ пропагандистскую работу, которая должна вестись в молодежной среде. Мы потеряли поколение, которое было более лояльно к действующим мерам государственной политики» (м., молодежный общественный деятель).

Политические эксперты вполне реалистично отдают отчет в том, что существует целый ряд обстоятельств, делающих блогеров и их точку зрения привлекательными в глазах молодежи. Во-первых, речь идет о безусловном доверии молодых неискушенных жизнью молодых людей к тем, кто вроде бы и не имеет каких-то уникальных качеств, но при этом достиг большого коммерческого успеха. Во-вторых, молодежь достаточно легко откликается на лозунги включиться в борьбу «против». В-третьих, эпоха «постправды» как бы убивает политическую экспертизу как обладание уникальными знаниями и понимание ситуации исключительно узкой группой профессионалов. Иллюзия доступности и правдивости любой политической информации в глазах молодежи придает точке зрения блогеров дополнительный вес.

«Большая часть возрастного населения, которая занимается, в том числе, реализацией молодежной политики государственной, не вовремя сориентировалась ... что позволило создать псевдолидеров молодежного мнения. Это блогеры, которые ничем кроме ведения своих социальных сетей и блогов не занимаются, при этом объективно зарабатывают огромные, хорошие, деньги достойные, на рекламе в этих пабликах только за счет того, что привлекают своим протестным направлением ту самую молодежь. Все поэтому им верят... Они прекрасно живут, путешествуют, рассказывают нам из своих телеграм-каналов о том, где они побывали, как они видят политическую обстановку, навязывают нам свое политическое мнение только из-за того, что они такие знаменитые и успешные, а на самом деле, у многих этих ребят, которые считают себя суперкрутыми блогерами, нет даже образования соответствующего, это просто попытка продать и популяризировать себя за счет негативного настроя. ... Все эти псевдолидеры общественного мнения, онлайн блогеры, они давно находятся за пределами границы Российской Федерации, они ведут свои блоги настолько удаленно, что вообще удивляешься тому, откуда, в принципе, эта информация у них появляется ... хотя в действительности человек просто лежит на пляже, получает деньги за рекламу. Мы, в принципе, не умеем подавать информацию, как это делают они. Они это делают кратко, с выдержками, конкретно, а в нашем случае, мы начинаем привлекать экспертов, двухчасовые размышления о том, как должно быть, почему. Конечно, это тухло, вяло, для молодежи это просто несмотрибельно и не воспринимается» (м., молодежный общественный деятель).

В-четвертых, неиспользование блогером специального научного аппарата при обсуждении политических проблем создает дополнительно иллюзию не только якобы понятности ситуации, но и правильности изложения обсуждаемого кейса.

«Сильная сторона популярного блогера, рассуждающего о политике, это формат «логического ликбеза, популяризатора... доходчиво все объясняет, это понятно любому человеку вне зависимости от возраста и того, интересуется он поли-

тикой или нет… У человека гормоны выделяются определенные, когда он смотрит тех блогеров, которые транслируют мысли, которые ему нравится. Положить себе в голову чужие мысли, потом их озвучивать кому-то. Они как подсаживаются на них, подсаживаются на пропаганду: то на ту, то на эту, на разную. Кто-то на Соловьева подсаживается, кто-то на Шульман» (м., политолог, политтехнолог, организатор молодежного движения).

Важна манера подачи информации. Блогеры

«харизматичны, они выдвигают какие-то идеи, причем часто популистские, которыми можно заразиться. Видя несправедливость мира, в котором ты живешь, хочется во что-то верить и искать вот этот вариант перехода во что-то другое… Здесь уже технологии дальше включаются, новая искренность, новая мораль» (м., доктор полит. наук, политолог, организатор работы с молодежью).

В-пятых, для молодежи обычно важен баланс успешности, известности и умеренности скандалов вокруг источника информации, к мнению которого они прислушиваются. Молодые люди

«находят определенных авторитетов в определенных областях, это обычно блогеры какие-нибудь… Это могут быть блогеры, деятели более молодого поколения. Ищут среди блогеров, среди журналистов. Это люди относительно недавно появились, не успели пока себя чем-то таким запятнать, отяготить… Мне кажется вполне объективным, что молодежь больше доверяет блогерам или своим друзьям, чем родителям. Вот такое явление нашего века» (м., политолог, молодежный политик регионального уровня).

«Одновременно это должен быть и “успешный успех”, но в тоже время это как американская модель мальчика или девочки из соседнего двора, у которых тоже есть не только “успешный успех”, но и какая-то соломинка в глазу. Вот здесь я знаю, что он плохенький, условно говоря, и, соответственно, не возникает желания сильно его колоть иголкой, что он такой совсем хороший, просто уже зная, что он и так с червячком» (м., доктор полит. наук, политолог, организатор работы с молодежью)

В-шестых, в настоящее время для молодежи носители обеспечивающей якобы обратную связь с аудиторией идеологии «новой искренности», политические

«инфлюенсеры и микроинфлюенсеры — это блогеры. Очень интересно наблюдать, когда непрофильные блогеры начинают рассуждать о политике … Это хорошие инструменты социализации и повышение информированности и в целом формирование какого-то доверия, потому что социальные сети позволяют получать обратную связь. А когда ты даешь эту обратную связь как представитель молодежи, ты понимаешь, что ты можешь быть услышан, ты можешь повлиять на процесс принятия решений и как-то высказать свое “фи” или “ура”… Социальные сети — это новый уровень “новой искренности”… Если ты не позволяешь давать обратную связь, значит ты не готов к какой-то критике, какой-то оценке, к диалогу и вот эта однонаправленная коммуникация не формирует доверительную атмосферу» (ж., политолог, молодежный общественный деятель, активистка-волонтер)

Весьма привлекательна для молодежи в 2022 г. точка зрения уехавших из России к середине 2022 г. блогеров, поскольку они, по мнению представителей поколений y и z, с «территории свободы» имеют возможность высказывать свою точку зрения на политические проблемы свободно и непредвзято.

> «Сейчас все блогеры, которых смотрит молодежь, сидят за рубежом. Штаб Навального, Максим Кац, Варламов, эти ребята сидят за рубежом. Даже блогер Андрей Рудой из левого лагеря. Поэтому я думаю, чтобы быть для молодежи интересным политически, необходимо вещать именно с «территории свободы слова», где ты можешь сказать все, что нужно сказать. Вот это молодежь тянет» (м., политтехнолог, молодежный политик регионального уровня).

Эксперты не испытывают никаких иллюзий по поводу морально-нравственных качеств большинства популярных у молодежи блогеров

> «Блогеры чаще всего — это люди, коммерчески ориентированные и участвующие в политическом торге ... Так или иначе, они формируют у молодежи сознание в том или ином русле, поскольку имеют свою аудиторию, социальную группу, которая подвержена влиянию и, можно сказать, социализации в рамках аргументации, которую поддерживает блогер. И тут все упирается в государственные интересы. Если это важное государству популярное лицо, это реализуемо» (м., молодой региональный политик).

По мнению экспертов, представители высшей государственной власти отлично понимают, что для проведения эффективных политических коммуникативных и информационных кампаний проще использовать уже популярных («раскрученных») в настоящее время блогеров, чем с «нуля» формировать онлайн образ какого-то политика или популяризировать медиа-персону в интернет-пространстве. Действующие политики и молодое поколение y и z говорят на абсолютно разных языках:

> «Молодежь зачастую вообще не понимает, о чем говорят сегодня представители власти... Необходимы сегодня лидеры мнения ... внутри страны из числа молодежи, которые на понятном для них языке говорили бы о том, о чем говорят высокопоставленные люди... переводили на сленг ... могли какие-то вещи говорить доступно для них. Потому что сегодня с лидерами общественного (с ЛОМами) среди молодежи у нас очень все плохо. Нет системных ЛОМов, которые были бы сегодня интересны молодежи, которых бы она слушала, на основании мнения которых у них формировалась бы своя позиция мнения» (м., политтехнолог, создатель и ведущий популярного телеграм-канала).

Механизм «покупки» популярных медийных онлайн-персон достаточно прост:

> «Я не полностью понимаю этот мир. Но то, как я его вижу, как им пытаются управлять, у меня архитектура следующая: появляются блогеры (назовем их так), точки притяжения информации, и вокруг блогеров формируется молодежь, не привязанная к конкретной территории, а вот случайно попадающая по интересам. И они вот в этом мире черпают информацию от этих блогеров. Понятны следующие шаги властей: они пытаются на свою сторону переманить этих блогеров и через них проводить и реализовывать позитивный для власти

информационный контент» (м., доктор политических наук, политолог, организатор молодежного движения).

Подобные действия для блогеров очень выгодны в материальном плане, вычислить наличие таких договоренностей достаточно легко.

«Власть воздействовала тем, что покупала многих блогеров в поддержку войны … Они покупают этих блогеров… Пытаются… Общение в соцсетях, какой-то блогер, «своих не бросаем» … кто-то возмущался, кто-то да, да, да. Это работает, и они это делают.» (м., молодой политик регионального уровня).

Это может повлечь за собой для блогера ряд серьезных издержек.

«И если блогер садится на контракт, на финансирование, то, конечно, у него позитивных оценок, молниеносных реакций на события позитивных будет гораздо больше, и, по моим ощущениям он скорее начинает терять часть аудитории, а значит ему не удастся всех переменить. Наверное, такой цели и нет. У него есть какое-то ядро, он с ним работает. Задача не в том, чтобы концентрироваться на одном блогере, а это такое текучее состояние на сегодня. Скажем, вот они есть 5-10-15 точек притяжения, они работают, потом какие-то другие точки притяжения, через них нужно дать информацию попробовать… это всегда какой-то кратковременный момент. Случилось что-то – какая-то авария или проблема – блогеры отреагировали, сохранили какую-то информационную стабильность, устойчивое отношение к власти, потом на следующем этапе “эхо” проблемы тоже будет решаться через этих блогеров или уже через других. Мне кажется, доверие постоянно перетекает. Нет постоянных кумиров у молодежи. Они увлекаются какими-то источниками информации, потом могут разочаровываться. И власть вынуждена все время тоже перепрыгивать» (м., доктор политических наук, политолог, организатор молодежного движения)

Использование блогеров для формирования общественного мнения молодежи все больше напоминает конвейер.

«Скажем, о СВО они скачала у одних блогеров черпали информацию. Потом, когда власть начала транслировать через них свои какие-то тезисы, а эти блогеры перестали это делать аккуратно и стали некую линию проводить, от них отвернулись, перешли к другим. Вот я думаю, что власть уже вот с этими следующими работает, потому что динамика посещения и просмотра контента фиксируется и власти переключаются на новых блогеров, на новые источники информации. И через них, наверное, формируется доверие не как институциональное, а просто к событиям, к информации, к тому, что делается. И это правильно, власть ошибается, но возвращается к какому-то параметру. Значит это ситуативное доверие удается сохранить» (м., доктор политических наук, политолог, организатор молодежного движения)

При этом эксперты убеждены, что есть два фактора, которые могут дискредитировать точку зрения онлайн-медийной персоны в глазах молодых последователей.

«Как они говорили раньше о блогерах, до того, как они стали думать, что это все проплачено? То есть это наличие собственной позиции, которая не проплачена. Почему идея Навального популярна? Хотя сейчас видим очень сильное разочарование в Навальном в молодежной среде. Считалось, что Навальный сам за счет своей разоблачительной деятельности «поднялся». Молодежь не видела

эффекта больших денег за ним. Разочарование пошло потому, что вот она за него выступила, он вроде как хорошо говорил, но ничего реально не сделал. И вот эта идея жертвенности… Как там раньше было? Мученики уже изначально имеют доверие, но в молодежной среде это не работает. Ну, он мучается… но пользу это не принесло. В этом плане очень высокий уровень разочарования. Политик должен все время подтверждать молодежи, что он приносит пользу, что он решает какие-то проблемы и в то же время подтверждает свою бескорыстность, что он это делает не за чьи-то деньги» (ж., доктор политических наук, исследователь российской молодежи)

Эксперты считают также перспективным для политических акторов использование не собственно политических блогеров для продвижения определенной идеи в молодежное сознание, но популярных персон, которые вдруг «впроброс», специально якобы не акцентируя это, высказывают определенную точку зрения на политическую проблему.

«*Они вроде бы только юморят, и вроде бы ничего такого про политику вообще нет, но потом в какой-то передаче или в каком-то интервью этот самый парень, который шутил и за которым следит молодежь, сегодня где-то высказался. У кого-то на интервью, в другой какой-то передаче... Он узнаваем, они к его мнению скорее прислушаются, чем к мнению тети из телевизора, мнению мамы и папы, которые, по их мнению, «смотрят ящик» и не осведомлены обо всем том, что происходит в жизни… Молодежи кажется, что это их точка зрения, а на самом деле это очень субъективные чужие оценки людей, которым они доверяют. Это абсолютно нормально, только раньше они доверяли друзьям, окружению какому-то, а сейчас родители и взрослые, преподаватели, они не успевают, студенты, молодежь очень дифференцированы и в своих мирах каких-то живут. Блогеры, медийные личности... они скорее будут доверять им, потому что "телевизоры врут", родители правду не говорят или … они не прогрессивны*» (ж., канд. социолог. наук, специалист в области изучения молодежи)

Однако задача эта не так проста, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, помимо высоких показателей популярности блогера, необходимо максимально замаскировать факт проплаченной кампании. Во-вторых, эта работа должна быть системной. В-третьих, за подобную политико-информационную кампанию онлайн должны отвечать хотя бы относительно молодые люди, в противном случае их действия будут абсолютно нерезультативными

«*Работа должна быть системной. Если она не будет системной, все эти попытки будут считываться определенным образом, блогер будет получать по шапке от своих фанатов, но тем не менее зарабатывать на этом они будут продолжать*» (м., доктор политических наук).

Проблема заключается и в том, что крайне мало среди российских популярных блогеров тех, кто мог бы «перевести» даже полезные и выгодные для молодежи идеи «с языка взрослых политиков» («А *я российских не знаю блогеров, которые там что-то могли бы сказать мне, и я бы это понял*». (м., политтехнолог, создатель и ведущий популярного телеграм-канала)).

По мнению ряда экспертов, ограничение влияния на молодежь популярных блогеров в онлайн-пространстве задается самой спецификой отбора информации для прослушивания: молодые люди чаще всего не стремятся узнать иную, а тем более альтернативную своим убеждениям политическую точку зрения, а предпочитают слушать тех онлайн-персон, которые фактически укрепляют их взгляды («*Если в онлайн пространстве молодой человек сидит, он как губка … впитывает то, что хочет впитывать … у них есть там свои кумиры (блогеры, все остальное, которое они давно слушают/видят), их мнение и их оценка — она единственно правильная. Здесь уже ни о какой речи альтернативной точке зрения речи быть не может. То есть человек впитывает то, что он впитывает, и соответственно такие же и взгляды у него и будут*» (ж., молодежный политик регионального уровня)). Этому в немалой степени способствуют пузыри фильтров, эффект эхо-камеры определенной аудитории популярных блогеров и иные эффекты политической коммуникации онлайн. Тем не менее, возможно

> «*сыграть на поле того же блогера. Любая критика будет полезной, любой спор с авторитетом будет полезен… Критика должна быть конструктивной, а не то, что они, блогеры, ничего не понимают. Нужно именно конструктивно выстраивать альтернативную точку зрения, показывая, что блогер не является истиной последней инстанции*» (м., молодой региональный политик, блогер).

Эксперты обращают внимание на то, что грамотное техничное использование однотипной политической информации может создать у молодежной аудитории иллюзию ее достоверности.

> «*С одной стороны, нарастает представление, что в интернете никому нельзя доверять, вплоть до того, что прямо высказывались мнения о том, что блогеры проплачены и, по сути, это аналог сегодняшнего телевидения. То есть вот такая точка зрения. Мы с ней столкнулись впервые в 2021 году. С другой стороны, есть настораживающая тенденция, с которой мы столкнулись в 2020 году. Если информация из разных источников, в том числе, из интернета, телевидения и так далее будет совпадать, она является правдивой… Вот здесь заложен очень мощный механизм будущей пропаганды. Если однотипная информация будет идти по всем каналам, что мы получаем, то уровень доверия к ней достаточно высокий*» (ж., доктор политических наук, исследователь российской молодежи).

Данная информация исключительно важна с точки зрения ответа на вопрос о возможностях и рисках манипуляции массовым политическим сознанием молодежи безотносительно склонности данной группы ставить политическую информацию под сомнение.

Выводы

Проведенное исследование подтверждает исключительную роль новых медиа в процессах формирования политического доверия на современном

этапе. Применительно к российской ситуации выбор информационно-коммуникативных стратегий оказывается критически важным для достижения определенного уровня политического доверия (Гришин, 2020).

В результате проведенного исследования удалось выявить и интерпретировать взаимосвязь между уровнем политического доверия у отдельных групп российской молодежи и использованием ими различных источников получения информации о политике. Возрастающая роль онлайн медиа в формировании политического доверия связана с появлением на их основе популярных среди молодежной аудитории новых типов лидеров общественного мнения. В то же время традиционные СМИ (периодические печатные издания, радио) не просто сдали свои позиции, но остались значимыми источниками политической информации лишь для узкого сегмента российской молодежи. Вопреки сформировавшемуся в конце 2011 – начале 2012 гг. мнению о безусловной принадлежности молодежи к «партии интернета» (Попова, Лагутин, 2019), около 40% российской молодежи продолжает ориентироваться на получение политических новостей из ТВ-каналов. Получена достоверная информация о дифференциации информационных политико-коммуникативных стратегий у различных социально-демографических и статусных групп поколений x и z. Отличительной особенностью проведенного исследования стало сопоставление результатов массового опроса молодежи и экспертного опроса для получения объемной информации о проблемах формирования политического доверия молодежи.

Результаты исследования вносят вклад в выявление у российской молодежи дефицита лидеров общественного мнения среди представителей официальной политической элиты. Наряду с вербальной демонстрацией институционального и персонального политического доверия, что субъективно для респондентов в ходе опроса может выступать аналогом подтверждения своего социально одобряемого поведения, в социальных сетях примерно четверть российской молодежи с интересом знакомится с точкой зрения умеренно или даже радикально критически настроенных блогеров. В то же время утверждать отсутствие лояльно настроенных групп молодежи только на том основании, что в ходе массового опроса в ответе на полузакрытый вопрос был назван ограниченный перечень российских блогеров-государственников, было бы методически неправильным. Нам в дальнейших исследованиях политической коммуникации российской молодежи предстоит решить очень сложный вопрос о поисках релевантных показателей авторитетности рассуждающих о политике в онлайн-пространстве тех или иных персон, поскольку даже кажущийся незыблемым и объективным в настоящее время показатель количества подписчиков и комментариев может в известной степени искажаться за счет определенной политики администраторов конкретных каналов, сайтов и ресурсов, а также вследствие активизации работы «фабрик троллей», ведения информационной войны на надгосудар-

ственном уровне и т.д. На наш взгляд, этот вопрос требует дальнейшей серьезной проработки.

Низкая степень готовности российской молодежи признавать в качестве авторитетов даже те персоны, которые обладают высокой популярностью в новых медиа, свидетельствует о глубинных изменениях процессов формирования политического сознания современного общества, росте скептических установок. При этом характерно, что данные тенденции демонстрируют нам наличие внутрипоколенческих расколов политических установок российской молодежи. Новые медиа в целом способствуют падению значимости институционализированных во власти лидеров общественного мнения.

Результаты эмпирического исследования подтверждают, что влияние распространения новых медиа на процессы формирования политического доверия в России может быть оценено как исключительно высокое. В отличие от данных, полученных в результате многих зарубежных исследований (Xu, Ye & Zhang, 2022), опрошенные нами российские эксперты видят в распространении новых медиа и новых каналов коммуникации почти исключительно негативные последствия для процессов формирования политического доверия.

Один из выводов заключается в том, что так называемая гибридная медиасистема (Chadwick, 2013) оказывает положительное, хотя и умеренное, влияние на институциональное доверие, особенно к политическим партиям и политикам в целом. Наше исследование выявляет некоторые ограничения концепта гибридной медиасистемы.

Результаты проведенного исследования обладают существенным практическим значением. Деятельность по построению политического доверия молодежи невозможна без учета применяемых информационно-коммуникативных стратегий и оценки эффектов новых медиа.

Благодарности

Исследование выполнено в Институте научной информации по общественным наукам РАН при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Экспертного института социальных исследований в рамках научного проекта N 122101100043-9 «Политическое доверие российской молодежи: механизмы формирования, состояние, тренды и риски».

Список литературы

Avery, J. M. (2009). Videomalaise or virtuous circle? The influence of the news media on political trust. *The International Journal of Press/Politics*, 14(4), 410–433. https://doi.org/10.1177/1940161209336224

Brosius, A., van Elsas, E. J., & de Vreese, C. H. (2019). How media shape political trust: News coverage of immigration and its effects on trust in the European Union. *European Union Politics*, 20(3), 447–467. https://doi.org/10.1177/1465116519841706

Camaj, L. (2014). Media use and political trust in an emerging democracy: Setting the institutional trust agenda in Kosovo. *International Journal of Communication*, 8, 23. https://doi.org/10.1080/15213269.2017.1338963

Ceron, A. (2015). Internet, news, and political trust: The difference between social media and online media outlets. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 20(5), 487–503. https://doi.org/10.1111/jcc4.12129

Chadwick, A. (2013). *The Hybrid Media System: Politics and Power*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199759477.001.0001

Chang, W. (2022). Media use, political trust and attitude toward direct democracy: Empirical evidence from Taiwan. *Online Information Review*, 46(4), 733–753. https://doi.org/10.1108/OIR-09-2019-0290

Chevalier, T. (2019). Political trust, young people and institutions in Europe. A multilevel analysis. *International Journal of Social Welfare*, 28(4), 418–430. https://doi.org/10.1111/ijsw.12380

Echeverría, M., & Mani, E. (2020). Effects of Traditional and Social Media on Political Trust. *Communication & Society*, 33(2), 119–135. https://doi.org/10.15581/003.33.2.119-135

Hetherington, M. J., & Husser, J. A. (2012). How trust matters: The changing political relevance of political trust. *American Journal of Political Science*, 56(2), 312–325. https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2011.00548.x

Koivula, A., Malinen, S., & Saarinen, A. (2021). The voice of distrust? The relationship between political trust, online political participation and voting. *Journal of Trust Research*, 11(1), 59–74. https://doi.org/10.1080/21515581.2022.2026781

Lu, J., Qi, L., & Yu, X. (2019). Political trust in the internet context: A comparative study in 36 countries. *Government Information Quarterly*, 36(4). https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.003

Moamenla, A. (2017). The Dynamics of Political Trust among Youth. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 7(8), 300–310. https://doi.org/10.5958/2249-7315.2017.00426.9

Moy, P., & Scheufele, D. (2000). Media Effects on Political and Social Trust. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 77(4), 744–759. https://doi.org/10.1177/107769900007700403

Schoon, I., & Cheng, H. (2011). Determinants of Political Trust: A Lifetime Learning Model. *Developmental Psychology*, 47(3), 619–631. https://doi.org/10.1037/a0021817

Schulz, W. (2014). Mediatization and New Media. In F. Esser & J. Stromback (Eds.), *Mediatization of Politics* (pp. 57–73). Palgrave MacMillan. https://doi.org/10.1057/9781137275844_4

Warren, A. M., Sulaiman, A., & Jaafar, N. I. (2014). Social media effects on fostering online civic engagement and building citizen trust and trust in institutions. *Government Information Quarterly*, 31(2), 291–301. https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.11.007

Wilkins, K. (2000). The role of media in public disengagement from political life. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 44(4), 569–580. https://doi.org/10.1207/s15506878jobem4404_3

Xu, P., Ye, Y., & Zhang, M. (2022). Exploring the effects of traditional media, social media, and foreign media on hierarchical levels of political trust in China. *Global Media and China*, 7(3), 357–377. https://doi.org/10.1177/20594364221115270

Гавра, Д. П. (2019). Понятие и характеристики коммуникационной стратегии. *Российская школа связей с общественностью*, 15, 65–78.

Гришин, Н. В. (2020). Государственная политика идентичности: Новая ставка в политической борьбе? *Вестник Томского университета. Серия: Философия. Социология. Политология*, 55, 231–239. https://doi.org/10.17223/1998863X/55/23

Козырева, П. М., & Смирнов, А. И. (2015). Политическое доверие в России: Некоторые особенности и проблема оптимальности. *Вестник Института социологии*, 1 (12), 79–99.

Назаров, М. М., Иванов, В. Н., & Кублицкая, Е. А. (2019). Медиа, институты и доверие российских граждан. *Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология*, 19(2), 277–288. https://doi.org/10.22363/2313-2272-2019-19-2-277-288

Попова, О. В. (2020). Потенциал политического протеста молодежи российских мегаполисов через призму анализа коммуникации в Вконтакте. *Южно-российский журнал социальных наук*, 21(4), 6–23. https://doi.org/10.31429/26190567-21-4-6-23

Попова, О. В., & Лагутин, О. В. (2019). Политические настроения молодежи: Лояльность или протест? *Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология*, 21(4), 599–619. https://doi.org/10.22363/2313-1438-2019-21-4-599-619

Шентякова, А. В., & Гришин, Н. В. (2021). Мобилизация политического протеста молодежи и российские видеоблогеры: Результаты когнитивного картирования. *Galactica Media: Journal of Media Studies*, 3 (2), 88–109. https://doi.org/10.46539/gmd.v3i2.155

References

Avery, J. M. (2009). Videomalaise or virtuous circle? The influence of the news media on political trust. *The International Journal of Press/Politics*, 14(4), 410–433. https://doi.org/10.1177/1940161209336224

Brosius, A., van Elsas, E. J., & de Vreese, C. H. (2019). How media shape political trust: News coverage of immigration and its effects on trust in the European Union. *European Union Politics*, 20(3), 447–467. https://doi.org/10.1177/1465116519841706

Camaj, L. (2014). Media use and political trust in an emerging democracy: Setting the institutional trust agenda in Kosovo. *International Journal of Communication*, 8, 23. https://doi.org/10.1080/15213269.2017.1338963

Ceron, A. (2015). Internet, news, and political trust: The difference between social media and online media outlets. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 20(5), 487–503. https://doi.org/10.1111/jcc4.12129

Chadwick, A. (2013). *The Hybrid Media System: Politics and Power*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199759477.001.0001

Chang, W. (2022). Media use, political trust and attitude toward direct democracy: Empirical evidence from Taiwan. *Online Information Review*, 46(4), 733–753. https://doi.org/10.1108/OIR-09-2019-0290

Chevalier, T. (2019). Political trust, young people and institutions in Europe. A multilevel analysis. *International Journal of Social Welfare*, 28(4), 418–430. https://doi.org/10.1111/ijsw.12380

Echeverría, M., & Mani, E. (2020). Effects of Traditional and Social Media on Political Trust. *Communication & Society*, 33(2), 119–135. https://doi.org/10.15581/003.33.2.119-135

Gavra, D. P. (2019). The concept and characteristics of communication strategy. *Russian School of Public Relations*, 15, 65–78. (In Russian).

Grishin, N. V. (2020). The State Identity Policy: A New Bet in the Political Struggle? *Bulletin of Tomsk University. Series: Philosophy. Sociology. Political Science*, 55, 231–239. https://doi.org/10.17223/1998863X/55/23 (In Russian).

Hetherington, M. J., & Husser, J. A. (2012). How trust matters: The changing political relevance of political trust. *American Journal of Political Science*, 56(2), 312–325. https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2011.00548.x

Koivula, A., Malinen, S., & Saarinen, A. (2021). The voice of distrust? The relationship between political trust, online political participation and voting. *Journal of Trust Research*, 11(1), 59–74. https://doi.org/10.1080/21515581.2022.2026781

Kozyreva, P. M., & Smirnov, A. I. (2015). Political trust in Russia: Some peculiarities and the optimality problem. *Bulletin of the Institute of Sociology*, 1 (12), 79–99. (In Russian).

Lu, J., Qi, L., & Yu, X. (2019). Political trust in the internet context: A comparative study in 36 countries. *Government Information Quarterly*, 36(4). https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.003

Moamenla, A. (2017). The Dynamics of Political Trust among Youth. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 7(8), 300–310. https://doi.org/10.5958/2249-7315.2017.00426.9

Moy, P., & Scheufele, D. (2000). Media Effects on Political and Social Trust. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 77(4), 744–759. https://doi.org/10.1177/107769900007700403

Nazarov, M. M., Ivanov, V. N., & Kublitskaya, E. A. (2019). Media, institutions, and trust of Russian citizens. *Bulletin of the Russian University of Friendship of Peoples. Series: Sociology*, 19(2), 277–288. https://doi.org/10.22363/2313-2272-2019-19-2-277-288 (In Russian).

Popova, O. V. (2020). Potential of Political Protest of Youth in Russian Megapolises through the Prism of Communication Analysis in Vkontakte. *South-Russian Journal of Social Sciences*, 21(4), 6–23. https://doi.org/10.31429/26190567-21-4-6-23 (In Russian).

Popova, O. V., & Lagutin, O. V. (2019). Political attitudes of youth: Loyalty or protest? *Bulletin of the Russian University of Friendship of Peoples. Series: Political Science*, 21(4), 599–619. https://doi.org/10.22363/2313-1438-2019-21-4-599-619 (In Russian).

Schoon, I., & Cheng, H. (2011). Determinants of Political Trust: A Lifetime Learning Model. *Developmental Psychology*, 47(3), 619–631. https://doi.org/10.1037/a0021817

Schulz, W. (2014). Mediatization and New Media. In F. Esser & J. Stromback (Eds.), *Mediatization of Politics* (pp. 57–73). Palgrave MacMillan. https://doi.org/10.1057/9781137275844_4

Shentyakova, A. V., & Grishin, N. V. (2021). The mobilization of youth political protest and Russian video bloggers: Results of cognitive mapping. *Galactica Media: Journal of Media Studies*, 3(2), 88–109. https://doi.org/10.46539/gmd.v3i2.155 (In Russian).

Warren, A. M., Sulaiman, A., & Jaafar, N. I. (2014). Social media effects on fostering online civic engagement and building citizen trust and trust in institutions. *Government Information Quarterly*, 31(2), 291–301. https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.11.007

Wilkins, K. (2000). The role of media in public disengagement from political life. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 44(4), 569–580. https://doi.org/10.1207/s15506878jobem4404_3

Xu, P., Ye, Y., & Zhang, M. (2022). Exploring the effects of traditional media, social media, and foreign media on hierarchical levels of political trust in China. *Global Media and China*, 7(3), 357–377. https://doi.org/10.1177/20594364221115270

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2023. No 3 | ISSN: 2658-7734
Новые медиа и коммуникации | https://doi.org/10.46539/gmd.v5i3.342

Media and Information Literacy of Young Students in the Post-Truth Era

Elena I. Salganova (a), Sergey S. Bredikhin (b) & Elizaveta V. Shchetinina (c)

(a) South Ural State University (National Research University). Chelyabinsk, Russia. Email: salganovaei[at]susu.ru

(b) Chelyabinsk Institute for the Development of Vocational Education; South Ural State University (National Research University). Chelyabinsk, Russia. Email: sergei189[at]mail.ru

(c) Chelyabinsk Institute of Professional Education Development; Chelyabinsk State University. Chelyabinsk, Russia. Email: schetininaev[at]ya.ru

Received: 9 November 2022 | Revised: 7 July 2023 | Accepted: 14 July 2023

Abstract

The article is devoted to the study of media and information literacy of young people studying in the contemporary period. The paper actualizes the problem of disseminating such information on the Internet, which is of negative nature. The authors believe that the legal regulation of spreading information on the Internet is possible taking into account the state of media and information literacy of citizens and the specifics of the functioning of information, which is characterized by a special state of society in the post-truth era. In present-day information environment, there is an appeal to emotions and beliefs. The purpose of the study is to identify the current state and problems of media and information literacy of students in the post–truth era. Based on the theoretical analysis and the results of the study, the authors determine the channels of obtaining information in the virtual space that are relevant to young people and the level of trust in them; the involvement of students in online communication in social networks and the presence of threat-recognition skills. The scientific novelty of the conducted research is to assess the current state and identify the problems of media and information literacy of students in the conditions of post–truth at the regional level. The results can be useful for identifying the risk groups among young students, developing methods for the safe use of digital content, and preventing the spread of destructive Internet practices among young people.

Keywords

Destructive Information; Destructive Practices; Internet; Media And Information Literacy; Students; Post-Truth; Digital Competencies; Digital Environment; Digital Technologies; Extremism

This work is licensed under a Creative Commons “Attribution” 4.0 International License

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2023. No 3 | ISSN: 2658-7734
New Media and Human Communication | https://doi.org/10.46539/gmd.v5i3.342

Медиа-информационная грамотность обучающейся молодежи в эпоху Постправды

Салганова Елена Ивановна (a), Бредихин Сергей Сергеевич (b), Щетинина Елизавета Витальевна (c)

(a) Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет). Челябинск, Россия. Email: salganovaei[at]susu.ru

(b) Челябинский институт развития профессионального образования; Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет). Челябинск, Россия. Email: sergei189[at]mail.ru

(c) Челябинский институт развития профессионального образования; Челябинский государственный университет. Челябинск, Россия. Email: schetininaev[at]ya.ru

Рукопись получена: 9 ноября 2022 | Пересмотрена: 7 июля 2023 | Принята: 14 июля 2023

Аннотация

Статья посвящена исследованию медиа-информационной грамотности обучающейся молодежи в современный период. В работе актуализируется проблема распространения в сети Интернет информации, которая носит негативный характер. Авторы считают, что правовое регулирование распространения информации в сети Интернет возможно с учетом состояния медиа–информационной грамотности граждан и специфики функционирования информации, для которой характерно особое состояние общества эпохи постправды. В современной информационной среде происходит апелляция к эмоциям и убеждениям. Цель исследования – выявление современного состояния и проблем медиа–информационной грамотности обучающихся в эпоху постправды. На основе теоретического анализа и результатов исследования авторы определяют актуальные у молодежи каналы получения информации в виртуальном пространстве и уровень доверия к ним; вовлеченность обучающихся в онлайн–коммуникацию в социальных сетях и наличие навыков распознавания угроз. Научная новизна проведённого исследования заключается в оценке современного состояния и выявлению проблем медиа–информационной грамотности обучающихся в условиях постправды на региональном уровне. Результаты могут быть полезны для определения групп риска среди обучающейся молодежи, разработке методов безопасного использования цифрового контента, профилактики распространения деструктивных интернет-практик среди молодежи.

Ключевые слова

деструктивная информация; деструктивные практики; Интернет; медиа–информационная грамотность; обучающиеся; постправда; цифровые компетенции; цифровая среда; цифровые технологии; экстремизм

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons “Attribution” («Атрибуция»)4.0 Всемирная

Введение

Для современного общества, развивающегося в эпоху глобализации и прогрессивных цифровых технологий, характерно активное использование информации в качестве продукта, созданного обществом во всемирной цифровой среде и позволяющего формировать информационные потоки в соответствии с интересами и потребностями ее потребителя. В то же время информационно-коммуникационные технологии оказывают негативное воздействие на различные социальные группы, прежде всего молодежь, способствуя возникновению и развитию деструктивных практик, пропагандируя деятельность экстремистских групп и сообществ. Связано это, прежде всего, с неуправляемостью информационных потоков, распространением недостоверной – фейковой информации, появлению возможности для молодежи самой принимать решение по выбору агентов социализации и коммуникации в информационном пространстве. Посредством Интернета различные экстремистские движения и группы распространяют свою идеологию и убеждения на сотни и тысячи молодых интернет–пользователей. Пользуясь несформированностью молодежного сознания, экстремисты под видом «обмена мнениями», обычного общения вербуют и увеличивают число новых сторонников своей деятельности, дезинформируют и существенным образом влияют на мировоззрение молодежи и ее поведение. В связи с этим проблемы профилактики и противодействия распространению заведомо недостоверной информации в сети Интернет на сегодняшний день являются актуальным теоретическим и практическим вопросом.

Обзор научной литературы показал, что основы медиа–информационной грамотности берут свое начало в концепциях информационного общества и цифровизации. Наиболее ранние подходы к содержанию и сущности информационного общества определены в трудах Д. Белла, З. Бзежинского, Дж. Гелбрейта, М. Кастельса, Г. М. Маклюэна, Е. Масуды, Э. Тоффлера и др. (Bell, 2001; Бжезинский, 2004; Гэлбрейт, 2004; Кастельс, 2000; Маклюэн, 2004; Masuda, 1983; Тоффлер, 2002). Еще в 80–90-е годы XX в. информационные сети и потоки играли ведущую роль в осмыслении общественных перемен (Кастельс, 2000). В XXI веке в социально-гуманитарных исследованиях появились новые научные направления, занимающиеся изучением изменений, происходящих под влиянием цифровых устройств и технологий. В западной социологической научной школе влияние на современного человека сети Интернет, социальных сетей и социальных медиа, вопросы кибербезопасности находятся в поле зрения А. Шау, Е. Бенклера, Н. Лумана, М. Маклюена и др. (Shaw & Benkler, 2012; Луман, 2005; Маклюэн, 2003). Среди современных российских исследователей проблемами цифровизации общества занимаются Е. Е. Елькина, Л. А. Василенко, М. З. Кременко, Е. П. Митрофанов, А. А. Морозова

и др. (Елькина, 2018; Василенко, 2014; Кременко, 2006; Митрофанов, 2007; Морозова & Арсентьева, 2022).

Особое внимание современными российскими учеными отводится изучению последствий феномена «информационного взрыва», который характеризует информационно-коммуникационную среду как достаточно сложный процесс, включающий всех участников, технологию и средства информационного взаимодействия (Шульц, Гребенюк & Ашманов, 2022; Курицын, Лемэр, Ашманов & Гребенюк, 2020; Войскунский, 2008; Заморский, 2013; Юдина & Захарова, 2016).

Кроме того, за последнее время вышло немало работ посвященных непосредственно проблемам функционирования информации в сети Интернет в новейших условиях: в частности, работы Р. Кейеса, Д. Гарсина, А. Бисваса, Б. Бисваса, Р. Пазири, А. Е. Бикбаева, П. А. Раменского, А. М. Сосновской, Г. Р. Хайдаровой и др. (Keyes, 2004; Harsin, 2015; Biswas & Pathiri, 2022; Бикбаев, 2020; Сосновская & Раменский, 2020; Хайдарова, 2018).

Проблемы деструктивной и экстремистской направленности цифровой среды, в том числе влияние Интернета на молодежь изучены в трудах Е. О. Кубякина, Ю. С. Панфиловой, И. В. Ксенофонтовой (Кубякин, 2010; Панфилова, 2014; Ксенофонтова, 2012).

О практической актуальности проблемы свидетельствует интерес к ней со стороны государственных структур на уровне законодательного регулирования. Так, 18 марта 2019 года Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал Федеральный закон от 18.03.2019 № 31–ФЗ «О внесении изменений в статью 15–3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»» («закон о фейк-ньюс»), в котором запрещено распространение «недостоверной общественно значимой информации. Под видом достоверных сообщений создаётся угроза причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционирования... объектов». Этим предусматривается обязанность сетевых изданий незамедлительно с момента получения уведомления государственных органов удалить недостоверную информацию. 4 марта 2022 года принят Федеральный закон № 32–ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», устанавливающий уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ, а также за публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии и действия государственных органов

за рубежом. В соответствии с указанными выше законами внесены соответствующие изменения в КоАП РФ[1] и УК РФ[2].

Вместе с тем попытки правового регулирования распространения информации в сети Интернет должны учитывать современное состояние медиа–информационной грамотности граждан и специфику функционирования информации в современных условиях, которые всё чаще характеризуются в качестве состояния общества эпохи постправды, для которого характерно особое отношение к истинности фактов, основанное на апелляции не к объективной действительности, а к эмоциям и убеждениям. Отметим, что термин «постправда» по версии Оксфордского словаря стал термином 2016 года. Он определяется как состояние общества, в котором общественные отношения, основанные на апелляции к личным убеждениям людей и их эмоциям, более действенны, чем ссылка на объективные факты[3]. При этом, как справедливо отмечает А. Е. Якимов, «По своему содержанию понятие «постправда», а точнее явление, характеризуемое данным термином, не является эксклюзивным для XXI века, хоть оно и возникло в научном и публицистическом дискурсе на волне различных политических событий в 2016 году. Еще в философии XX века, а в особенности в постструктуралистских теориях, проблема «отсутствия», а точнее, «подмены» истины становится своего рода лейтмотивом. «Постправда» отсылает нас к теории симулякров, предложенной Ж. Бодрийяром, «Обществу спектакля» Э. Ги Дебора, сингулярной субъективности Ж. Делеза, антифилософии А. Бадью и другим теориям» (Якимов, 2020).

И. В. Фотиева и Т. А. Семилет выделяют три основные группы причин формирования общественной ситуации постправды (Fotieva & Semilet, 2022, p. 61):

1. Субъективная группа: лживые политики и общественные деятели; расширение PR-активности; недостоверная реклама; партизанская журналистика и профессиональная журналистика, использующая пропаганду, слухи и мифы для привлечения внимания.

1 КоАП РФ Статья 13.15. Злоупотребление свободой массовой информации предусматривает штрафы для граждан от 30 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей. КоАП 20.3.3 предусматривает за действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за пределами территории РФ для граждан РФ штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

2 Согласно статье 207.3 УК РФ, если гражданин России под видом достоверной информации распространяет заведомо ложные сведения о действиях ВС РФ или работе госорганов РФ за пределами страны, ему грозит наказание от штрафа в 700 тыс. рублей до тюремного заключения на три года. При отягчающих обстоятельствах (например, искусственном создании улик или корыстных мотивах) наказание увеличивается: штраф до 3 млн рублей, лишение свободы - до 10 лет. Статья 280.3 УК РФ предусматривает ответственность за дискредитацию ВС РФ, статья 284.2 УК РФ устанавливает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет за призывы к введению санкций против России, граждан России или российских юридических лиц. За распространение фейков, повлекшее тяжкие последствия, предусматривается наказание в виде тюремного срока от 10 до 15 лет.

3 *Word of the Year* 2016. Retrieved from https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016

2. Технологическая группа: вездесущность Интернета, уравнявшего сообщения профессиональных коммуникаторов и людей, не связанных коммуникативной этикой и социальной ответственностью.
3. Идеологическая группа: реализация постмодернистских ценностей тотального релятивизма, уравнивание статусов правды и лжи.

Полагаем, что вопрос об однозначном отнесении феномена постправды к проявлениям постмодернизма является дискуссионным, так как данный феномен может быть соотнесен с другими феноменами, такими, как постирония, метамодерна (Ван ден Аккер, 2019).

Проведенный теоретический анализ позволяет добавить к указанной группе еще ряд факторов и оснований установления в обществе состояния постправды:

- снижение статуса общественной и научной экспертизы (Николс, 2019);
- невозможность проверить информацию в перенасыщенном потоке, в связи с отсутствием соответствующих компетенций, недостатком времени и объективных возможностей установления достоверных фактов;
- особенности распространения информации в сети Интернет (анонимность, троллинг и пр.).
- взаимное обвинение в использовании «фейк–ньюс» и манипуляций в общественно–политическом дискурсе;
- общее возрастание уровня необоснованной веры, кризис «критического разума», «бегство от разума» и «бегство от свободы», постмодернистский скептицизм, чувствительность, постирония.

При этом, согласно исследованию, опубликованному в 2018 году в журнале Science (изучено 3 миллиона репостов и 126 тысяч цепочек ретвитов), фейковые новости распространяются на 70% быстрее, чем настоящие (Vosoughi, Roy & Aral, 2018, p. 1146-1151). При этом наибольшему распространению подвержены новости, которые вызывают отвращение и ужас.

Среди механизмов функционирования информации в эпоху постправды могут быть указаны следующие:

1. Информационный «пузырь» – ажиотизация, эффекты «толпы» и «очереди».
2. Идеологическая эхо–камера – любые высказывания приводят не к дискуссиям, а к поддакиванию и поддержке единомышленников, «неотрайбализм».
3. Эффект Стрейзанд – «запрещенный фильм» как социальный феномен, выражающийся в том, что попытка изъять определённую информацию

из публичного доступа приводит лишь к её более широкой популяризации.

4. Эффект враждебных СМИ – индивид с ярко выраженной позицией по какому-либо вопросу склонен воспринимать нейтральное освещение этого вопроса в СМИ как предвзятое и поддерживающее мнение оппонента.
5. Эффект двухступенчатого потока информации – исследования показали, что СМИ являются малоэффективным средством убеждения на уровне одного человека, но при этом информация, проникающая в первичные группы, например, друзей или семьи, посредством межличностного общения способна воздействовать в более значительной мере на реципиента.
6. Сенсационализм – один из видов искажения фактов в медиа, который предполагает преувеличение значимости событий с целью создания предвзятого впечатления о них, что может стать причиной манипуляции правдой.

По нашему мнению в этих условиях актуализируются вопросы формирования медиа–информационной грамотности обучающейся молодежи, что должно способствовать снижению негативных эффектов эпохи постправды за счёт повышения уровня критического восприятия и навыков проверки достоверности информации.

Согласно исследованию ВЦИОМ, проведенному в 2021 г., 96% молодых людей в возрасте 18–24 года пользуются Интернетом, 74% делают это ежедневно. Интернет и социальные сети являются главными источниками информации для людей в возрасте от 18 до 34 лет[1]. При этом почти половина населения (46%) сомневается в своей способности распознать ложь и правду в информационных потоках. Еще столько же (46%) считают, что могут разобраться в этом, из них полностью уверены в этом только 9% (Волков, 2017, с. 125). Согласно исследованию Stanford History Education Group, молодежь, так же как и более взрослое население, с трудом отличает правду от вымысла в сети Интернет (Wineburg, McGrew, Breakstone & Ortega, 2016).

Цифровая среда оказывает существенное влияние на воспитание и социализацию подрастающего поколения. Как отмечают Л. Ю. Айснер и О. Д. Наумов, «современные агенты социализации существуют в нашей жизни в виде виртуальности и легко могут составлять конкуренцию «классическим» агентам, оказывая на индивида влияние во время процесса личностного становления» (Айснер & Наумов, 2020, с. 319-321). Цифровая среда выступает в настоящее время новым социальным институтом социализации, который активно воздействует на личность, социальную группу, общество в целом,

1 *Медиапотребление в России сегодня*. Опрос «ВЦИОМ-спутник». Retrieved from https://ok.wciom.ru/fileadmin/user_upload/2021_media.pdf

выполняя прагматическую, инструментальную, интеграционную функции. Немаловажную роль в цифровой среде выполняют социальные сети, как агенты социализации. По мнению Е. Н. Юдиной и С. А. Захаровой, сетевое взаимодействие становится важным фактором формирования новых общественных отношений, решения важных задач посредством сети и даже способствует образованию качественно~~го~~ нового уровня отношений (Юдина & Захарова, 2016, с. 254). Авторы в своем исследовании, опираясь на концепцию автопоэзиса Н. Лумана, определяют сетевое взаимодействие как взаимодействие индивидов в социальных сетях Интернета, исполняющих определенные социальные роли, которые постепенно кристаллизуются в постоянные социальные отношения. Для сетевого взаимодействия характерно регулярность, повторяемость, основанные на процессе обмена информацией и приводящие к образованию особой социальной общности. В социальных сетях Интернета возникает автопоэзийная, саморазвивающаяся и самопроизводящая система, которая зависит от передачи информации в процессе взаимодействия межу членами сети. Все это, безусловно, предопределяет актуальность исследований в данном направлении.

Цель нашего исследования состоит в оценке современного состояния, проблем медиа–информационной грамотности обучающихся для определения степени влияния информации, поступающей из различных источников, прежде всего Интернета. Для достижения поставленной цели были реализованы следующие задачи: рассмотрены теоретико-методологические подходы к формированию у обучающихся навыков медиа–информационной грамотности в цифровой среде в условиях постправды; выявлены наиболее актуальные у обучающейся молодежи каналы получения информации в виртуальном пространстве и уровень доверия к ним; определены степень вовлеченности обучающихся в онлайн–коммуникацию в социальных сетях и наличие навыков распознавания угроз; оценена эффективность реализации комплекса мер, направленных на повышение медиа–информационной грамотности, и степень вовлеченности обучающихся в профилактическую работу деструктивного воздействия цифровой среды. Научная новизна проведённого исследования заключается в оценке современного состояния и выявлению проблем медиа–информационной грамотности обучающихся в условиях постправды на региональном уровне.

Методы

Для реализации цели и задач исследования использован комплекс научных методов: сравнительный анализ, статистический анализ, социологические методы. Исследование проведено кафедрой социологии Института медиа и социально-гуманитарных наук Южно-Уральского государственного университета (национального исследовательского университета) и Научно-исследовательским центром мониторинга и профилактики деструк-

тивных проявлений в образовательной среде Челябинского института развития профессионального образования в марте–мае 2022 года в 43 муниципальных образованиях Челябинской области. На основе количественного метода по стандартизированной анкете опрошено 12 292 обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций (далее по тексту – ПОО) и 1 972 студента высших образовательных организаций г. Челябинска. По социально–демографическим характеристикам обучающихся общеобразовательных учреждений и ПОО опрошено 58,4% – девушек и 41,6% – юношей; возраст респондентов: 16–17 лет – 63,5%, 18–19 лет – 26,7%; 14–15 лет – 4,3%; 20–21 год – 3,6%; 22 года и старше – 1,9%.

Кроме того, в опросе приняли участие студенты трех вузов: Южно–Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (36,8%), Южно–Уральский государственный университет (31,0%) и Челябинский государственный университет (28,8%). Из общего числа опрошенных 93,0% студентов обучаются по программам бакалавриата, специалитета и 7,0% – магистратуры. Из общего числа опрошенных практически треть – студенты 2-го курса; каждый четвертый учится на 1–ом курсе; 17,2% – на 4–м курсе; 16,5% – на 3–м курсе, а 6,9% на 5–ом курсе. Из общего числа опрошенных 65,2% обучаются на бюджете, а более трети на контрактной основе. Практически каждый второй студент родом из Челябинска; более трети из Челябинской области, а 17,0% из других регионов. По социально–демографическим характеристикам из общего числа опрошенных 74,8% девушек, 25,2% юношей. 42,6% студентов в возрасте 19–20 лет; 30,1% – 21–22 года; 14,6% – 17–18 лет; 6,4% – 25 лет и старше, а 6,2% – 23–24 года.

Обработка социологической информации осуществлялась на программе IBM SPSS Statistics (версия 22.0) с использованием коэффициентов корреляции.

Результаты и обсуждение

В ходе анализа источников литературы авторами выявлено, что изменения, которые происходят в обществе в связи с наступлением эпохи постправды, в наибольшей мере сказываются на молодом поколении, которое интегрировано в цифровую среду (Дунас, Вартанов, Кульчицкая, Салихова & Толоконникова, 2020, с. 3-27).

Так, Л. Сандерс справедливо отмечает, что в эпоху, когда в мире доминируют пост-истина и фальшивые новости, серьезной проблемой является не поиск информации, а понимание того, как оценивать найденный контент и его источники, как создать и распространять в сети свой цифровой контент, как соблюдать нормы сетевого этикета (Saunders, 2018, p. 269-278).

Предположение о том, что в настоящее время цифровая среда является одним из ключевых институтов социализации современной молодежи, находит свое подтверждение и в результатах нашего исследования. Социальные сети занимают важное место в жизни современной обучающейся

молодежи. Молодежь им доверяет и активно использует цифровые платформы для получения информации, коммуникации, общения. Массовый опрос 2022 года, проведенный авторами среди обучающейся молодежи области, показал, что подавляющее большинство молодых людей ежедневно находится в социальных сетях (93,1% студентов и 90,1% обучающихся школ, ПОО). Наиболее популярными источниками информации для современной обучающейся молодежи являются социальные сети, мессенджеры, telegram–каналы и новостные Интернет-порталы, что обусловливает необходимость усиления контроля над цифровой средой, проведению мероприятий, направленных на выявление деструктивного контента, повышению медиа-информационной грамотности обучающихся. Молодые люди доверяют информации, которая публикуется в Интернете, на цифровых площадках они знакомятся с последними новостями в стране и мире, находят там всю необходимую для них информацию. Наибольшей популярностью среди современной молодежи пользуются такие платформы социальных сетей как «ВКонтакте», “Telegram”, “YouTube”, TikTok и др. Однако немало и тех, кто предпочитает запрещенные законодательством РФ платформы, признанные экстремистскими на территории нашей страны. Репрезентативное исследование, проведенное в 2022 году, показало, что у трети опрошенных студентов и обучающихся школ, средних профессиональных образовательных организаций “Instagram”[1] вызывает по-прежнему значимый интерес и является «излюбленным» местом для времяпровождения. Среди других источников в информационной среде студентами используются “ICQ”, “TeamSpeak”, “Wechat”, «Рутюб», «Мой мир», «Чат в сбербанке», “Pinterest”; среди обучающихся школ и ПОО – “Reddit”, “Kakao Tallk”, “Steam”, “Pinterest”, “Zenly”, “Tumblr”, «Пикабу», “Vlive”, “Wivers”, “Skype”.

Социальные сети челябинская молодежь чаще всего использует для коммуникации. Подавляющее большинство молодых людей посещают социальные сети, чтобы пообщаться с друзьями и однокурсниками (89,1% студентов и 85,4% обучающихся школ и ПОО). В то же время социальные сети играют важную роль и в информационном обеспечении молодежи. Так, на втором, третьем и четвертом местах среди целей посещения социальных сетей – получение последних новостей, поиск материалов по учебе / работе и в связи с увлечениями. Практически треть опрошенных в каждой группе обучающейся молодежи в социальных сетях читают ленту друзей или просто «убивают время».

Далеко не все проявляют себя в качестве производителей контента. Так, лишь каждый пятый респондент создает и публикует в социальных сетях собственный контент. Постоянно занимается стримингом лишь незначительная доля опрошенных – 2,2% студентов и 5,9% обучающихся. Не слишком велика и доля тех, кто создаёт и администрирует сообщества и группы в соци-

1 Деятельность Instagram в России признана экстремистской и запрещена законодательством РФ.

альных сетях: только каждый восьмой студент и обучающийся школ, ПОО области является администратором одного или нескольких сообществ (каналов). Кроме того, лишь каждый двадцатый студент и каждый двенадцатый обучающийся школы и ПОО планирует стать известным блогером в ближайшее время. Пятая часть студентов и более чем каждый четвертый обучающийся школы и ПОО думали об этом, но определенного намерения не имеют.

Выше интерес к ведению блогов, каналов, стримов у тех, кто имеет высокий уровень владения IT–технологиями (21,9%), обучающихся в возрасте 22 года и старше (21,8%). Развитие данного направления среди обучающейся молодежи во многом зависит от уровня цифровой грамотности подростка. Это подтверждается результатами проведенного корреляционного анализа. Планируют стать блогерами в ближайшее время относительно чаще обучающиеся в возрасте 22 года и старше (18,4%). Не планируют заниматься блогингом больше обучающиеся с низким уровнем знаний и навыков в области медиабезопасности в сети Интернет (60,9%), обучающиеся в возрасте 20-21 год (59,6%).

Очевидно, что киберсоциализация обучающихся может происходить как на уровне индивидуального овладения информационными навыками, так и через институциональные формы агентов киберсоциализации, таких, как образовательная организация и семья. В связи с этим в рамках исследования ставился вопрос о наличии в семьях обучающихся каких–либо форм общения относительно безопасного использования сети Интернет. Исследование показывает, что в более чем трети семей вопрос использования Интернета не обсуждается вообще. В каждой второй семье обучающихся школ и ПОО в принципе отсутствует какой–либо контроль со стороны родителей или других взрослых членов семьи относительно жизни подростков в сети Интернет. Только в каждой третьей семье родителями или близкими родственниками осуществляется какой–либо контроль над поведением своего ребенка в сети Интернет, еще реже такой контроль осуществляется в семьях студентов высших учебных заведений. При этом в большинстве случаев контроль минимален даже в семьях школьников, касаясь по большому счету только времени нахождения подростка в Интернете. Только 10,9% школьников и обучающихся ПОО указали, что родители контролируют их в части того, что публикуется и в каких группах состоит их ребенок. Несколько чаще это делают родители школьников, чем родители студентов (10,9% против 5,3% соответственно). Очевидно, причина подобного явления в отсутствии необходимых знаний и навыков в сфере медиабезопасности самих родителей. На это указывает сама молодежь. В связи с этим полагаем верной позицию с Г. Ш. Амерхановой, которая считает, что контроль и влияние со стороны семьи на подрастающее поколение очень важны, так как вопрос семейного воспитания, направленный на предотвращение Интернет–зависимости учащегося, особо актуален в наше время – время цифровизации (Амерханова, 2021, с. 63-66). Автор не без основания отмечает, что подростки не хотят и не умеют наполнять свое свободное

время смыслом и полезным занятием, и в результате взрослые получают рост проблем, связанных с детским алкоголизмом, наркоманией, преступностью, а также Интернет–зависимостью. Помимо проблем, обозначенных Г. Ш. Амерхановой, актуальными для подростков является определение достоверности информации, критическая оценка ее содержания, идентификации с экстремизмом. Согласно исследованию Ю. С. Панфиловой, в настоящее время в молодежной среде нет четкого понимания сущности экстремизма. Они не воспринимают его как угрозу или опасность. Среди них гораздо больше тех, кто равнодушен и отстранен от общественных проблем; занижен уровень правосознания и почти полностью отсутствует гражданская активность в борьбе с распространением экстремистских идей в Интернете (Панфилова, 2014, с. 103).

Безусловно, не может не волновать и то, что не уделяется должного внимания вопросам безопасного поведения и медиа-информационной грамотности в образовательных учреждениях. Около четверти обучающихся всех образовательных учреждений, в т.ч. высших учебных заведений области, в основном не проводят мероприятия, направленные на формирование компетенций медиа–информационной грамотности. В вузах этому вопросу уделяется заметно меньше внимания, чем в общеобразовательных учреждениях и ПОО. В настоящее время существенно возросла необходимость в мероприятиях, направленных на формирование соответствующих знаний и навыков, которые обезопасят подростков от недостоверной информации, в т. ч. деструктивной направленности, буллинга, кибербуллинга, агрессии, информации, которая обесценивает жизнь, способствует агрессии по отношению к другим людям, направлена на популяризацию, романтизацию экстремистских движений, организаций, криминальных структур в сети Интернет.

Заметно чаще от регулярного запугивания, травли с помощью цифровых технологий страдают обучающиеся из семей с низким уровнем жизни (20,7% обучающихся школ и ПОО), чем те, у кого средний или высокий уровень жизни (7,6% и 12,2% соответственно). Более подвержены кибербуллингу обучающиеся из стран Азии (азербайджанцы (29,7%), чеченцы (26,3%), узбеки (21,8%), киргизы (21,2%), китайцы (22,1%), таджики (20,0%)). Однако только 19,9% школьников, ПОО и 12,7% студентов высших учебных заведений указали, что с ними проводят мероприятия, направленные на формирование психологической безопасности (позитивного отношения к жизни, умения справляться с психологическими трудностями и др.) в виртуальном пространстве. Только 18,0% школьников, ПОО и 9,8% студентов высших учебных заведений области участвовали в мероприятиях, направленных на обсуждение проблем буллинга и кибербуллинга и способов их решения. Еще меньше доля респондентов в каждой группе обучающейся молодежи, с которыми проводили мероприятия, направленные на обсуждение опасности криминальных субкультур,

а также их пропаганду в виртуальном пространстве (17,0% и 8,8% соответственно).

Наиболее эффективными, по мнению обучающихся школ, студентов ПОО и вузов, являются индивидуальные консультации со специалистом, регулярные лекции и семинары с приглашенными спикерами из числа экспертов в этой области, создание и популяризация сообществ в социальных сетях и мессенджерах, горячие линии для получения консультаций. Проблемным остается вопрос по информированию подростков о наличии служб, возможности получения бесплатной психологической помощи, телефонов доверия, куда может обратиться подросток для получения квалифицированной помощи в ситуациях травли, издевательств, в том числе в цифровом пространстве. Опрос показал, что 65,3% студентов вузов и 54,9% обучающихся школ, ПОО не знают номера телефона доверия, бесплатной психологической помощи. Еще каждый второй школьник, обучающийся ПОО и чуть более трети студентов вузов не знают, куда обратиться в случае встречи в Интернете с деструктивным контентом.

Теоретико-методологический анализ формирования у обучающихся навыков медиа–информационной грамотности в цифровой среде, в том числе противодействия деструктивному контенту, фейковой информации в сети Интернет обосновывает актуальность и значимость данной проблемы для современного общества, развивающегося, в том числе, в сложных условиях постправды. Традиционные институты социализации и воспитания все чаще заменяются цифровыми, в роли агентов выступают социальные сети, мессенжеры и другие цифровые технологии. Усвоение современным подростком каких–либо норм, ценностей, моделей поведения происходит зачастую посредством виртуального сообщества, а не традиционным способом, через реальное окружение. В связи с этим, с одной стороны, актуализируется роль и значимость традиционных институтов воспитания и социализации молодежи, прежде всего семьи, образования, друзей, одноклассников. С другой, повышение медиа-информационной грамотности молодежи, в целях формирования у них навыков свободной и безопасной работы в цифровом пространстве, определению достоверной информации от фейков.

В настоящее время цифровая среда для многих молодых людей – это источник информации, технология и среда для коммуникации. Значимость и необходимость мероприятий по медиа-информационной грамотности обусловлена, в том числе, и ростом в последние годы на территории России и на Урале случаев, связанных с проявлениями скулшутинга, буллинга и кибербуллинга в образовательной среде, распространением среди молодежи случаев суицидального или около- суицидального поведения, формированию групп, негативно настроенных по отношению к власти и обществу в целом, не признающих общепринятых ценностей и норм. На необходимость проведения мероприятий, направленных на профилактику деструктивных угроз, в том числе в виртуальном пространстве, обращает сама молодежь.

Повышению уровня медиа-информационной грамотности среди молодежи, по нашему мнению, могут способствовать следующие меры:

- наличие достаточной технологической базы: широкополосный канал-интернет, постоянный доступ к мобильному компьютеру, инструментарий информационной среды, установленный в образовательной организации;
- наличие потребности у педагогов, преподавателей и установки администрации образовательной организации на действительную реализацию ФГОС, принятие локальных нормативных актов о работе коллектива образовательной организации в цифровой образовательной среде;
- начальное освоение педагогом базовой ИКТ-компетентности в системе повышения квалификации и самообразования с последующей экспертной оценкой его деятельности;
- регулярная информационно-методическая поддержка педагогов в процессе смешанного обучения, использования цифровых технологий в образовательном процессе;
- планирование образовательного процесса и его обеспечение средствами образовательных платформ, других цифровых технологий;
- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет образовательным платформам;
- сетевое взаимодействие педагогов и преподавателей в условиях единой цифровой образовательной среды, в результате приобретение ими опыта публичного представления педагогической деятельности в условиях цифровой образовательной среды;
- проведение мониторинговых исследований по оценке современного состояния, проблем и факторов, оказывающих влияние на цифровизацию в образовательном учреждении;
- разработка комплекса мер, направленных на повышение цифровой грамотности, и вовлеченности обучающихся в профилактическую работу в области противодействия деструктивному воздействию цифровой среды.

Благодарности

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда Конкурса «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами» (региональный конкурс) 22–18–20011 «Цифровая грамотность: междисциплинарное исследование (региональный аспект)».

Список литературы

Bell, D. (2001). *The Coming of Post-industrial Society. A Venture in Social Forecasting*. Basic Books.

Biswas, A., Patgiri, R., & Biswas, B. (Eds.). (2022). *Principles of Social Networking: The New Horizon and Emerging Challenges* (Vol. 246). Springer Singapore. http://doi.org/10.1007/978-981-16-3398-0

Fotieva, I. V. (2022). "Post-truth" in modern media: Socio-cultural and philosophical aspects. *International Journal of Humanities and Natural Sciences*, 1–3, 61–65.

Harsin, J. (2015). Regimes of Posttruth, Postpolitics, and Attention Economies. *Communication, Culture and Critique*, 8(2), 327–333. https://doi.org/10.1111/cccr.12097

Keyes, R. (2004). *Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life*. St. Martin's Press.

Masuda, Y. (1983). *The Information Society as Postindustrial Society*. World Future Soc.

Saunders, L. (2018). Information Literacy in Practice: Content and Delivery of Library Instruction Tutorials. *The Journal of Academic Librarianship*, 44(2), 269–278. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2017.12.022

Shaw, A., & Benkler, Y. (2012). A Tale of Two Blogospheres: Discursive Practices on the Left and Right. *American Behavioral Scientist*, 56(4), 459–487. https://doi.org/10.1177/0002764211433793

Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146–1151. https://doi.org/10.1126/science.aap9559

Wineburg, S. (2016). *Evaluating Information: The Cornerstone of Civic Online Reasoning*. Stanford Digital Repository. https://purl.stanford.edu/fv751yt5934

Word of the Year 2016. (2016). https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016

Айснер, Л. Ю., & Наумов, О. Д. (2020). Цифровая среда как социальное пространство. В Е. И. Сорокатая & В. Л. Бопп (Ред.), *Наука и образование: Опыт, проблемы, перспективы развития: Материалы международной научно-практической конференции. Красноярск. 21–23 апреля 2020 года* (сс. 319–321). Красноярский государственный аграрный университет.

Амерханова, Г. Ш. (2021). Возможности Интернета в эпоху цифровизации и его влияние на подрастающее поколение. В *Актуальные проблемы современной семьи: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Грозный. 29 апреля 2021 года* (сс. 63–66). Общество с ограниченной ответственностью «АЛЕФ».

Бжезинский, З. (2004). *Мировое господство. Или глобальное лидерство*. Международные отношения.

Бикбаев, А. И. (2020). Эпоха постправды в журналистике и ее роль в интерпретации фактов. *Международный журнал гуманитарных и естественных наук*, 5–1, 130–133. https://doi.org/10.24411/2500-1000-2020-10465

Ван ден Аккер, Р. (2019). *Метамодернизм. Историчность, Аффект и Глубина после постмодернизма*. Рипол Классик.

Василенко, Л. А., Ксенофонтова, И. В., Бикбаев, А. И., & Темиров, Т. Н. (2014). *Проблемы профессионального развития и кадровых процессов на государственной гражданской службе: Социологический анализ: Монография*. Буки Веди.

Войскунский, А. Е. (2008). От психологии компьютеризации к психологии Интернета. *Вестник Московского университета*, 14(2), 140–153.

Волков, Д. А., & Гончаров, С. В. (2017). Российский медиаландшафт: Основные тенденции использования СМИ. *Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии*, 1–2, 105–129.

Гэлбрейт, Дж. (2004). *Новое индустриальное общество*. Центр гуманитарных технологий.

Дунас, Д. В., Вартанов, С. А., Кульчицкая, Д. Ю., Салихова, Е. А., & Толоконникова, А. В. (2020). Мотивационные факторы медиапотребления российской «цифровой молодежи»: Результаты пилотного исследования. *Вестник Московского университета*, 10(Журналистика), 2-3–27. https://doi.org/10.30547/vestnik.journ.2.2020.327

Елькина, Е. Е. (2018). Цифровая культура как область междисциплинарных исследований: Методологические подходы и тенденции развития. *International Journal of Open Information Technologies*, 12, 60–78.

Заморский, В. В. (2013). Роль социальных сетей в ценностных трансформациях молодежи. *Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики*, 5–2, 60–63.

Кастельс, М. (2000). *Информационная эпоха: Экономика. Общество и культура*. ГУ–ВШЭ.

Кременко, М. З. (2006). К проблеме информатизации общества в XXI веке. *Вестник Адыгейского государственного университета*, 1, 235–237.

Ксенофонтова, И. В. (2012). Роль Интернета в развитии протестного движения. *Мониторинг общественного мнения*, 3, 114–116.

Кубякин, Е. О. (2010). Молодежный экстремизм в условиях глобализационных трансформаций российского общества. *Теория и практика общественного развития*, 3, 96–98.

Курицын, А. Н., Лемэр, Л. Г., Ашманов, И. С., & Гребенюк, А. А. (2020). *Великая Отечественная война. Фальсификация истории. Манипуляции в социальных медиа*. Крибрум. https://doi.org/10.18334/9785912923296

Луман, Н. (2005). *Реальность массмедиа*. Праксис.

Маклюэн, Г. М. (2003). *Понимание Медиа: Внешние расширения человека*. «КАНОН-пресс-Ц».

Маклюэн, Г. М. (2004). *Галактика Гутенберга: Становление человека печатающего*. Ника–Центр.

Медиапотребление в России сегодня. Опрос «ВЦИОМ-спутник». (б. д.). https://ok.wciom.ru/fileadmin/user_upload/2021_media.pdf

Митрофанов, Е. П. (2007). Процесс информатизации общества. *Вестник* ЧГУ, 4.

Морозова, А. А., & Арсентьева, А. Д. (2022). Проблемы и перспективы использования искусственного интеллекта в сфере массмедиа: Мнение Российской аудитории. *Знак: проблемное поле медиаобразования*, 2, 150–158.

Николс, Т. (2019). *Смерть экспертизы. Как интернет убивает научные знания*. Эксмо.

Панфилова, Ю. С. (2014). Экстремизм в виртуальной среде как социальная проблема: Отражение в сознании молодежи. *Альманах современной науки и образования*, 9, 101–104.

Сосновская, А. М., & Раменский, П. А. (2020). Постправда и фейковые новости: Генезис и последствия. *Научные труды Северо-Западного института управления РАНХиГС*, 11(3), 77–82.

Тоффлер, Э. (2002). *Шок будущего*. ООО «Издательство АСТ».

Хайдарова, Г. Р. (2018). О необходимости медианалитики в ситуации постправды. В *Гуманитарный аспект современного военного образования: Коллективная монография* (сс. 43-54). ООО «Издательство ВВМ».

Шульц, В. Л., Гребенюк, А. А., & Ашманов, И. С. (2022). Теоретико-методологические проблемы цифровой социологии. *Вестник Московского университета*, 18(Социология и политология), 28–1. https://doi.org/10.24290/1029-3736-2022-28-1-126-144

Юдина, Е. Н., & Захарова, С. А. (2016). Социальные сети Интернета в контексте теории автопоэзиса Н. Лумана. *Вестник ГУУ*, 10, 254–260.

Якимов, А. Е. (2020). Постправда и повседневность. К проблеме определения понятия «постправда». *Философия и культура*, 9, 1–8. https://doi.org/10.7256/2454-0757.2020.9.33801

References

Aisner, L. Yu., & Naumov, O. D. (2020). Digital Environment as a Social Space. In E. I. Sorokataya & V. L. Bopp (Eds.), *Science and Education: Experience, Problems, Prospects of Development: Proceedings of the International Scientific-Practical Conference. Krasnoyarsk. April 21-23, 2020* (pp. 319–321). Krasnoyarsk State Agrarian University. (In Russian).

Amerkhanova, G. Sh. (2021). Internet Opportunities in the Digitalization Era and Its Influence on the Younger Generation. In *Current Problems of the Modern Family: Proceedings of the All-Russian Scientific-Practical Conference with International Participation. Grozny. April 29, 2021* (pp. 63–66). Limited Liability Company 'ALEF'. (In Russian).

Bell, D. (2001). *The Coming of Post-industrial Society. A Venture in Social Forecasting*. Basic Books.

Bikbaev, A. I. (2020). Era of Post-Truth in Journalism and Its Role in Fact Interpretation. *International Journal of Humanities and Natural Sciences*, 5–1, 130–133. https://doi.org/10.24411/2500-1000-2020-10465 (In Russian).

Biswas, A., Patgiri, R., & Biswas, B. (Eds.). (2022). *Principles of Social Networking: The New Horizon and Emerging Challenges* (Vol. 246). Springer Singapore. http://doi.org/10.1007/978-981-16-3398-0

Brzezinski, Z. (2004). *World Domination or Global Leadership*. International Relations. (In Russian).

Castells, M. (2000). *The Information Age: Economy, Society, and Culture*. HSE Publishing House. (In Russian).

Dunas, D. V., Vartanov, S. A., Kulchitskaya, D. Yu., Salikhova, E. A., & Tolokonnokova, A. V. (2020). Motivational Factors of Media Consumption by Russian 'Digital Youth': Results of a Pilot Study. *Moscow University Herald*, 10(Journalism), 2-3–27. https://doi.org/10.30547/vestnik.journ.2.2020.327 (In Russian).

Fotieva, I. V. (2022). "Post-truth" in modern media: Socio-cultural and philosophical aspects. *International Journal of Humanities and Natural Sciences*, 1–3, 61–65.

Galbraith, J. (2004). *The New Industrial Society*. Center for Humanitarian Technologies. (In Russian).

Harsin, J. (2015). Regimes of Posttruth, Postpolitics, and Attention Economies. *Communication, Culture and Critique*, 8(2), 327–333. https://doi.org/10.1111/cccr.12097

Keyes, R. (2004). *Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life*. St. Martin's Press.

Khaidarova, G. R. (2018). On the Necessity of Media Analysis in the Post-Truth Situation. In *Humanitarian Aspect of Modern Military Education: Collective Monograph* (pp. 43–54). VVM Publishers. (In Russian).

Kremenko, M. Z. (2006). On the Issue of Society Informatization in the 21st Century. *Bulletin of Adyghe State University*, 1, 235–237. (In Russian).

Ksenofontova, I. V. (2012). The Role of the Internet in the Development of Protest Movements. *Public Opinion Monitoring*, 3, 114–116. (In Russian).

Kubyakin, E. O. (2010). Youth Extremism in the Context of Global Transformations of Russian Society. *Theory and Practice of Social Development*, 3, 96–98. (In Russian).

Kuritsyn, A. N., Lemér, L. G., Ashmanov, I. S., & Grebenyuk, A. A. (2020). *The Great Patriotic War: History Falsification. Manipulations in Social Media*. Kribum. https://doi.org/10.18334/9785912923296 (In Russian).

Luhmann, N. (2005). *Media Reality*. Praxis. (In Russian).

Masuda, Y. (1983). *The Information Society as Postindustrial Society*. World Future Soc.

McLuhan, H. M. (2003). *Understanding Media: The Extensions of Man*. CANON-press-C. (In Russian).

McLuhan, H. M. (2004). *The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man*. Nika-Center. (In Russian).

Media Consumption in Russia Today. 'VTsIOM-Sputnik' Survey. (n.d.). https://ok.wciom.ru/fileadmin/user_upload/2021_media.pdf (In Russian).

Mitrofanov, E. P. (2007). The Process of Society Informatization. *Chelyabinsk State University Bulletin*, 4. (In Russian).

Morozova, A. A., & Arsentieva, A. D. (2022). Problems and Prospects of Using Artificial Intelligence in the Media Sphere: Opinion of the Russian Audience. *Sign: Problem Field of Media Education*, 2, 150–158. (In Russian).

Nichols, T. (2019). *The Death of Expertise: The Campaign Against Established Knowledge and Why it Matters*. Eksmo. (In Russian).

Panfilova, Y. S. (2014). Online Extremism as a Social Problem: Reflection in Youth Consciousness. *Almanac of Modern Science and Education*, 9, 101–104. (In Russian).

Saunders, L. (2018). Information Literacy in Practice: Content and Delivery of Library Instruction Tutorials. *The Journal of Academic Librarianship*, 44(2), 269–278. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2017.12.022

Schultz, V. L., Grebenyuk, A. A., & Ashmanov, I. S. (2022). Theoretical and Methodological Problems of Digital Sociology. *Moscow University Herald*, 18(Sociology and Political Science), 28–1. https://doi.org/10.24290/1029-3736-2022-28-1-126-144 (In Russian).

Shaw, A., & Benkler, Y. (2012). A Tale of Two Blogospheres: Discursive Practices on the Left and Right. *American Behavioral Scientist*, 56(4), 459–487. https://doi.org/10.1177/0002764211433793

Sosnovskaya, A. M., & Ramensky, P. A. (2020). Post-Truth and Fake News: Genesis and Consequences. *Scientific Works of the Northwest Institute of Management of RANEPA*, 11(3), 77–82. (In Russian).

Toffler, A. (2002). *Future Shock*. AST Publishers. (In Russian).

Van den Akker, R. (2019). *Metamodernism: Historicism, Affect, and Depth after Postmodernism*. Ripol Classic. (In Russian).

Vasilenko, L. A., Ksenofontova, I. V., Bikbaev, A. I., & Temirov, T. N. (2014). *Problems of Professional Development and Personnel Processes in Civil Service: Sociological Analysis: Monograph*. Buki Vedi. (In Russian).

Volkov, D. A., & Goncharov, S. V. (2017). Russian Media Landscape: Key Trends in Media Usage. *Public Opinion Bulletin: Data. Analysis. Discussions*, 1–2, 105–129. (In Russian).

Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146–1151. https://doi.org/10.1126/science.aap9559

Voyskunsky, A. E. (2008). From the Psychology of Computerization to the Psychology of the Internet. *Moscow University Herald*, 14(2), 140–153. (In Russian).

Wineburg, S. (2016). *Evaluating Information: The Cornerstone of Civic Online Reasoning*. Stanford Digital Repository. https://purl.stanford.edu/fv751yt5934

Word of the Year 2016. (2016). https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016

Yakimov, A. E. (2020). Post-Truth and Everyday Life: Defining the Concept of 'Post-Truth'. *Philosophy and Culture*, 9, 1–8. https://doi.org/10.7256/2454-0757.2020.9.33801 (In Russian).

Yelkina, E. E. (2018). Digital Culture as a Field of Interdisciplinary Studies: Methodological Approaches and Development Trends. *International Journal of Open Information Technologies*, 12, 60–78. (In Russian).

Yudina, E. N., & Zakharova, S. A. (2016). Social Networks of the Internet in the Context of Niklas Luhmann's Autopoiesis Theory. *Bulletin of the PSU*, 10, 254–260. (In Russian).

Zamorsky, V. V. (2013). The Role of Social Networks in Value Transformations of Youth. *Historical, Philosophical, Political, and Legal Sciences, Cultural Studies and Art History. Issues of Theory and Practice*, 5–2, 60–63. (In Russian).

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2023. No 3 | ISSN: 2658-7734
New Media and Human Communication | https://doi.org/10.46539/gmd.v5i3.378

How Media Create Ghosts: Paranormal Experiences in the Cultural Space of Modern Russia

Lejonis Aanris van Haaske

Moscow Polytechnical University. Moscow, Russia. Email: mail[at]vanhaaske.ru

Received: 1 March 2023 | Revised: 22 June 2023 | Accepted: 30 June 2023

Abstract

The subject of the article is the representation of ideas about the paranormal in the media. This issue is often brought up by psychologists, who directly point to the leading role of the media in the formation of such representations in present-day time. The author points out the kinship of research in the field of "paranormal psychology" with the studies of induced phenomena by Vladimir Bekhterev, who directly pointed out the role of mass media in the formation of induced ideas. The empirical part of the work consists in the analysis of a sample of media reports on the presence of ghosts, catalogued by the author. The main research question is how the features of the localization of the ghost phenomenon stated in the media can provoke its representation. The author concludes that the media are not only conductors of paranormal ideas, as noted by other researchers, but also partially demonstrate the causal relationships underlying the formation of paranormal ideas. The author underlines the close connection between a particular location, its history and the very report of paranormal phenomena in it. The author identifies the main descriptive techniques of the media associated with paranormal ideas, as well as shows the specifics of their distribution in the media environment. In fact, the article is intended to fill a kind of "information vacuum", which has formed in the studies of ideas about the paranormal both in the Russian and foreign scientific environment, which makes this study very relevant.

Keywords

Paranormal; Ghost; Media Psychology; Formation of Cultural Objects in Media; Cognitive Distortions; Cultural Memory; Perception of Environmental Objects; Suggestible States

This work is licensed under a Creative Commons "Attribution" 4.0 International License

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2023. No 3 | ISSN: 2658-7734
Новые медиа и коммуникации | https://doi.org/10.46539/gmd.v5i3.378

Как медиа создают призраков: паранормальные переживания в культурном пространстве современной России

ван Хааске Лейонис Аанрис

Московский политехнический университет. Россия, Москва. Email: mail[at]vanhaaske.ru

Рукопись получена: 1 марта 2023| Пересмотрена: 22 июня 2023 | Принята: 30 июня 2023

Аннотация

Предметом рассмотрения в статье является репрезентация в медиасреде представлений о паранормальном. Этот вопрос нередко оказывается в поле внимания зарубежных психологов, прямо указывающих на ведущую роль медиа в формировании таких представлений в современности. Автор демонстрирует родство исследований в области «паранормальной психологии» с исследованиями индуцированных феноменов В. М. Бехтерева. Эмпирическая часть работы заключается в анализе созданной автором выборки из сообщений СМИ о присутствии призраков. Основным исследовательским вопросом является вопрос о том, как заявляемые в медиа особенности локализации призрачного феномена могут провоцировать его представление. Автор приходит к выводу, что СМИ не только являются проводниками паранормальных идей, на что указывали зарубежные исследователи, но и отчасти демонстрируют причинно-следственные связи, лежащие в формировании паранормальных идей. Автор отмечает тесную связь между конкретной локацией, ее историей и самим сообщением о паранормальных явлениях в ней. Автор выявляет основные описательные приемы СМИ, связанные с паранормальными идеями, а также показывает специфику их распространения в медиасреде. Фактически статья призвана заполнить своеобразный «информационный вакуум», сложившийся в исследованиях представлений о паранормальном как в российской, так и в зарубежной научной среде, что делает данное исследование весьма актуальным.

Ключевые слова

паранормальное; призрак; психология медиа; формирование культурных объектов в медиа; когнитивные искажения; культурная память; восприятие объектов окружающей среды; внушенные состояния

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons “Attribution” («Атрибуция»)4.0 Всемирная

Введение

Вера в паранормальные явления и связанные с ними идеи традиционно имеет в некоторой степени маргинальный характер, и в силу этого нечасто привлекает к себе внимание российских ученых. Однако исследования зарубежных специалистов показывают, что веру в такую паранормальную идею, как существование призраков, разделяет от 30 процентов (French & Stone, 2013, p. 3, Irwin, 2009, p. 2-3) до 50 процентов (Baker & Bader, 2014, p. 580) американцев. Для России нами не были обнаружены подобные исследования, но мы можем предположить, что расхождения в данных могут быть незначительными. Такая распространенность, по нашему мнению, может обосновать важность исследования принимаемых взглядов на паранормальное с самых разнообразных позиций – в том числе и в отношении механизмов их формирования и распространения. В данной статье мы предпочтем сузить круг рассматриваемых нами паранормальных проблем до феномена призраков. Такое сужение обусловлено тем, что, по данным специалистов (Baker & Bader, 2014; French & Stone, 2013; Irwin, 2009), феномен веры в призраков является наиболее распространенным среди паранормальных идей.

Основной фокус данной статьи будет сосредоточен на механизмах формирования идеи призрака как части паранормальных убеждений. Мы предполагаем, что возможность формирования паранормальной идеи тесно связана со спецификой среды, которой приписывают наличие паранормальных явлений. Такой подход оправдывается, например, работой М. Бэлла (Bell, 1997), предлагавшего рассматривать призрак как элемент восприятия человеком конкретной локации. Он отмечал (Bell, 1997, p. 815), что призрак как феномен социального сознания существует не сам по себе и не в форме абстрактной идеи — он является частью социального представления о том месте, где его наблюдают. Развитие этой идеи мы можем видеть в монографии Э. Гордона (Gordon, 1997), который отмечал, что призрак – это не мертвый человек, а социальная фигура, и исследование призрака может привести к раскрытию того, как история и субъективность создают социальную жизнь (Gordon, 1997). Таким образом, мы можем сказать, что проблема, вокруг которой строится наше исследование – проблема субъективности в восприятии, отражающейся в представлениях о паранормальном.

Теоретические основания и постановка проблемы исследования

Выше мы отметили, что в российской научной традиции проблема паранормальных представлений вообще и призрачных феноменов в частности практически не затрагивается. Однако в зарубежной психологии этому вопросу уделяется определенное внимание. Среди крупнейших работ мы

можем отметить коллективную монографию “Varieties of anomalous experience: Examining the scientific evidence” («Многообразие аномального опыта: изучение научных данных»), изданную Американской Психологической Ассоциацией (Cardeña, Lynn, & Krippner, 2000), и более поздние монографии Г. Ирвина (Irwin, 2009), К. Френча и А. Стоуна (French & Stone, 2013), посвященные комплексному освещению подходов к паранормальной проблематике, а также целый ряд адресных исследований. Все эти исследователи отмечали, что феномен паранормальных переживаний включает в себя две взаимосвязанных проблемы: проблему нейропсихологических особенностей этих переживаний и проблему социокультурной индоктринированности, лежащей в основе этих переживаний и формирующей образы, в которых такие переживания проявляются. Так, например, Г. Ирвин приводит обширный обзор исследований, посвященных выявлению корреляций между различными психическими патологиями и распространенностью веры в паранормальное (как в целом, так и в отдельные феномены), но при этом отмечает, что существует определенный дефицит исследований, рассматривающих именно культурно-исторические основания подобных идей (Irwin, 2009, p. 23). Аналогична позиция К. Френча и А. Стоуна, отмечавших недостаточную исследовательскую активность именно в вопросе формирования своеобразного «образно-символического ядра», лежащего в основе паранормальных идей (French & Stone, 2013, pp. 163, 165).

Исследования в области экспериментальной психологии показывают два важнейших аспекта. Во-первых, в них находит подтверждение высказанная нами выше идея того, что возможность восприятия призрачного феномена тесно связана с конкретной локацией. Во-вторых, исследования демонстрируют зависимость восприятия призрачного феномена от информации, связанной с конкретной локацией. Так, Р. Ланге (Lange) и Дж. Хауран (Houran) приводят данные эксперимента, в котором группа из 22 человек посетила несколько локаций. Половине участников эксперимента сообщили, что в местах, где они находились, присутствуют призраки. Другой половине сообщили о длительном ремонте здания. Результаты эксперимента показали, что те, кому сообщили о том, что в зданиях присутствуют призраки, оказались склонны сообщать о паранормальных переживаниях во время посещения этих зданий (Lange & Houran, 1997). Близкие результаты продемонстрировали и два эксперимента, проведенные Р. Вайсманом (Wiseman & Watt et al, 2003).

Интересные параллели с этими данными мы можем увидеть и у В. М. Бехтерева. В его работе «Внушение и его роль в общественной жизни» описаны два случая, которые исключительно близки к объекту нашего внимания: это случай с видениями Серафима Саровского в колодце (Бехтерев, 1908, с. 51) и «черной женщиной» Габсбургского дома (Бехтерев, 1908, с. 55). Если первый случай с трудом может быть трактован как призрачный феномен, то второй непосредственно попадает под классические описания подобных явлений. Более того, В. М. Бехтерев делает исключительно важное замечание, подчеркивающее актуальность нашего исследования. По его мнению, крити-

чески значимыми факторами для развития внушенного состояния и связанных с ним феноменов являются как состояние и особенности лица, воспринимающего информацию, так и сама информация, провоцирующая внушенное состояние, в том числе и ее историко-культурный контекст (Бехтерев, 1908, с. 10).

Таким образом, мы можем выдвинуть предположение о том, что представление паранормальных идей в форме призрачных феноменов является в определенной степени индуцированным. Исследования приводят нас к выводу о том, что на появление сообщения о присутствии призрака в каком-либо месте одновременно влияет несколько факторов:

1. Присутствие в сознании воспринимающего идеи существования призраков, наличие специфической «психологической готовности» (Irwin, 2009, p. 11-12).
2. Наличие информации о том, что в конкретном месте может существовать призрак.
3. Сама специфика места, выступающего в качестве места локализации феномена.

Если вопрос о специфике и особенностях психологической готовности к восприятию подобных феноменов уже неоднократно становился предметом внимания исследователей (Baker, 1996; Irwin, 2009; French & Stone, 2013; Klemperer, 1992; Leudar & Thomas, 2005; Marks, 1988; McCorristine, 2010), то вопросы о том, как влияет на формирование этого когнитивного феномена собственно информационная обеспеченность и особенности конкретной локации (то есть фактор среды) – остаются в большей степени гипотезами. Именно на них мы сосредоточимся в дальнейшем.

Мы можем принять как факт, что призрачные феномены являются следствием своеобразного «коллективного соглашения», присутствующей в общественном сознании идеи о том, что такие феномены в принципе допустимы. Эта идея является одной из стартовых позиций для В. М. Бехтерева (Бехтерев 1908, с. 7, 10); ее же отмечают уже в контексте паранормального Г. Ирвин (Irwin, 2009, p. 9), К. Френч (French & Stone, 2013, p. 163) и Д. Маркс (Marks, 1988, p. 337). Однако, если в случаях, описанных В. М. Бехтеревым (Бехтерев, 1908, с. 51, 55), можно говорить о формировании такого «соглашения» при очном контакте (то есть посредством прямой индукции, выражаясь его же терминологией), что особенно ярко показывают примеры с видениями Серафима Саровского или религиозными видениями во время исторических сражений (Бехтерев, 1908, с. 49), то что может стать основанием для подобного «информационного соглашения» сейчас?

Мы можем признать, что современный мир обладает намного более насыщенными и многообразными каналами передачи информации – и мы можем допустить, что именно эти каналы информации и становятся основанием для подобного «коллективного соглашения».

Еще в 1940-х годах американские фольклористы (Hankey, 1942; Jones, 1944) отмечали существенно возросшее количество сообщений о призраках в связи с повышением интереса СМИ к этой проблематике. Позднейшие исследования уже с позиции психологии лишь подтверждают это (Bartholomew, 2001; French & Stone, 2013; Irwin, 2009; Preece & Baxter, 2000, Sperber, 1990), обращая внимание не только на деятельность СМИ, но и на влияние сети Интернет. Таким образом, мы видим, что для современности ключевым агентом влияния в случае с паранормальными убеждениями являются медиа. И это подводит нас к основной исследовательской проблеме нашего исследования: если медиа формируют «коллективное согласие» вокруг паранормальных убеждений, – как они обусловливают присутствие призрачных феноменов в окружающей действительности? Или, точнее – вокруг каких локаций медиа формируют «призрачный дискурс»?

Таким образом, задачей данной статьи становится выявление распространенности призрачных феноменов в зависимости от свойств мест локализации этих феноменов.

Безусловно, этот вопрос не является исчерпывающим, и в данном контексте может представлять интерес также возможная культурно-историческая связь, формируемая между призрачным феноменом и локацией. В силу объема материалов по этому вопросу мы вынуждены опустить его в работе и рассмотреть в отдельных адресных публикациях.

Методика исследования

Для исследования особенностей распространения представлений о паранормальном и сверхъестественном в форме идеи призрака нами было принято решение обратиться к данным, предлагаемым СМИ. Нами была сформирована выборка сообщений СМИ, которая в общей сложности насчитывает 564 единицы. Она была получена методикой контекстного поиска по материалам СМИ, представленным в сети Интернет. Включенные в выборку сообщения и первичные аналитические данные размещены в открытом репозитории OSF[1].

Отобранные нами сообщения относятся к 2000–2021 годам. Хронологическое ограничение обусловлено самой спецификой источников – материалы более раннего периода практически не представлены в сети Интернет в качестве самостоятельных информационных единиц. Территориальное ограничение для отбираемых источников – Российская Федерация.

Дальнейшая обработка выборки осуществлялась при помощи методики контент-анализа данных СМИ, подробно описанной М. М. Назаровым (Назаров, 2004, с. 217). В ходе обработки сообщения были сгруппированы по принципам локализации описываемого феномена и особенностей проявлений, согласно задачам, установленным для данного исследования.

1 Материалы доступны по следующей ссылке: https://doi.org/10.17605/OSF.IO/J68FT

Необходимо отметить, что схожая с нашей методика работы в области исследования паранормальных феноменов уже практиковалась зарубежными специалистами – например, в работах Б. Эллис (Ellis, 2001; Ellis, 2014), однако применялась она без опоры на широкую выборку, источниками для анализа были отдельные тематические кейсы.

Отталкиваясь от всех приведенных позиций, мы можем считать источниковую базу репрезентативной для целей исследования, а выборку – полноценной и удовлетворяющей задачам исследования.

Вопрос о трактовке сообщений СМИ мы предпочтем решать по принципу прямого рассмотрения сообщения как условной фактической данности. Отталкиваясь от позиции М. М. Назарова, по мнению которого, в подобных источниках «смысл сообщения относительно просто может быть восстановлен из него самого» (Назаров, 2004, с. 218), в данном исследовании мы принимаем сообщение о призраке в качестве конкретного социального факта и допускаем его трактовку исключительно в рамках данных, заявленных в самом сообщении. Таким образом, составляющие нашу выборку материалы СМИ мы считаем сообщениями о присутствии в определенной локации воспринимаемого призрачного феномена. Этот подход уже применялся в собственно психологических исследованиях: например, в методике анализа функционального содержания слухов и городских легенд, предложенной Б. Герином и Й. Миязаки (Guerin & Miyazaki, 2006).

Эмпирические данные исследования и их трактовка

Первое, что мы можем отметить при рассмотрении нашей выборки – распределение призрачных феноменов по двум локализациям: городской (очень выраженное) и сельской местности. Данные по распределению приведены ниже в таблице 1.

Локализация	Количество	Процент
Городская местность	411	73
Сельская местность	153	27
Всего	564	100

Таблица 1. Распределение призрачных феноменов по основным локализациям

Table 1. Distribution of Phantom Phenomena Across Primary Localizations

Существенный количественный перевес в пользу городской местности мы предлагаем объяснить тремя факторами.

1. Городская среда является в наибольшей степени вовлеченной в деятельность человека в современном мире, и в большей степени подвергается

рефлексии в рамках повседневной жизни – в том числе и с определенной мифологизацией. Саму городскую культуру можно считать во многом виртуальной и массовой – и она с легкостью воспринимает и воспроизводит элементы разнообразных дискурсов и культурных практик.

2. Сельская местность, в свою очередь, в большей степени сохраняет традиционную культуру – и для мифологизации сельского пространства характерны в большей степени элементы, являющиеся продолжением традиционного фольклора. Во время работы над сбором материалов для этой статьи мы неоднократно встречали в рамках медийного дискурса паранормального разнообразные упоминания о леших, русалках, водяных и прочих природных духах, которые широко представлены в традиционной культуре. Призрачные феномены представляются в этом случае в большей степени заимствованными из других культурных традиций.
3. Сельская местность в меньшей степени включена в современную модель взаимодействий – и, как следствие, гипотетическая возможность наблюдения паранормальных явлений в ее рамках меньше. Это обусловливает и объем рассматриваемых сообщений.

Мы также можем упомянуть позиции специалистов, уже рассматривающих данный феномен. Так, о тесной связи сообщений о призраках с городской культурой писали С. Пайл (Pile, 2005), Т. Эденсор (Edensor, 2005) и Дж. Холлоуэй (Holloway & Kneale, 2008). С. Пайл, например, отмечал, что города являются образцовыми «местами с привидениями», так как среда города является по сути анонимным, но очень заряженным пространством (Pile, 2017).

«Призрачной стороне» отдельных городов посвящены монографии, однако психологический компонент этого феномена, несмотря на его существенную значимость, не исследовался прежде.

Дальнейшее рассмотрение количественных данных требует обращения к тому, по каким локализациям распределяются внутри каждой из категорий (городская и сельская местность) призрачные феномены.

Приступим к рассмотрению городской местности. Количественные данные по локализации призрачных феноменов приведены ниже в таблице 2.

Локализация	Количество случаев	%
Постройки	277	67
Публичные пространства	101	25
Сакральные пространства[1]	33	8
Всего	411	100

Таблица 2. Локализация призрачных феноменов в городской местности

Table 2. Localization of Phantom Phenomena in Urban Areas

Здесь мы можем видеть существенное преобладание сообщений о призрачных феноменах, локализованных в постройках. Мы можем предположить, что подобная ситуация связана с тем, что призрак традиционно воспринимается как форма посмертного существования человека (Baker & Bader, 2014, p. 570), и в таком контексте он может ассоциативно относиться к месту, которое принято воспринимать как обычное для пребывания человека – то есть постройке. Вместе с этим интерес представляют и случаи сообщения о призрачных феноменах вне построек. Рассмотрим более подробно особенности каждой из категорий, полученные при анализе нашей выборки.

Обратимся к локализации призраков в постройках. В данном случае четко выделяется две особенности построек, связанные с временем их создания: это постройки, для которых в сообщении делается акцент на их историческом статусе, и неисторические постройки[2].

При таком разделении мы обнаружили следующее количественное соотношение:

- исторические постройки — 190 случаев;
- неисторические постройки — 87 случаев.

Как мы можем видеть, исторические постройки существенно преобладают в качестве локализации для призрака.

По нашему мнению, подобное распределение уже может отчасти объяснять формирование концепта призрака: как отмечают исследователи, сам

1 В категорию «сакральные пространства» включены объекты, основное функциональное предназначение которых связано с религией и сопутствующими ритуальными целями – такие как храмы или кладбища. По нашему мнению, выделение таких объектов в отдельную категорию имеет значение, так как в данном случае представления о паранормальном в виде призрака оказываются реализуемы в среде, которая функционально адресована к близким, сверхъестественным идеям. Более подробно вопрос о призраке, локализуемом в месте с сакральным статусом, представлен ниже, в Таблице 8.

2 Основным критерием разделения на исторические и неисторические постройки стало время создания постройки. В данном случае мы опирались на формальные критерии – так, например, Письмо Министерства культуры РФ от 28 февраля 2017 г. N 49-01.1-39-НМ «О методических рекомендациях по отнесению историко-культурных территорий к объектам культурного наследия в виде достопримечательного места» прямо приводит в числе критериев исторического сооружения возраст не менее пятидесяти лет от момента рассмотрения и отсутствие типового характера постройки.

статус «исторического места» способствует его мифологизации, в том числе и «призрачной» (Inglis & Holmes, 2003). Мы предполагаем, что это может быть своеобразным способом рефлексии восприятия исторического пространства: само по себе старое здание может вызывать большее количество эмоций, если дополнить его присутствующим до сих пор паранормальным артефактом. Это может подтверждать результаты эксперимента Р. Ланге, о которых мы говорили выше.

Одновременно с этим для понимания мотивов, лежащих в основе формирования призрачного феномена, мы считаем необходимым обратиться к вопросу о текущем статусе построек.

Характер здания	Исторические постройки N = 190	Неисторические постройки N = 87
Жилое	3 (2 %N)	37 (41 %N)
Музей	70 (37 %N)	3 (3 %N)
Учреждение сферы культуры[1]	18 (10 %N)	11 (13 %N)
Научное или образовательное учреждение	17 (9 %N)	2 (3 %N)
Учреждение органов власти	10 (5 %N)	5 (6 %N)
Учреждение сферы услуг[2]	21 (11 %N)	14 (16 %N)
Учреждения здравоохранения	10 (5 %N)	6 (7 %N)
Заброшенные и неиспользуемые здания	21 (11 %N)	2 (3 %N)
Производственные здания	3 (2 %N)	7 (8 %N)
Текущее использование не установлено	17 (8 %N)	0

Таблица 3. Текущий статус исторических и неисторических построек, которым приписывается присутствие призрака

Table 3. Current Status of Historical and Non-historical Buildings Attributed with Ghostly Presence

1 В этой категории рассматриваются такие объекты, как библиотеки или архивы – то есть организации, оказывающие влияние на культурную сферу, но при этом, в отличие от музеев, не делающие основным акцентом своей деятельности именно публичную демонстрацию хранящихся в них объектов.
Мы приняли решение выделить такие объекты в отдельную категорию в связи с тем, что, по мнению некоторых исследователей (Inglis & Holmes, 2003, p. 51), музейные учреждения сами в определенной степени заинтересованы в появлении в них «призрака». Как мы можем видеть даже в количественных данных в таблице 3, между музеями и прочими учреждениями культуры присутствует заметное количественное расхождение, что говорит в пользу этой идеи.

2 В категорию «учреждение сферы услуг» включены заведения торговли и социально-бытового обслуживания, функционал которых не попадает под другие категории.

Приведенные данные показывают несколько выраженных расхождений. Так, мы можем видеть, что среди жилых зданий в качестве локации для призрака преобладают неисторические. Здесь мы можем видеть два объяснения. Первое – это сравнительно нечастую (по сравнению с массовым жилым строительством) практику использования исторических зданий как жилых. Второе – как показывают данные более детальных исследований, которые мы продемонстрируем позднее, нередко призраки в жилых зданиях привязываются не к самому зданию, а к объектам, размещавшимся на месте его постройки.

Расхождение, связанное с музеями (особенно показательные данные) и научными и образовательными учреждениями могут быть объяснены, напротив, частой практикой приспособления исторической постройки под музейные или аналогичные цели. Более того, подобное развитие событий может быть даже в определенной степени выгодно для музея: так, мы можем отметить ряд случаев, в которых присутствие призрака становится дополнительной достопримечательностью. Аналогичная ситуация отмечалась и другими исследователями (Holloway & Kneale, 2008; Inglis & Holmes, 2003).

Для полноты демонстрируемых нами данных мы приведем несколько кратких примеров сообщений о призраках из нашей выборки для каждой из категорий. Эти примеры являются в определенной степени типичными и отражают особенности сложившегося в СМИ дискурса паранормального.

Так, проявления призрачных феноменов в неисторическом жилом здании может ярко характеризовать следующий пример:

> «На месте дома ранее находился храм Архангела Михаила. После революции его разобрали на кирпичи, причем часть кирпича была использована под строительство здания. Когда дом стали газифицировать, то обнаружили склеп с гробом священника. Оказалось, что здание построено на бывшем церковном кладбище. Жители квартир видят фигуры священников в черных одеждах»[1].

Здесь мы можем видеть, как причина появления призрака ярко вплетается в исторический контекст здания: присутствует мотив разрушенной церкви и уничтоженного церковного кладбища, что становится поводом для фиксации призраков в виде фигур священников. Этот пример очень хорошо иллюстрирует тезис о том, что в виде призрака может присутствовать специфическая форма реализации историко-культурной памяти. Другой пример появления призрака в неисторическом жилом здании связывается с призраком мужчины, убитого на рынке, на месте которого построен жилой дом – и в этом примере также мы можем видеть своеобразную «преемственность»: новостройка «наследует» призрака от предшествовавшего сооружения[2].

1 Дом с привидениями в Калуге показали на федеральном канале // МК-Калуга. 30.03.2021. Электронный ресурс: https://www.mkkaluga.ru/video/2021/03/30/dom-s-privideniyami-v-kaluge-pokazali-na-federalnom-kanale.html (дата обращения: 21.06.2023)

2 Аномальное место: городские легенды современного Новгорода // ВНовгороде.ру. 27.08.2018. Электронный ресурс: https://vnovgorode.ru/interesnye-materialy/18814-anomalnoe-mesto-gorodskie-legendy-sovremennogo-novgoroda.html (дата обращения: 21.06.2023)

Ярким примером проявления призрака в музейном пространстве может быть случай в музее С. А. Есенина в Москве. «Сотрудники музея Есенина говорят, что центр терроризирует привидение неизвестного мужчины. Работникам учреждения удалось заснять призрак, разгуливающий по территории центра. Свидетели утверждают, что после окончания экскурсий и закрытия музея в здании раздаются непонятные шаги, с полок и шкафов неожиданно падают книги»[1], – сообщают материалы об этих событиях. Интересен тот факт, что эти события стали объектом широкого медийного освещения, включая пресс-конференцию руководства музея[2], а также критические публикации[3]. Этот случай наглядно демонстрирует, что идея паранормального присутствия может стать интересным и нетривиальным инфоповодом для повышения медийного внимания к музейному объекту – и, как следствие, привлечь к нему новых посетителей.

Проиллюстрировать то, как призрачный феномен проявляется в образовательном учреждении, мы можем следующим примером. «Девочка была отличницей, но, когда сдавала экзамен, ее завалили. И она, не справившись с горем, решила броситься в Амур с баяном. С тех пор по колледжу ходит легенда о девочке, и тем, кто засиживается допоздна в колледже, мерещатся звуки играющего баяна. Даже моя одногруппница на первом курсе говорила, что слышала», – сообщают о призраке в здании педагогического колледжа в Благовещенске[4]. Мы можем видеть, что в данном случае бывшая ученица возвращается в виде призрака в заведение, сыгравшее в ее судьбе значимую и в некоторой степени роковую роль – что подтверждает тезис о том, что в формировании концепта призрака, помимо функции среды, играет роль и эмоциональная насыщенность связанных с ней событий.

К сожалению, формат научной статьи в силу ограниченного объема не позволяет нам приводить большое количество примеров, однако мы надеемся, что показанные нами выше случаи позволят читателю составить представление о некоторых особенностях медийного представления призрачных феноменов. Напомним, что исчерпывающий объем примеров, составивший выборку источников для данного исследования, приведен в открытом репозитории, ссылка на который размещена в начале данной статьи.

Мы видим, что ряд категорий показывает количественно близкие данные для исторических и неисторических зданий. К таковым можно отнести учреждения культуры, сферы услуг, здравоохранения или органов власти. Можно

1 Призрак мужчины засняли сотрудники музея Есенина // UssurMedia. 20.07.2019. Электронный ресурс: https://ussurmedia.ru/news/834604/ (дата обращения: 21.06.2023)

2 Призрак Сергея Есенина напугал охрану музея в Москве // Комсомольская правда. 22.07.2019. Электронный ресурс: https://www.kp.ru/daily/27005/4067430/ (дата обращения: 21.06.2023)

3 Призрак бродит по музею: зачем сочиняются мифы // Театрал. 12.10.2019. Электронный ресурс: https://teatral-online.ru/news/25413/ (дата обращения: 21.06.2023)

4 Ужасы нашего городка: АСН24 собрала благовещенские страшилки // АСН24. 2.11.2015. Электронный ресурс: https://asn24.ru/news/society/14858/ (дата обращения: 21.06.2023)

предположить, что в данном случае показатели в большей степени связаны с предшествующим использованием здания (для исторических построек) или местом постройки (для неисторических), которые «наследуют» свойства от исторического контекста. Это предположение мы предпочтем проиллюстрировать следующей таблицей. Для удобства отображения мы совместим эти категории в одну для рассмотрения и проведем рассмотрение по приписываемым характеристикам — с оговоркой лишь на исторический или неисторический характер здания. Данные представлены в таблице 4.

Причина появления призрака	Исторические здания	Неисторические здания
Место смерти	22 (37%)	14 (39%)
Место жизни	9 (15%)	0
Место работы	7 (12%)	4 (11%)
Связь с предшествовавшим постройке использованием территории	2 (3%)	14 (39%)
Использование постройки в рамках политических репрессий начала XX века	6 (10%)	5 (14%)
Причина неизвестна	12 (20%)	0
Всего	59 (100%)	36 (100%)

Таблица 4. Зависимость приписываемой локализации призрака для учреждений культуры, сферы услуг, здравоохранения и органов власти в зависимости от типа здания

Table 4. Dependency of Attributed Ghostly Localizations for Cultural Institutions, Service Sectors, Healthcare Facilities, and Government Bodies Based on Building Type

Так, мы можем видеть, что категория «место жизни» оказывается не задействована для неисторических зданий — что с учетом их специфики в рамках выбранных групп абсолютно объяснимо; для исторических же зданий это говорит о приспособлении под новое использование бывших жилых зданий. Аспект связи с предшествовавшим использованием территории существенно более выражен для неисторических зданий — и в этих случаях превалируют сообщения, связанные с использованием для застройки территорий кладбищ и аналогичных сакральных мест. В этих данных можно видеть дополнительное подтверждение тому, что в рамках концепта призрака месту погребения приписываются исключительные свойства вопреки народной традиции.

Неизвестность причины локализации призрака в неисторическом здании также может быть объяснена через саму сущность здания, о котором в силу времени присутствует больше информации. Если прошлое исторического здания может быть отчасти загадочным (что отражают данные), то неисторическое здание обладает «открытой» историей, которая может не включать в себя

белых пятен. Более того, неисторическое здание может просто не «накопить» достаточного объема связанных с ними воспоминаний, которые могли бы реализоваться через концепт призрака. Категории, связанные с местом смерти, местом работы и использованием постройки в рамках политических репрессий начала XX века показывают близкие количественные данные, что подтверждает высказанное нами выше предположение.

Количественные данные по сообщениям о призрачных феноменах в публичных пространствах представлены в таблице 5.

Локализация	Количество случаев	%
Уличные пространства	65	64
Парковые пространства	26	26
Объекты транспортной инфраструктуры	10	10
Всего	101	100

Таблица 5. Локализация призрачных феноменов в публичных пространствах

Table 5. Localization of Phantom Phenomena in Public Spaces

По нашему мнению, для анализа этих случаев также следует обратить внимание на вопрос о причине появления призрачного феномена.

Причина	Уличные пространства, количество сообщений, N = 65	Парковые пространства, количество сообщений, N = 26	Объекты транспортной инфраструктуры, количество сообщений, N = 10
Место смерти	23	9	3
Место работы, размещенное в пространстве или расположенное поблизости	15	4	1
Место жизни, расположенное поблизости от пространства	12	3	1
Место бывшего кладбища или погребения	15	10	1
Иные причины	0	0	4

Таблица 6. Причины появления призрачного феномена в публичном пространстве

Table 6. Causes of Phantom Phenomena Emergence in Public Spaces

В таблице 6 мы видим, что наиболее выраженной причиной для всех трех локализаций является место смерти, что требует отдельного внимания. Вместе

с этим, существенное увеличение количества сообщений для места работы и места жизни в категории уличных пространств связано с тем, что парковые пространства или объекты транспортной инфраструктуры по сути своей исключаются из такой деятельности, как работа или проживание.

Вместе с этим количественные данные ярко показывают локализацию призрака в контексте бывших (уничтоженных) кладбищ. Этот парадокс может быть рассмотрен как своеобразный элемент культурной памяти — в данном случае, памяти об изменившемся облике города и событиях, связанных с этими изменениями (Воробьева, 2020).

Обратимся к вопросу о причинах смерти. Данные представлены ниже в таблице 7.

Причина	Уличные пространства N = 23	Парковые пространства N = 9	Объекты транспортной инфраструктуры N = 3
Убийство	11	2	0
Самоубийство	5	3	0
Боевые действия	3	0	0
Техногенная катастрофа	2	0	3
Иные причины	2 случая: террористический акт	2 случая: места массовых расстрелов; 1 случай: жестокость по отношению к крепостным крестьянам; 1 случай: смерть по неизвестным причинам.	0

Таблица 7. Соотношение причин смерти в контексте призрака

Table 7. Correlation of Causes of Death in the Context of Phantom Manifestations

Мы можем видеть, что случаи, вынесенные в раздел «иные причины», предлагают достаточно большую широту трактовок, однако ярко выражаются аспекты, связанные с событиями, которым в современной традиции принято приписывать статус «коллективной травмы», такими как войны и террористические акты. Вместе с этим важно отметить, что сразу четыре эпизода связываются с событиями Великой Отечественной войны, и реализация в СМИ концепта призрака в связи с подобными событиями уже становилась предметом внимания исследователей (ван Хааске, 2021).

Рассмотрим теперь такую локализацию призрака в городском пространстве, как места с сакральным статусом. Это наиболее малочисленная

категория, и вместе с тем наиболее противоречивая, так как с точки зрения христианской традиции места с сакральным статусом, то есть освященная земля (храмы, монастыри, кладбища), лишены возможности проявления на них каких-либо паранормальных свойств и сущностей, что активно проявляется в том числе и в фольклоре (Зеленин, 2021, с. 73-76).

Рассмотрим теперь количественные данные по случаям локализации призраков в местах с сакральным статусом, представленные в таблице 8.

Локализация	Количество случаев	%
Кладбища, в том числе по причине:	26	79
– причина не указана,	8	
– связь с неуточненным захоронением на данном кладбище,	6	
– связь с захоронением конкретного человека,	4	
– связь со спецификой конкретного кладбища.	4	
Храмы и монастыри, в том числе по причине:	7	21
– произошедшая в храме смерть,	4	
– использование монастыря в качестве места лишения свободы,	2	
– предполагаемая реакция на смену назначения,	1	
– причина не указана.	1	
Всего	33	100

Таблица 8. Локализация призрачных феноменов в местах сакрального статуса, включая причины

Table 8. Localization of Phantom Phenomena in Sacred Sites, Including Causes

Следует отметить, что в ряде случаев события, связываемые с реализацией концепта призрака, являются вполне достоверными историческими фактами — например, появлением конкретной исторической персоны на месте ее деятельности. Мы можем видеть в этих фактах своеобразную модель мемориализации события или персоны через призрака, присутствие которого иллюстрирует собой исторические факты.

Случаи связи призрака с неуточненным захоронением в рамках данного кладбища или неуточненной причины появления призрака на кладбище достаточно близки по основным элементам: чаще всего здесь идет речь об абстрактных образах, наблюдаемых рядом с могилами или перемещающихся по кладбищу. Такие случаи мы можем отнести в большей степени к специфическому образу кладбища как места сосредоточения потусторонних

и сверхъестественных сил, который имеется как в традиционных представлениях (Кожевников, 2020) или городских легендах (Смирнов, 2016), так и активно усиливается массовой хоррор-культурой (Куликова, 2021).

Случаи, в которых причиной для появления призрака называется специфика конкретного кладбища, во всех случаях связаны с событиями Великой Отечественной войны — братскими захоронениями расстрелянных мирных жителей. Эти случаи вписываются в связь между призраком и травматическими событиями на месте его появления, которую мы уже отмечали.

Чтобы составить полную картину того, как реализуется концепт призрака в пространстве, нам необходимо обратить внимание на вторую крупную часть нашей выборки: это случаи, локализованные в сельской местности. Количественные данные по ним приведены в таблице 9.

Локация	Количество случаев	%
Усадебные ансамбли	35	23
В связи с природными объектами (водоемы, леса)	31	20
Дороги	25	16
Места боевых действий	19	12
Окрестности поселения	18	12
Поселение	10	7
Прочие пространства	15	10
Всего	153	100

Таблица 9. Локализация призрачных феноменов в сельской местности

Table 9. Localization of Phantom Phenomena in Rural Areas

Наибольшее количество сообщений связано с усадебными ансамблями. Это не является исключительным, так как образ помещичьей усадьбы как места, связанного с призрачными явлениями или имеющего особенный потенциал в контексте культурной памяти, давно оформился в качестве культурного феномена, и этому посвящены адресные крупные публикации (Волков, 2014). Подобные случаи по своему характеру обладают достаточно выраженной близостью к случаям, связанным с историческими зданиями в городах.

Большое количество сообщений связано также с привязкой к природным объектам — и мы можем признать, что существенная часть этих сообщений является приведением в рамках медийного текста местных легенд и быличек, то есть вырастает непосредственно из традиционной культуры. Малая выраженность концепта призрака в пространстве поселения в сельской местности, в свою очередь, связана, с нашей точки зрения, с отсутствием в таких рамках

традиционных «мест локализации» призрака: исторических построек или пространств, которые могут быть носителями стойкой культурной памяти.

Под случаями внутри поселения, имеющими выраженный исторический характер, мы понимаем ситуацию, когда в сообщении повторение событий прошлого прямо называется причиной появления призрака, или когда в качестве призрака именуется конкретная личность. Подобные случаи мы предлагаем считать специфическими формами исторической и культурной памяти. Необходимо отметить, что подобная трактовка разделяется и другими исследователями призрачных феноменов (Inglis & Holmes, 2003).

Как случаи, имеющие выраженный легендарный характер, мы охарактеризовали сообщения, которые обнаруживают исключительную близость с традиционными фольклорными быличками, однако оказываются вписанными в гипертекст сообщений о сверхъестественном или непосредственно характеризуются как проявления призрака. Подобных случаев мы выделили три, и все они связаны с историями о самоубийствах. Такие случаи мы предлагаем считать воспроизводством в рамках призрачного дискурса элементов традиционной мифологической культуры.

Для сообщений о призраках на территории заброшенной военной части неподалеку от Перми и на туристической базе в районе Читы какие-либо причины их появления не называются, что делает крайне затруднительным их рассмотрение. Информация о них присутствует сама по себе, делая акцент только на паранормальном характере феномена. Такие случаи, по нашему мнению, являются исключительно значимыми для исследования, так как они фактически предлагают модель появления призрака «из ниоткуда», то есть в условиях отсутствия выраженных предпосылок для него. Здесь мы можем обратиться вновь к экспериментам Р. Ланге и Дж. Хаурана (Lange & Houran, 1997) и Р. Вайсмана (Wiseman & Watt et al, 2003), где люди сообщали о призраках, имея предварительно информацию о возможности их появления. В случаях наблюдения призраков в исторических местах или местах, обладающих специфическим статусом, сопряженным с идеями сверхъестественного (например, кладбищах), мы можем признать возможность наличия у наблюдателей идеи допустимости присутствия призрака в этом месте. В случае заброшенной военной части или туристической базы мы можем исключить подобные идеи или признать их в меньшей степени вероятными.

Это подводит нас к предположению о том, что сообщения о призраках могут быть в определенной степени индуцированы, и предложить следующие факторы, которые могут приводить к такому развитию событий. Такими факторами могут стать:

1. Наличие в сознании воспринимающего идеи возможного существования призрака вообще (в отрыве от конкретной локации).

2. Наличие определенных свойств самой локации, которые могут способствовать восприятию определенных явлений как призрачных (например, лесная местность, заброшенные здания, кладбища).
3. Наличие определенных внешних факторов, под действием которых свойства локации могут быть восприняты как призрачные (например, особенности освещения, туман).

Можно предположить, что сочетание этих факторов и «создает» призрака. Однако это предположение с трудом реализуемо для случая на туристической базе в Чите, где проявление призрака оказалось обнаружено на фотографии. Впрочем, мы не можем исключать попадание в кадр случайного человека и его дальнейшую трактовку как проявление призрачного феномена. Возможно, на определенный дефект снимка, или присутствие в кадре постороннего, не было бы обращено внимание — если бы рассматривающие снимок не допускали возможность существования призрачного феномена. Здесь мы можем обнаружить параллель со схожим явлением из области паранормального — средневековой верой в оборотней, для которой современниками отмечалось, что оборотни существуют лишь потому, что о них говорят, и нет ни единого случая точного подтверждения существования оборотней (ван Хааске, 2014).

Заключение

Приведенные нами данные позволяют предложить общую модель, лежащую в основании медийных сообщений о призраках. По нашему мнению, ведущую роль в сообщениях такого рода играет наличие в общественном сознании самой идеи призрака, который может появляться в связи со свойствами какого-либо места. Эта идея является следствием концепций В. М. Бехтерева, оформившего саму возможность трактовки паранормальных явлений через внушенность состояний, и она подтверждается экспериментами исследователей (Lange & Houran, 1997; Wiseman & Watt et al, 2003).

Исключительно важным дополнением к этому мы можем считать собственно позицию В. М. Бехтерева, отмечавшего, что сущность внушения заключается не столько во внешних особенностях, сколько в особом отношении субъекта к воспринимаемой информации (Бехтерев, 1908, с. 10). Рассмотренные нами призрачные феномены мы можем трактовать в том числе и через эту идею. В такой трактовке внешними особенностями, оказывающими влияние на формирование призрачного образа, становятся именно особенности локации. В свою очередь внутреннее отношение субъекта может формироваться как свойствами самой локации (то есть, знаниями о ее историческом или культурном значении), так и медийным фоном, который может проецировать в общественное сознание возможность существования паранормальных явлений.

Таким образом, можно говорить о том, что в целом сообщения СМИ о призраках можно считать следствием своеобразного взаимодействия как представлений о паранормальном, так и восприятия конкретной локации, в которой наблюдается призрак. При этом для некоторых локаций подобная логика приобретает свои особенности.

Так, например, оформление призрака через обращение к истории конкретного места или исторической личности можно считать своеобразной формой исторической памяти. В данном случае призрак «создает» своеобразное «посмертное присутствие» конкретной личности или подчеркивает историческое значение постройки. Эта идея совпадает с мнением Д. Инглиса о том, что музеи в определенной степени «нуждаются» в призраках для создания дополнительной достопримечательности (Inglis & Holmes, 2003, p. 51).

Весьма показательными являются случаи сообщений о призраках в местностях, связанных с трагическими и драматическими событиями, такими как деятельность репрессивных органов, боевые действия или преступления. Приведенные нами данные дают возможность говорить о том, что в этих случаях в сообщениях о паранормальном опыте реализуется своеобразная коллективная память: призрак становится олицетворением связанного с местом травматического события.

В ряде случаев, особенно локализованных в сельской местности, мы можем обнаружить близость или прямое заимствование используемой для призрачной образности модели из традиционной культуры. Это не вызывает удивления и может рассматриваться как своеобразная культурная адаптация.

Вместе с этим мы можем видеть, что в ряде локаций призрачные феномены в принципе не отмечаются. Это подтверждает гипотезу о тесной связи между собственно призрачным феноменом и возможным восприятием локации.

Список литературы

Baker, J. O., & Bader, C. D. (2014). A social anthropology of ghosts in twenty-first-century America. *Social Compass*, 61(4), 569–593. https://doi.org/10.1177/0037768614547337

Baker, R. (1996). *Hidden Memories: Voices and Visions from Within*. Prometheus Books.

Bartholomew, R. E. (2001). *Little green men, meowing nuns and head-hunting panics: A study of mass psychogenic illness and social delusion*. McFarland.

Bell, M. M. (1997). The ghosts of place. *Theory and Society*, 26(6), 813–836. https://doi.org/10.1023/A:1006888230610

Cardeña, E., Lynn, S. J., & Krippner, S. (2000). *Varieties of anomalous experience: Examining the scientific evidence*. American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/10371-000

Edensor, T. (2005). The ghosts of industrial ruins: Ordering and disordering memory in excessive space. *Environment and Planning d: Society and Space*, 23(6), 829–849. https://doi.org/10.1068/d58j

Ellis, B. (2000). *Aliens, Ghosts, and Cults: Legends We Live*. University Press of Mississippi.

Ellis, B. (2014). *Raising the devil: Satanism, new religions, and the media*. University Press of Kentucky.

French, C. C., & Stone, A. (2013). *Anomalistic Psychology: Exploring Paranormal Belief and Experience*. Red Globe Press.

Gordon, A. (1997). *Ghostly Matters: Haunting and the sociological imagination*. University of Minnesota Press.

Guerin, B., & Miyazaki, Y. (2006). Analyzing rumors, gossip, and urban legends through their conversational properties. *The Psychological Record*, 56(1), 23–33. https://doi.org/10.1007/BF03395535

Hankey, R. (1942). California ghosts. *California Folklore Quarterly*, 1(2), 155–177. https://doi.org/10.2307/1495482

Holloway, J., & Kneale, J. (2008). Locating haunting: A ghost-hunter's guide. *Cultural Geographies*, 15(3), 297–312. https://doi.org/10.1177/1474474008091329

Inglis, D., & Holmes, M. (2003). Highland and other haunts: Ghosts in Scottish tourism. *Annals of Tourism Research*, 30(1), 50–63. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(02)00031-2

Irwin, H. J. (2009). *The psychology of paranormal belief: A researcher's handbook*. University of Hertfordshire Press.

Jones, L. C. (1944). The ghosts of New York: An analytical study. *The Journal of American Folklore*, 57(226), 237–254. https://doi.org/10.2307/535356

Klemperer, F. (1992). Ghosts, visions, and voices. *British Medical Journal*, 305(6868), 1518. https://doi.org/10.1136/bmj.305.6868.1518

Ladd, B. (1997). *The Ghosts of Berlin*. Chicago University Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226467603.001.0001

Lange, R., & Houran, J. (1997). Context-induced paranormal experiences: Support for Houran and Lange's model of haunting phenomena. *Perceptual and Motor Skills*, 84, 1455–1458. https://doi.org/10.2466/pms.1997.84.3c.1455

Leudar, I., & Thomas, P. (2005). *Voices of reason, voices of insanity: Studies of verbal hallucinations*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203977583

Marks, D. F. (1988). The psychology of paranormal beliefs. *Experientia*, 44(4), 332–337. https://doi.org/10.1007/BF01961272

McCorristine, S. (2010). *Spectres of the Self: Thinking about Ghosts and Ghost-seeing in England, 1750-1920*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511779749

Pile, S. (2005). *Real cities: Modernity, space and the phantasmagorias of city life*. Sage. https://doi.org/10.4135/9781446220665

Pile, S. (2017). Spectral cities: Where the repressed returns and other short stories. In *Habitus: A sense of place* (pp. 251–273). Routledge.

Preece, P. F., & Baxter, J. H. (2000). Scepticism and gullibility: The superstitious and pseudo-scientific beliefs of secondary school students. *International Journal of Science Education*, 22(11), 1147-1156. https://doi.org/10.1080/09500690050166724

Sperber, D. (1990). *The epidemiology of beliefs*. Clarendon Press.

Wiseman, R., Watt, C., Stevens, P., Greening, E., & O'Keeffe, C. (2003). An investigation into alleged 'hauntings'. *British Journal of Psychology*, 94(2), 195–211. https://doi.org/10.1348/000712603321661886

Бехтеров, В. М. (1908). *Внушение и его роль в общественной жизни*. Издание К. Л. Риккера.

Ван Хааске, Л. А. (2014). Образы страха перед сверхъестественным в мифологической традиции Европы эпохи высокого средневековья. *Вестник Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. История и политология*, 3, 54–62.

Ван Хааске, Л. А. (2021). Конструирование сверхъестественного в СМИ: хрономираж как специфическая форма культурной памяти. В *Актуальные проблемы медиаисследований-2021* (сс. 87–89). Факультет журналистики МГУ.

Волков, А. Б. (2014). *Привидения русских усадеб*. Вече.

Воробьева, М. В. (2020). Кладбища культуры и отдыха: Мемориальная культура и политика памяти в парках Среднего Урала. *Дискурс-Пи*, 4, 68–85. https://doi.org/10.24411/1817-9568-2020-10405

Зеленин, Д. К. (2021). *Очерки славянской мифологии*. Вече.

Кожевников, Н. С. (2020). Кладбище как социокультурное пространство. В *Социология и общество: Традиции и инновации в социальном развитии регионов* (сс. 3435–3445). Российское общество социологов. https://doi.org/10.19181/kongress.2020.409

Куликова, Д. Л. (2021). Мифопоэтика пространства кладбища в хорроре (на материале современной русской литературы). *Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология*, 13(23), 86–93. https://doi.org/10.17072/2073-6681-2021-3-86-93

Назаров, М. М. (2004). *Массовая коммуникация и общество*. Аванта плюс.

Смирнов, Ю. А. (2016). Городские легенды и монастырские кладбища. *Живая старина*, 3(91), 60-62.

References

Baker, J. O., & Bader, C. D. (2014). A social anthropology of ghosts in twenty-first-century America. *Social Compass*, 61(4), 569–593. https://doi.org/10.1177/0037768614547337

Baker, R. (1996). *Hidden Memories: Voices and Visions from Within*. Prometheus Books.

Bartholomew, R. E. (2001). *Little green men, meowing nuns and head-hunting panics: A study of mass psychogenic illness and social delusion*. McFarland.

Bechterev, V. M. (1908). *Suggestion and Its Role in Public Life*. K. L. Ricker's Edition. (In Russian).

Bell, M. M. (1997). The ghosts of place. *Theory and Society*, 26(6), 813–836. https://doi.org/10.1023/A:1006888230610

Cardeña, E., Lynn, S. J., & Krippner, S. (2000). *Varieties of anomalous experience: Examining the scientific evidence*. American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/10371-000

Edensor, T. (2005). The ghosts of industrial ruins: Ordering and disordering memory in excessive space. *Environment and Planning d: Society and Space*, 23(6), 829–849. https://doi.org/10.1068/d58j

Ellis, B. (2000). *Aliens, Ghosts, and Cults: Legends We Live*. University Press of Mississippi.

Ellis, B. (2014). *Raising the devil: Satanism, new religions, and the media*. University Press of Kentucky.

French, C. C., & Stone, A. (2013). *Anomalistic Psychology: Exploring Paranormal Belief and Experience*. Red Globe Press.

Gordon, A. (1997). *Ghostly Matters: Haunting and the sociological imagination*. University of Minnesota Press.

Guerin, B., & Miyazaki, Y. (2006). Analyzing rumors, gossip, and urban legends through their conversational properties. *The Psychological Record*, 56(1), 23–33. https://doi.org/10.1007/BF03395535

Hankey, R. (1942). California ghosts. *California Folklore Quarterly*, 1(2), 155–177. https://doi.org/10.2307/1495482

Holloway, J., & Kneale, J. (2008). Locating haunting: A ghost-hunter's guide. *Cultural Geographies*, 15(3), 297–312. https://doi.org/10.1177/1474474008091329

Inglis, D., & Holmes, M. (2003). Highland and other haunts: Ghosts in Scottish tourism. *Annals of Tourism Research*, 30(1), 50–63. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(02)00031-2

Irwin, H. J. (2009). *The psychology of paranormal belief: A researcher's handbook*. University of Hertfordshire Press.

Jones, L. C. (1944). The ghosts of New York: An analytical study. *The Journal of American Folklore*, 57(226), 237–254. https://doi.org/10.2307/535356

Klemperer, F. (1992). Ghosts, visions, and voices. *British Medical Journal*, 305(6868), 1518. https://doi.org/10.1136/bmj.305.6868.1518

Kozhevnikov, N. S. (2020). Cemetery as a Sociocultural Space. In *Sociology and Society: Traditions and Innovations in the Social Development of Regions* (pp. 3435–3445). Russian Society of Sociologists. https://doi.org/10.19181/kongress.2020.409 (In Russian).

Kulikova, D. L. (2021). Mythopoetics of Cemetery Space in Horror (Based on Contemporary Russian Literature). *Perm University Herald. Russian and Foreign Philology*, 13(23), 86–93. https://doi.org/10.17072/2073-6681-2021-3-86-93 (In Russian).

Ladd, B. (1997). *The Ghosts of Berlin*. Chicago University Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226467603.001.0001

Lange, R., & Houran, J. (1997). Context-induced paranormal experiences: Support for Houran and Lange's model of haunting phenomena. *Perceptual and Motor Skills*, 84, 1455–1458. https://doi.org/10.2466/pms.1997.84.3c.1455

Leudar, I., & Thomas, P. (2005). *Voices of reason, voices of insanity: Studies of verbal hallucinations*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203977583

Marks, D. F. (1988). The psychology of paranormal beliefs. *Experientia*, 44(4), 332–337. https://doi.org/10.1007/BF01961272

McCorristine, S. (2010). *Spectres of the Self: Thinking about Ghosts and Ghost-seeing in England, 1750-1920*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511779749

Nazarov, M. M. (2004). *Mass Communication and Society*. Avanta Plus. (In Russian).

Pile, S. (2005). *Real cities: Modernity, space and the phantasmagorias of city life*. Sage. https://doi.org/10.4135/9781446220665

Pile, S. (2017). Spectral cities: Where the repressed returns and other short stories. In *Habitus: A sense of place* (pp. 251–273). Routledge.

Preece, P. F., & Baxter, J. H. (2000). Scepticism and gullibility: The superstitious and pseudo-scientific beliefs of secondary school students. *International Journal of Science Education*, 22(11), 1147-1156. https://doi.org/10.1080/09500690050166724

Smirnov, Y. A. (2016). Urban Legends and Monastery Cemeteries. *Living Antiquity*, 3(91), 60–62. (In Russian).

Sperber, D. (1990). *The epidemiology of beliefs*. Clarendon Press.

Van Haaske, L. A. (2014). Images of Fear of the Supernatural in the Mythological Tradition of High Medieval Europe. *Bulletin of the Moscow State Humanitarian University Named after M.A. Sholokhov. History and Political Science*, 3, 54–62. (In Russian).

Van Haaske, L. A. (2021). Constructing the Supernatural in the Media: Chronomirage as a Specific Form of Cultural Memory. In *Current Issues in Media Studies-2021* (pp. 87–89). Faculty of Journalism, Moscow State University. (In Russian).

Volkov, A. B. (2014). *Ghosts of Russian Estates*. Veche. (In Russian).

Vorobieva, M. V. (2020). Recreation Cemeteries: Culture of Remembrance and Politics of Memory in the Parks of the Middle Urals. *Discourse-P*, 4, 68–85. https://doi.org/10.24411/1817-9568-2020-10405 (In Russian).

Wiseman, R., Watt, C., Stevens, P., Greening, E., & O'Keeffe, C. (2003). An investigation into alleged 'hauntings'. *British Journal of Psychology*, 94(2), 195–211. https://doi.org/10.1348/000712603321661886

Zelenin, D. K. (2021). *Sketches of Slavic Mythology*. Veche. (In Russian).

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2023. No 3 | ISSN: 2658-7734
New Media and Human Communication | https://doi.org/10.46539/gmd.v5i3.372

Analysis of Users' Sentiments in Social Media (on the Example of the Astrakhan Region)

Dmitriy A. Chernichkin[1] & Anastasiya I. Krivenko[2]

Astrakhan Tatishchev State University. Astrakhan, Russia

Received: 15 February 2023 | Revised: 12 May 2023 | Accepted: 23 May 2023

Abstract

The article is devoted to the studying of the opinions and sentiments of users of regional communities in the social network VKontakte using methods of machine analysis of text data, supplemented by sociological research methods. In the course of the study, we identified a list of current topics discussed by the inhabitants of the region, determined the most frequently mentioned persons, and analyzed the tone of their mention. Additionally, on the basis of the obtained results, the index of subjective (non-) well-being (ISW) was calculated for each district of the region and a map of the emotional coloring of posts from the communities of the analyzed social network was built. The results of the study can be used to monitor the situation in the region, finding problem areas, elicitation opinion leaders (popular personalities of the region that have a special influence on the opinion of the population), as well as identify the most interesting topics and urgent problems for the population. In perspective, this method of monitoring the social sentiments of the population of the region can be improved by automating the addition of new data to the analytical project. In the future, the addition of mathematical models to the system will make it possible to create graphs for predicting further changes in the region.

Keywords

Social Sentiments; Media; Vkontakte; Text Mining; Isnw-B; Region; Astrakhan Region; Big Data; Content Analysis; Polyanalyst; Data Visualization

This work is licensed under a Creative Commons "Attribution" 4.0 International License

1 Email: chernichkin95[at]mail.ru
2 Email: krivenkoanastasia33[at]gmail.com

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2023. No 3 | ISSN: 2658-7734
Новые медиа и коммуникации | https://doi.org/10.46539/gmd.v5i3.372

Анализ общественных настроений в социальных медиа Астраханской области

Черничкин Дмитрий Алексеевич[1], **Кривенко Анастасия Ивановна**[2]

Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева. Астрахань, Россия

Рукопись получена: 15 февраля 2023 | Пересмотрена: 12 мая 2023 | Принята: 23 мая 2023

Аннотация

Статья посвящена изучению мнений и настроений пользователей региональных сообществ в социальной сети ВКонтакте с использованием методов машинного анализа текстовых данных, дополненные социологическими методами исследования. В процессе исследования нами был выделен перечень актуальных тем, обсуждаемый жителями региона, определены наиболее часто упоминаемые персоны, а также проанализирована тональность их упоминания. Дополнительно на основе полученных результатов был рассчитан индекс субъективного (не)благополучия (ИСНБ) для каждого района области и построена карта эмоциональной окраски постов из сообществ анализируемой социальной сети. Полученные результаты исследования можно использовать для мониторинга ситуации в регионе, определения проблемных районов, выявления лидеров мнений (популярных личностей региона, оказывающих особое влияние на мнение населения), а также выявления наиболее интересующих население тем и актуальных проблем. В перспективе данный метод мониторинга социальных настроений населения региона может быть усовершенствован автоматизацией добавления новых данных в аналитический проект. В будущем, дополнение системы математическими моделями позволит создавать графики прогнозирования дальнейших изменений в регионе.

Ключевые слова

социальные настроения; медиа; Вконтакте; Text Mining; ИСНБ; регион; Астраханская область; большие данные; контент-анализ; PolyAnalyst; визуализация данных

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons “Attribution” («Атрибуция»)4.0 Всемирная

1 Email: chernichkin95[at]mail.ru
2 Email: krivenkoanastasia33[at]gmail.com

Введение

Развитие интернет-пространства способствует экспоненциальному росту информации в социальных сетях. Анализ настроений и мнений в контенте новостных каналов, сообществ и комментариях к ним со стороны населения позволяет создать систему поддержки принятия решений для мониторинга ситуации в регионах (Марьенков & Кривенко, 2022), в стране в целом (Smetanin, 2020), а также в соседних странах и странах, оказывающих влияние на объект, в том числе и в Прикаспийском регионе.

Социальные сети становятся все более важной частью нашей личной и профессиональной жизни. Они используются для различных целей, основными мотивами которых являются поддержание и создание связей с другими пользователями, обмен и получение информации, проявление политической активности, обсуждение социальных проблем регионов и т.д. (Dickinger & et al., 2008; Durahim & Coşku, 2015; Беленкова & Белоконев, 2020; Зимова и др., 2020). В рамках информационных систем (ИС) было проведено немало исследований по использованию социальных сетей в целом (Ahmed & et al., 2014; Абдулаева, 2015), с акцентом на такие аспекты, как обмен знаниями (Beck & et al., 2014), приобретение знаний (Leonardi, 2015) или стимулирование политической активности (Есиев, 2021). В этом смысле огромные возможности социальных медиа с каждым годом все больше повышают интерес к проблеме сентимент-анализа (или анализ тональности текста) – автоматического выделения в текстах сообщений пользователей эмоционально окрашенной лексики, например, эмоциональных оценок авторов сообщений по отношению к обсуждаемым темам, объектам, событиям и т.п. Огромные объемы уже накопленных данных и скорость поступления новых не оставляют шансов заинтересованным лицам и компаниям на проведение анализа данных в ручном режиме, что делает разработку инструментов автоматического извлечения требуемой информации актуальной задачей.

В фокусе нашего внимания находится Астраханская область как стратегически важный регион на территории Прикаспия, а социальные настроения и благополучие жителей данной территории являются одним из важнейших факторов сохранения стабильности данной территории. Также все муниципальные образования Астраханской области являются достаточно активными в различных социальных сетях (как со стороны органов власти, так и жителей районов), что, в свою очередь, позволяет изучать онлайн-активность жителей региона с различных сторон. В рамках данной работы нами была предпринята попытка проанализировать мнения и настроения пользователей региональных сообществ Астраханской области в социальной сети ВКонтакте с использованием технологий машинного анализа текста (Text mining).

Обзор литературы

Следует отметить, что социальные сети являются самым популярным источником данных о самочувствии и качестве жизни, но не единственным. Другими источниками цифровых следов могут быть поисковые запросы пользователей (Algan & et al., 2019) или слова в Google Books (Hills & et al., 2019). Анализируя набор тематических работ, мы условно выделили три направления в исследованиях взаимосвязи социальных сетей и социально-политических настроений пользователей. Первое направление связано с использованием новых информационных технологий для анализа и обработки данных, которые могут служить источником информации в исследованиях благополучия пользователей. Примером может служить использование технологии автоматического распознавания эмоций человека на групповых изображениях в социальных сетях для определения индекса «счастья» (Dhall & et al., 2015).

Второе направление посвящено анализу социальных сетей как нового социального феномена, влияющего на различные стороны человеческого благополучия (Sabatini & Sarracino, 2017; Verduyn & et al., 2017). В данном случае социальные сети рассматриваются как значимый фактор, который может оказывать негативное или положительное влияние на такие параметры человеческого благополучия, как социальный капитал (Ciobanu & Androniceanu, 2018), удовлетворенность браком (Valenzuela & et al., 2014), депрессия (Appel & et al., 2016), одиночество (Song & et al., 2014), социальная поддержка (Lee & et al., 2013), оценка своей жизни как счастливой по сравнению с другими люди (Chou & Edge, 2012) и т.д.

Третье направление исследований рассматривает социальные сети как самодостаточный источник данных для оценки настроений пользователей. Принимая во внимание ту роль, которую социальные сети стали играть в повседневной жизни людей в последние десятилетия, попытки их всестороннего анализа стали весьма продуктивными (Haseeb & et al., 2019).

Можно отметить, что за последние десять лет количество исследований, в которых социальные сети являются основным источником информации о субъективном благополучии пользователей, быстро растет. При этом существенный вопрос заключается в том, насколько согласуются результаты цифровых и традиционных исследований благополучия и качества жизни и позволяют ли цифровые исследования прогнозировать «истинный» уровень благополучия.

Что же касается отечественного дискурса, то работы, посвященные анализу данных с применением машинного анализа текста, затрагивают в большинстве своем лишь теоретический аспект проблемы. Например, в работе О.В. Ярмак и Т.В. Жарковой рассмотрены преимущества и риски использования технологий работы с большими данными в перечисленных сферах на примере Испании и стран Ближнего Востока (Ярмак и др., 2022); К. Губа рассматривает перспективы использования больших данных в социо-

логии (Губа, 2018); возможности и ограничения использования больших данных в социологии, в частности, в изучении городских пространств, проанализированы в работе А.В. Прокофьевой и М.Д. Романовой (Прокофьева & Романова, 2017). Однако в последние годы наблюдается появление отечественных публикаций, основанных на практических результатах исследований. К примеру, научная группа из Томского государственного университета на основе данных из школьных сообществ, взятых из социальной сети ВКонтакте, оценили настроения студенческого сообщества, связанные с переходом на дистанционное обучение в условиях пандемии, а также выявили динамику и основные тенденции в оценке удовлетворённости студентов качеством образовательного процесса (Богданова и др., 2022).

Таким образом, существующие на сегодняшний день различные зарубежные и российские методики измерения качества жизни, удовлетворенности и благополучия имеют как достоинства, так и недостатки. В нашей статье мы опираемся на работу коллектива Томского государственного университета (Щекотин и др., 2020), представляющуюся, на наш взгляд, довольно перспективной по причине учета именно российской специфики активности пользователей социальных сетей. Необходимо подчеркнуть тот факт, что в данной работе мы придерживаемся тезиса Дж. ван Дайка, полагающего, что «социальные сети воспроизводят те же процессы и явления, которые происходят в реальном мире, однако существенно их усиливая и интенсифицируя. Вследствие этого изучение социальных медиа предоставляет возможность получить вполне полное представление об оценке людьми условий своей жизни» (Van Dijk, 2006).

Цели и задачи

Основная цель работы – выявление мнений и настроений пользователей региональных сообществ Астраханской области в социальной сети ВКонтакте.

В соответствии с обозначенной целью были поставлены следующие задачи:

- организовать процесс сбора и очистки данных, на основе разработанной ранее методики (Марьенков & Кривенко, 2022);
- проанализировать полученный структурированный набор данных при помощи программных средств аналитики данных;
- создать визуализацию полученных результатов в виде интерактивных дашбордов.

Гипотеза исследования

Использованные в рамках данной статьи методы работы с большими данными являются достаточно репрезентативными и могут быть использованы

как самостоятельная методология в рамках выявления социальных настроений, позволяющая ситуативно анализировать текущую ситуацию в регионе.

Методология и методы исследования

Методологической основой данной работы является сетевой анализ, теоретической основой которого являются методы машинного анализа текста из социальных сетей и сообществ, дополненные социологическими методами.

Первый этап предполагает использование сетевого анализа для получения выборки данных в свободном доступе, генерируемых региональными онлайн-социальными сообществами на платформе социальной сети «ВКонтакте», которые являются основными производителями и потребителями необходимого для исследовательских целей контента. Каждое из этих социальных онлайн-сообществ стало плацдармом для жителей региона и площадкой для дискуссий. Будучи свободным от строгой модерации, сообщество в социальных сетях обеспечивает активное обсуждение и активное участие, поскольку пользователь может вынести на обсуждение любую тему публикации.

На втором этапе сетевой анализ усиливалась культурными компонентами социального действия (местными практиками и контекстами, дискурсами, репертуарами и нормами); поэтому традиционная методология математического анализа социальных сетей (т.е. структурный сетевой анализ) была дополнена методами реляционной социологии и лингводискурсивного анализа. Сетевой анализ, усиленный методами реляционной социологии, позволяет рассматривать социальные сети и сообщества, продуцирующие различный контент, как динамических акторов, осуществляющих управленческие операции через данный контент, а не инертных субъектов среди статичных узлов (Мальцева, 2014; Mische, 2011; Рябченко и др., 2019).

Сбор и очистка данных

Первым этапом является оценка социальных медиа для определения релевантных сообществ, подлежащих анализу. В рамках доступности была выбрана социальная сеть ВКонтакте, так как она имеет открытый интерфейс прикладного программирования (Application programming interface, API) (Справочник API).

Оценка сообществ проводилась вручную. Сообщества отбирались по критериям:

- в сообществе более 1000 участников;
- периодичность публикаций не реже 1 раза в неделю;
- отсутствие или минимальное количество рекламных постов;

- информативная составляющая постов сообщества относится к вопросам Астраханской области.

Стоит подчеркнуть, что при рассмотрении задачи, локализованной под региональный контекст, следует учитывать особенности выбора именно региональных сообществ.

В качестве исходных данных выступили датасеты сообщений и комментариев из социальных сетей, взятых из 30 популярных сообществ Астраханской области в социальной сети ВКонтакте, за период с 06.04.2012 г. по 11.10.2022 г. Динамика сообщений по годам выглядит следующим образом (см. рис. 1.)

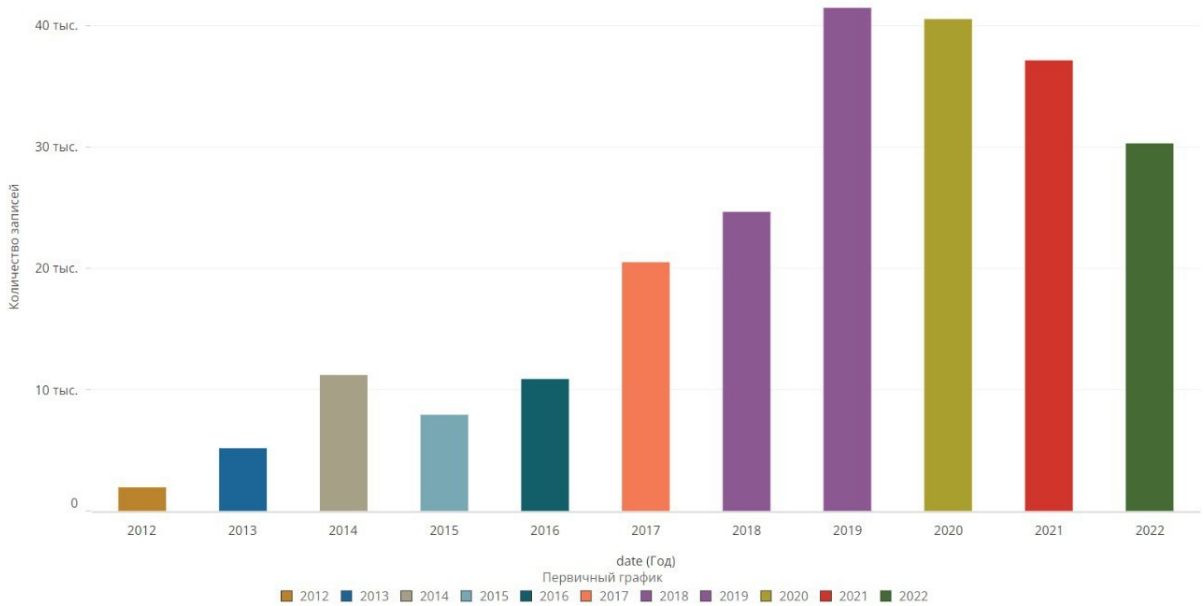


Рисунок 1. Динамика опубликованных сообщений

Figure 1. Dynamics of published messages

В исследовании использовались два набора данных: тексты постов в сообществах и тексты комментариев к постам. Исключались нерелевантные сообщения, не относящиеся к исследуемой тематической категории. Примеры сообществ представлены в Таблице 1.

Первичный набор данных составил 200 тысяч постов сообществ, структурированных в формате Excel. Сущности содержали следующие атрибуты: источник информации, дата публикации поста, текст поста, количество лайков, количество комментариев, количество репостов.

Собранные данные были рассмотрены, и на этапе очистки были выделены только уникальные тексты, проверена орфография и пунктуация, строки также были очищены с помощью запросов на языке PDL (Справка по PDL) и SRL (Справка по SRL) от «мусорных» данных для увеличения качества результатов

контент-анализа. После очистки генеральная совокупность составила 80 тысяч кортежей.

Название сообщества	Ссылка	Округ, район
Астрахань online	https://vk.com/astr_online	Астраханская область
Астраханская область	https://vk.com/ jest_astrakhan_	
Подслушано.Знаменск	https://vk.com/znhear	г. Знаменск
Мой Ахтубинск	https://vk.com/ahtmy	Ахтубинский
Администрация МО «Володарский район»	https://vk.com/regionvol	Володарский
Администрация МО «Енотаевский район»	https://vk.com/enotaevkaonelove	Енотаевский
Икряное Сегодня	https://vk.com/public25308157	Икрянинский
Камызяк	https://vk.com/kamyzaki	Камызякский
Администрация МО «Камызякский район»	https://vk.com/public202518540	
ПОДСЛУШАНО Красный Яр	https://vk.com/podslushano_kr_yar	Красноярский
Администрация Лиманского района	https://vk.com/club171584887	Лиманский
Администрация Наримановского района	https://vk.com/public201143487	Наримановский
Приволжская газета	https://vk.com/club85881139	Приволжский
Администрация МО «Харабалинский район»	https://vk.com/public171622810	Харабалинский
Черный Яр	https://vk.com/clubblack_yar	Черноярский
Администрация МО «Черноярский район»	https://vk.com/public171636343	

Таблица 1. Выбор популярных сообществ Астраханской области

Table 1. Selection of popular communities of the Astrakhan region

На втором этапе изучалась проблема бинарной классификации, позволяющая различать тексты, классифицируемые по двум эмоциям П. Экмана: счастье и печаль, то есть все релевантные сообщения были отнесены к позитивным, негативным и нейтральным. Таким образом, внимание было сосредоточено на настроении, передаваемом пользователями в сообщениях. Все сообщения пользователей в отобранных сообществах были промаркированы в зависимости от их тональности. Надо отметить, что негативных записей в сети всегда больше, что типично для сетевых сообществ.

Анализ данных

После отчистки данных мы перешли непосредственно к анализу текстовых данных. Исходя из задач исследования, мы применили следующие способы работы с данными: классификация текстов, формирование таксономий, извлечение сущностей, семантический поиск, категоризация, кластеризация, обнаружение паттернов и т.д. (Галоян & Ерохина). Для проверки гипотез можно использовать no-code платформы (Orange Data Mining, PolyAnalyst, Yandex DataLens, Gephi). В данном исследовании для анализа текстовых данных применялась платформа PolyAnalyst. Проект в системе PolyAnalyst представляет собой систему узлов, каждый из которых выполняет определенную функцию.

В сценарии для анализа данных из социальных медиа Астраханской области основной упор был сделан на определении тональности текста. Тональность выбрана стандартно-бинарная: положительная и отрицательная. Дополнительно выделялась основная мысль, проводился поиск ключевых тем и слов по встроенным словарям используемого инструмента. Это наиболее часто встречающиеся слова, достаточные, чтобы выявить основные тематики постов сообщества. Отдельными сущностями были выделены персоны, встречающиеся в корпусах текстов (см. Рис. 2).

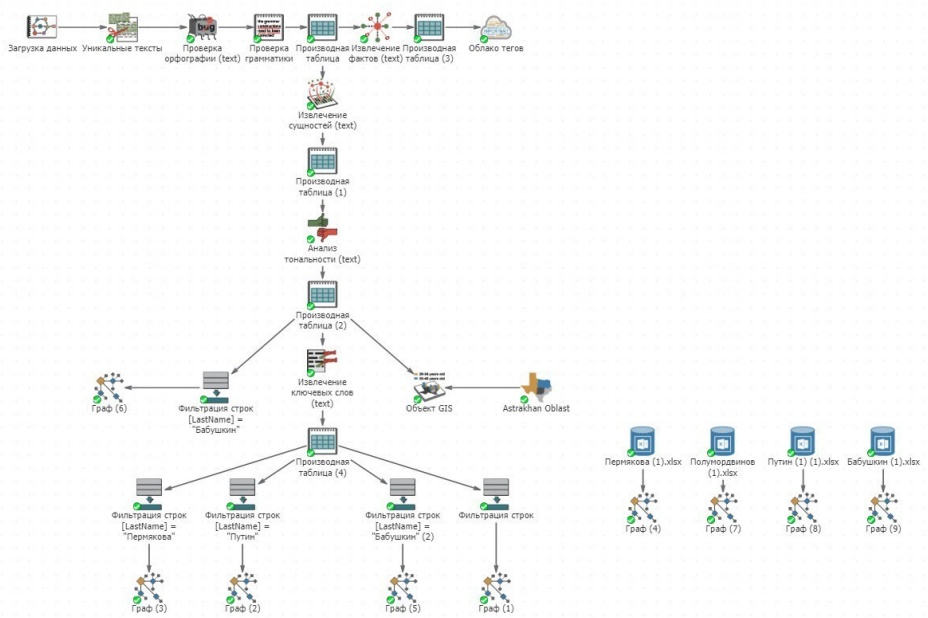


Рисунок 2. Сценарий обработки данных в ПО PolyAnalyst

Figure 2. Data processing scenario in PolyAnalyst software

Результаты исследования

Распределение по сообщений по районам выглядит следующим образом (см. табл. 2).

Городской округ Астрахань	55135
Камызякский район	5146
Икрянинский район	4128
Ахтубинский район	3938
Лиманский район	3423
Харабалинский район	2727
Енотаевский район	2659
Приволжский район	2652
Красноярский район	2354
Наримановский район	2250
Черноярский район	2239
Володарский район	1981
ЗАТО Знаменск	631

Таблица 2. Распределение текстовых сообщений по районам

Table 2. Distribution of text messages by regions

В процессе данного анализа все релевантные данные были классифицированы по следующим категориям:

Социальная сфера	
инфраструктура	строительство новых домов, капитальный ремонт, переселение из ветхого жилья, состояние дорог, ремонт мостов и переправ (как в областном центре, так и в районах)
ЖКХ	проблемы с водоснабжением (старые коммуникации, ветхие очистные сооружения, плохое состояние насосных станций), оказание услуг ЖКХ населению
здравоохранение	состояние больниц и поликлиник (а также строительство новых), качество оказания услуг населению
безопасность	профилактика терроризма и экстремизма, национальная безопасность
Экономическая сфера	
Работа	Уровень безработицы, зарплата
Товары и услуги	Рост цен, снижение качества

Социальная поддержка от государства	Субсидии, льготы, пенсии
Политическая сфера	
Отношение к власти	Отношение населения к отдельным политическим персонам и их деятельности

Таблица 3. Категории текстовых данных

Table 3. Categories of text data

Изучая сообщения пользователей, мы выделили две характерных особенности: достаточно большое количество негативных комментариев и огромное количество жалоб и просьб по многим вопросам, большинство из которых напрямую не относятся к компетенции руководителей районов области. Это, безусловно, свидетельствует о широких возможностях социальных сетей как инструмента обратной связи с населением.

Количественный анализ полученных данных позволил выделить перечень персон, наиболее часто упоминаемых в массиве текстовых сообщений (см. рис. 3.)

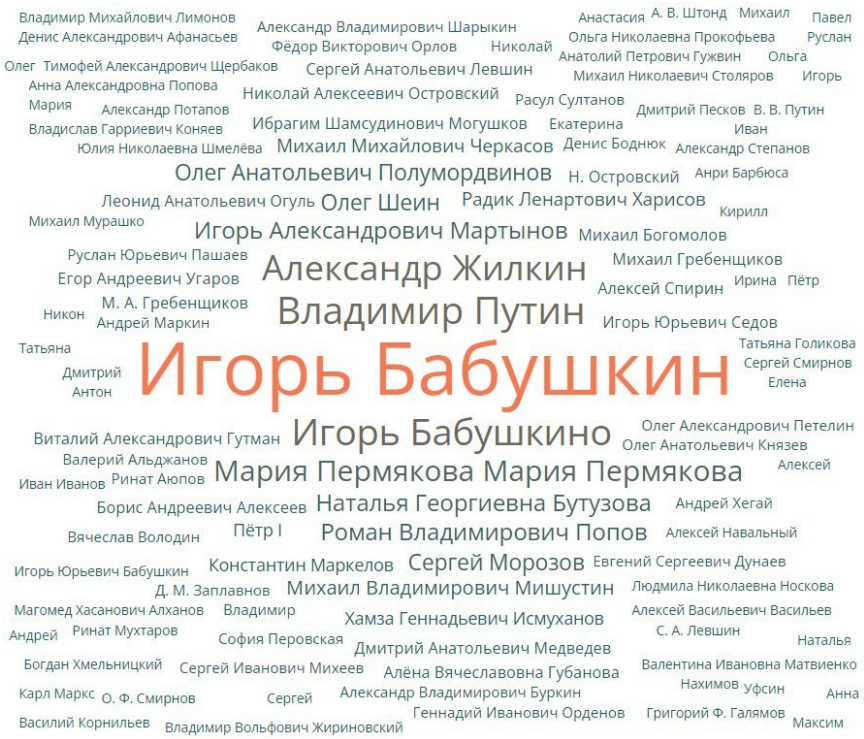


Рисунок 3. Облако тегов категории «Популярные персоны в области»

Figure 3. Tag cloud of the category “Popular people in the region”

В рамках данной статьи была дополнительно проанализирована тональность упоминаний 3-х наиболее популярных персон в регионе: И. Ю. Бабушкин (губернатор Астраханской области) – 2571 упоминание, М. Н. Пермякова (экс-глава МО «Город Астрахань») – 644 упоминания, О. А. Полумордвинов (глава МО «Город Астрахань») – 454 упоминания.

Исходя из графа упоминаний губернатора И. Ю. Бабушкина (см. рис. 4), мы установили наиболее тесные взаимосвязи с маркерами: региональный, жилье, казна, асфальт, инфраструктурный, торговля, переселение, нацпроект.

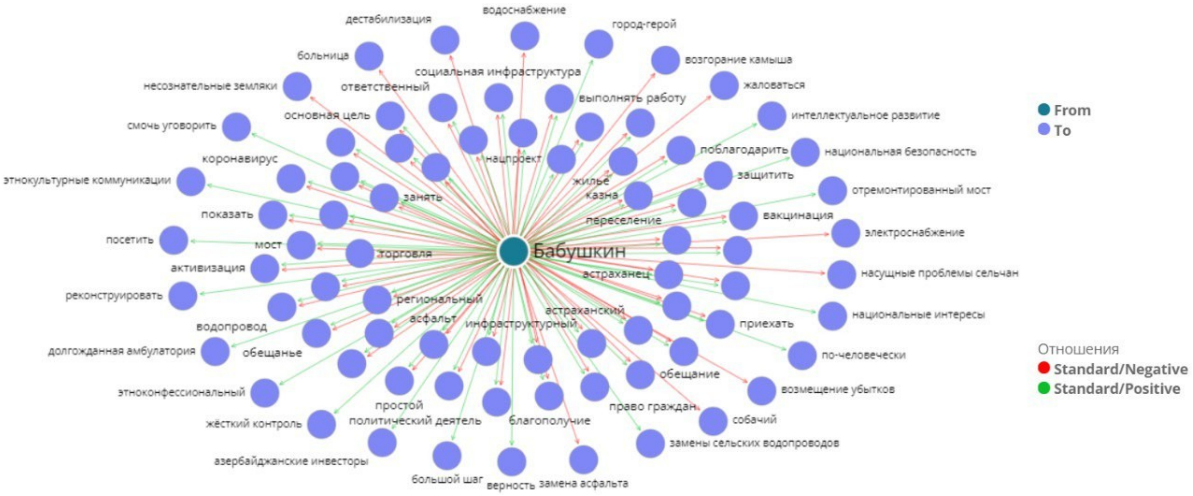


Рисунок 4. Граф упоминаний И.Ю. Бабушкин

Figure 4. Graph of mentions by Igor Yu. Babushkin

На наш взгляд, некоторые маркеры пересекаются с темами, обсуждаемыми пользователями, которые были обозначены выше: жилищный вопрос (жилье, переселение), состояние дорог (асфальт, нацпроект), состояние больниц и поликлиник (инфраструктурный). При этом тональность упоминаний в данных сообщениях в одинаковой степени как негативная, так и позитивная. В основном маркеры, имеющие отношение к выбранной персоне, имеют либо позитивную, либо нейтральную окраску; однако ряд маркеров имеет исключительно негативную тональность: замена асфальта, насущные проблемы сельчан, собачий, больница, электроснабжение, социальная инфраструктура и др. Связь данных маркеров с выбранной персоной, возможно, является попыткой пользователей привлечь внимание губернатора к решению данных проблем посредством упоминания его личности и описания проблемы в одном комментарии и/или сообщении.

Доминирующими сферами недовольства в ближнем круге упоминаний являются дороги, инфраструктура и льготное жилье. Примеры релевантных нарративов: «Людей бесят уже ямы на дорогах…»; «…нет транспорта, чтобы уехать после работы…»; «…горы мусора, которые никто не убирает»; «…ждем

свою квартиру уже много лет, а власти все обещают…». В дальнем круге наибольшим недовольством обладают следующие маркеры: здравоохранение, водоснабжение, проблемы сельчан и собаки. Примеры релевантных нарративов: «когда начнут выделять лекарства?», «некомпетентные врачи в селах», «сломалась водокачка, никто не делает…», «за мной гналась стая собак», «…слишком много развелось бродячих собак».

Следующей наиболее упоминаемой в текстовых данных персоной стал нынешний глава МО «Город Астрахань» О.А. Полумордвинов. В данном случае анализ тональностей текстов показал негативную окраску практически по всем маркерам (см. рис. 5).

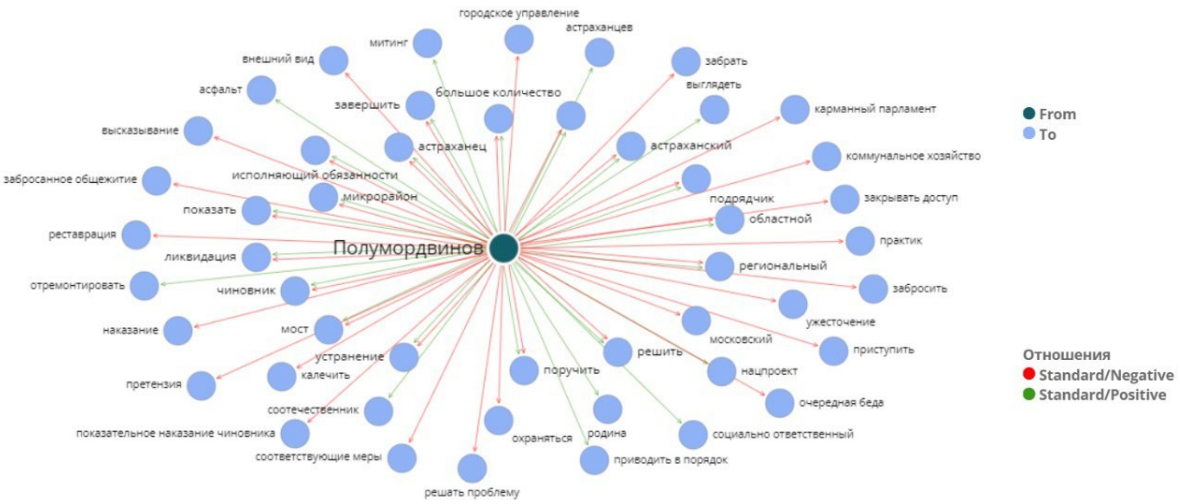


Рисунок 5. Граф упоминаний О. А. Полумордвинов

Figure 5. Graph of mentions by Oleg A. Polumordvinov

Среди проблем, высказанных пользователями городских сообществ, часто артикулируются проблемы с программой переселения из аварийных домов, вывозом мусора, недостаточным освещением дворов и улиц, прорванными трубами; главными объектами недовольства в этом контексте выступают управляющие организации и глава города, игнорирующие, по мнению пользователей социальных медиа, данные проблемы.

Возможно, подобное отношение пользователей к данной персоне связано с непродолжительным пребыванием в должности главы города (с 29 апреля 2022 г.), что отчасти подтверждается сравнением с графом упоминания предшественника (М. Н. Пермякова), где позитивная тональность текстов значительно выше (см. рис. 6). Нами также не исключается версия того, что такое отношение к деятельности нынешнего главы города вызвано неэффективностью его работы и, соответственно, недоверием жителей города к его персоне. Однако для подтверждения/опровержения данной гипотезы необходимо

проведение дополнительных эмпирических работ, в частности, комплекс социологических исследований.

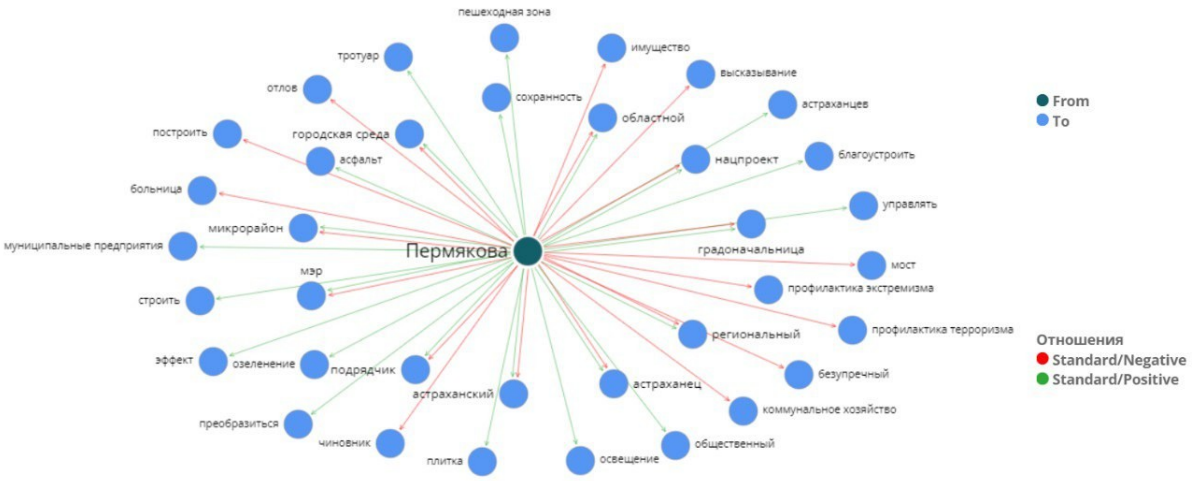


Рисунок 6. Граф упоминаний М.Н. Пермякова

Figure 6. Graph of mentions by Mariya N. Permyakova

В ходе выполнения следующего этапа исследования был построен Индекс субъективного (не)благополучия. В ходе выполнения следующего этапа исследования был построен Индекс субъективного (не)благополучия.

Дополнительно в рамках данной статьи авторами был построен Индекс субъективного (не)благополучия. Поскольку достаточно хорошо известно, что пользователи социальных медиа склонны активнее реагировать на сообщения негативной тональности (Trussler & Soroka, 2014; Liebrecht & et al., 2019), субъективная оценка фокусируется на сообщениях, содержащих отрицательную информацию. Таким образом, данный метод дает оценку скорее субъективному восприятию «неблагополучия» в регионе. Исследовательский коллектив под руководством Е. В. Щекотина назвали данный инструмент «индекс субъективного неблагополучия» (ИСНБ) (Щекотин и др., 2020).

Опираясь на их масштабное исследование, было принято решение применить разработанную ими формулу для расчета ИСНБ для районов Астраханской области:

$$I_{kjt} = \frac{A_{kjt}}{B_k}$$

где I_{kjt} – это величина Индекса субъективного неблагополучия для региона (k) по данному показателю субъективного благополучия (j) для определенной тональности сообщения t; A_{kjt} – показатель онлайн-активности в данном

регионе по определенному показателю субъективного благополучия, который, в свою очередь, рассчитывается по формуле

$$\mathbf{Akjt = L + 2C + 5R}$$

где L – сумма лайков, которую собрали сообщения, относящиеся к определенному показателю субъективного благополучия, в данном регионе в определенной тональности; C – количество комментариев, которые собрали сообщения, относящиеся к определенному показателю субъективного благополучия, в данном регионе; R – количество репостов сообщений, относящихся к определенному показателю субъективного благополучия в данном регионе. Опираясь на исследование наших коллег, мы также приравнивали каждый комментарий к двум лайкам[1], а репост к пяти лайкам[2].

B_k – общее количество подписчиков во всех отобранных сообществах конкретного региона. Данный показатель позволяет нам оценить относительную величину онлайн активности для Астраханской области.

k – количество регионов (1).

j – категория (тематика) сообщения, т. е. компонент благополучия, который мы включили в модель субъективного благополучия (8, См. Табл. 3).

t – тональность сообщения (0, 1 или 2).

В рамках данного исследования был калькулирован индекс по каждому показателю и каждой тональности по годам, далее рассчитано среднегодовое значение по каждой категории и каждой тональности. Путем вычитания средних значений индекса для положительной и отрицательной тональности была определена средняя величина индекса субъективного благополучия $ИСНБ_{kj}$ для каждого района области по конкретной тематике/показателю благополучия. Сообщения нейтральной тональности не использовались при расчете индекса субъективного благополучия. Итоговое значение индекса субъективного (не)благополучия $ИСНБ_{ит}$ рассчитывалось как сумма индекса по всем тематикам/показателям благополучия для каждого из районов Астраханской области.

На представленном ниже графике можно отметить, что наибольшее отрицательное значение индекса субъективного благополучия наблюдаются в следующих регионах: Приволжский район, Наримановский район и Ахтубинский район (см. Рис. 7).

1 Лайк – это активное действие пользователя, которое свидетельствует об особой актуальности тематики поста для комментатора. В этом случае лайк – это пассивная форма выражения поддержки данного сообщения (см: Щекотин и др., 2020).

2 Репост свидетельствует о полной и активной поддержке пользователем данной публикации. Такое действие означает, что пользователь не просто выражает свое согласие с сообщением, но и публично демонстрирует среди своих друзей и подписчиков свою солидарность (см: Щекотин и др., 2020).

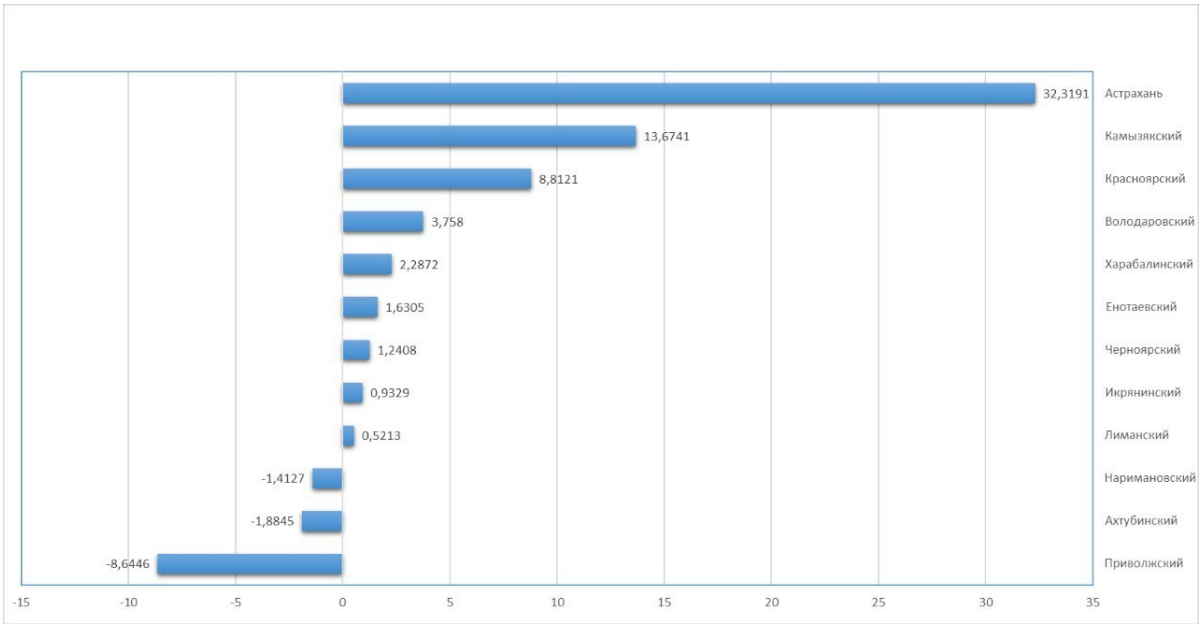


Рисунок 7. Индекс субъективного (не)благополучия Астраханской области за 2022 г. (результаты умножены на 100 для удобства восприятия)[3]

Figure 7. Index of subjective (not) well-being of the Astrakhan region for 2022 (results multiplied by 100 for readability)

На наш взгляд, отрицательный индекс в данных трёх регионах связан с различными проблемами районов в сфере коммунальных услуг: частые отключения электроэнергии, перебои с подачей воды населению муниципалитетов, а также ветхое состояние объектов инфраструктуры (Приволжский район); повешением стоимости проезда в общественном транспорте (Ахтубинский район), что послужило поводом для народного пикета в ноябре 2022 года; а основными проблемами Наримановского района являются: плохое состояние дорог и увеличение количества бродячих собак, что одновременно представляется насущной проблемой для всех районов области.

В рамках проведенного исследования по данным Астраханской области, собранным в социальной сети ВКонтакте, была также создана GIS-карта с визуализацией эмоциональной окраски постов с разбивкой на районы области (см. Рис. 8). Отметим, что данные эмоциональности постов с GIS-карты являются практически идентичными с данными ИСНБ, что может говорить о правильности рассчитанных нами данных с возможными незначительными отклонениями.

3 Из расчетов были удалены данные из ЗАТО Знаменск по причине слишком малого количества данных, что делает результаты данного района нерепрезентативными

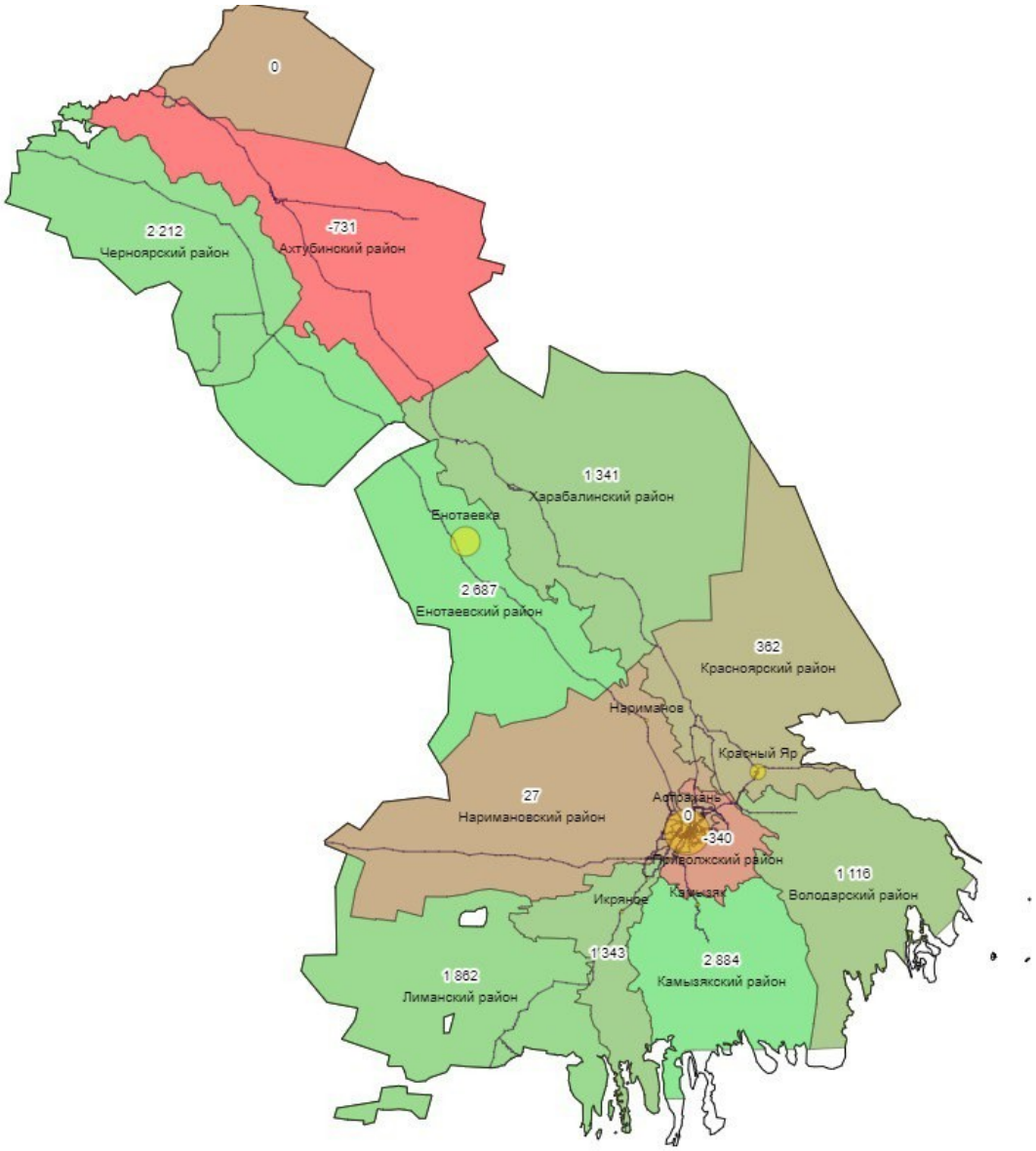


Рисунок 8. GIS-карта эмоциональной окраски постов из социальной сети ВКонтакте за 2022 год

Figure 8. GIS-map of the emotional coloring of posts from the social network VKontakte for 2022

В результате проведенного анализа стало необходимо визуализировать полученные результаты для их наглядного представления; например, это вывод различных диаграмм, графиков, графов, облаков слов, тепловых карт, матриц. Платформа PolyAnalyst позволяет создавать интерактивные дашборды, с возможностью их интеграции на web-ресурсы пользователя. Поэтому в рамках данного исследования по данным Астраханской области, собранным в социальной сети ВКонтакте за 3 года, был также создан интерактивный дашборд, где были выведены: GIS-карта с визуализацией эмоцио-

нальной окраски постов с разбивкой на районы области, статистика положительной и отрицательной окраски постов в ретроспективе за последние 3 года, граф часто встречающихся слов, которые применяются по отношению к сущности «Астраханская область». Также отдельно были выделены популярные личности, которые упоминаются в постах.

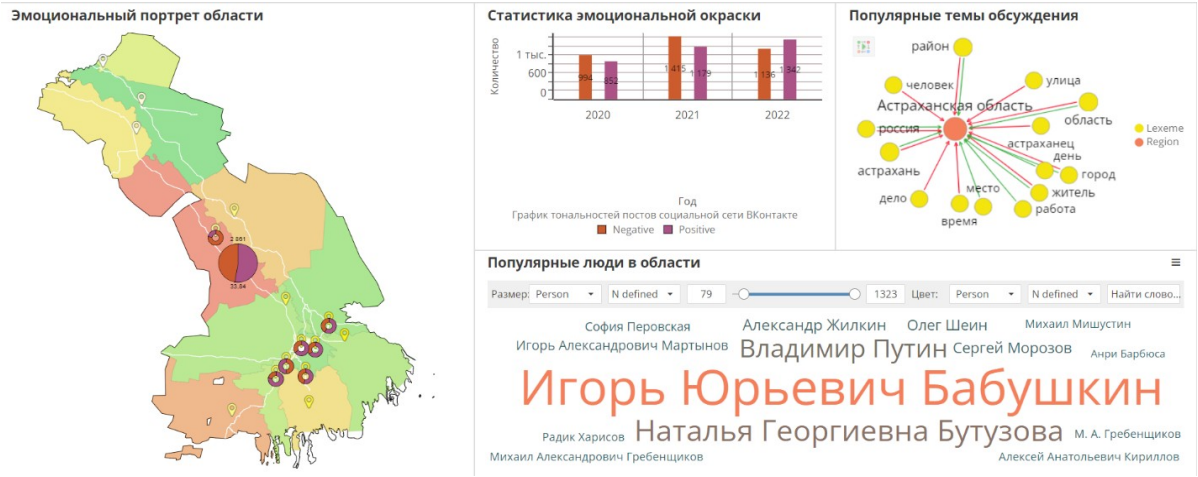


Рисунок 9. Визуализация результатов анализа данных

Figure 9. Visualization of data analysis results

Данный отчёт является полностью интерактивным. Он позволяет подробнее увидеть статистику по каждому району, изучить частоту слов, встречающихся в тексте, настроить количество отображаемых узлов и связей графа. Расположение элементов отчёта выбирается администратором проекта.

Заключение

Использование социальных медиа в целях обсуждения региональных проблем в настоящее время – необходимость, которую диктует информационное общество. Выход в онлайн-пространство является закономерным этапом развития публичного общественно-политического процесса. Уже сегодня предпринимаются попытки по адаптации различных методов и подходов к использованию социальных медиа в качестве инструмента государственного управления.

Возможности, которыми обладают социальные сети как канал взаимодействия власти с гражданами, чрезвычайно широки. Географическая маркировка сообщений, категоризация сообщений по темам, выявление актуальных региональных проблем, анализ отношения граждан к региональным политическим деятелям, а также идентификация информационных угроз – это примеры аспектов, которые могут быть полезными для целей государственного управления. Отдельное внимание сегодня уделяется решениям, основанным

на методе мониторинга с последующей надстройкой различных технических возможностей. Такие разработки могут применяться не только для оценки активности граждан в социальных медиа, но и для повышения эффективности работы самих органов государственной власти.

В данной работе представлен относительно новый подход к анализу социальных настроений населения, а также к субъективной оценке благополучия с использованием данных социальных сетей и цифровых методов обработки данных. Измерение качества жизни населения на основе данных, публикуемых в социальных медиа, помогает своевременно фиксировать существующие социальные проблемы жителей регионов России и реагировать на них, в отличие от социологических опросов, которые требуют больше времени для сбора и анализа данных, что часто приводит к неактуальности полученных результатов.

Полученные результаты исследования можно использовать для мониторинга ситуации в регионе, определения проблемных районов, выявления лидеров мнений (популярных личностей региона, оказывающих особое влияние на мнение населения), а также определением наиболее интересующих население тем и актуальных проблем. Своевременное осведомление о происходящих изменениях поведения граждан, информированность о ситуации в регионе в настоящем моменте времени станет полезным инструментом не только для органов управления и власти, но и для исследователей различных сфер жизни общества. Система может быть усовершенствована автоматизацией добавления новых данных в аналитический проект. В перспективе, дополнение системы математическими моделями позволит создавать графики прогнозирования дальнейших изменений в регионе.

Благодарности

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-18-00301 «Процесс конструирования новых идентичностей в Каспийском макрорегионе в контексте социетальной безопасности».

The study was carried out by a grant from the Russian Science Foundation No. 22-18-00301 “The process of constructing new identities in the Caspian macroregion in the context of societal security”.

Список литературы

Ahmed, A., Scheepers, H., & Stockdale, R. (2014). Social Media Research: A Review of Academic Research and Future Research Directions. *Pacific Asia Journal of the Association for Information Systems*, 6, 1, 3. https://doi.org/10.17705/1pais.06102

Algan, Y., Murtin, F., Beasley, E., Higa, K., & Senik, C. (2019). Well-being through the lens of the Internet. *PLoS ONE*, 14(1), e0209562. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0211586

Appel, H., Gerlach, A. L., & Crusius, J. (2016). The interplay between Facebook use, social comparison, envy, and depression. *Current Opinion in Psychology*, 9, 44-49. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2015.10.006

Beck, R., Pahlke, I., & Seebach, C. (2014). Knowledge exchange and symbolic action in social media-enabled electronic networks of practice: A multilevel perspective on knowledge seekers and contributors. *MIS Quarterly*, 38, 4, 1245-1270. https://doi.org/10.25300/MISQ/2014/38.4.14

Bellet, C., & Frijters, P. (2019). Big Data and Well-being. In Helliwell, J., Layard, R., Sachs, J. (Eds.), *World Happiness Report* 2019. New York: Sustainable Development Solutions Network, 97-122.

Chou, H.-T. G., & Edge, N. (2012).'They Are Happier and Having Better Lives than I Am': The Impact of Using Facebook on Perceptions of Others' Lives. *Cyberpsychology, behavior, and social networking*, 15(2), 117-121. https://doi.org/10.1089/cyber.2011.0324

Ciobanu A., & Androniceanu A. (2018). Integrated human resources activities – the solution for performance improvement in Romanian public sector institutions, *Management Research and Practice*, 10(3), 60-79.

Dhall, A., Goecke, R., & Gedeon, T. (2015). Automatic group happiness intensity analysis. *IEEE Transactions on Affective Computing*, 6(1), 13-26. https://doi.org/10.1109/TAFFC. 2015.2397456

Dickinger, A., Arami, M., & Meyer, D. (2008). The role of perceived enjoyment and social norm in the adoption of technology with network externalities. *European Journal of Information Systems*, 17, 1, 4–11. https://doi.org/10.1057/palgrave.ejis.3000726

Durahim, A.O., & Coşkun, M. (2015). # iamhappybecause: Gross National Happiness through Twitter analysis and big data. *Technological Forecasting and Social Change*, 99, 92–105. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.06.035 0040-1625

Hao, B., Li, L., Gao, R., Li, A., & Zhu, T. (2014). Sensing Subjective Well-Being from Social Media. In Ślęzak, D., Schaefer, G., Vuong, S.T., Kim, Y.S. (Eds.), *Active Media Technology*. AMT 2014. *Lecture Notes in Computer Science, vol 8610*. Springer, Cham, 324-335. https://doi.org/10.1007/978-3-319-09912-5_27

Haseeb, M., Hussai, H.I., Kot, S., Androniceanu, A., & Jermsittiparsert, K. (2019). Role of social and technological challenges in achieving a sustainable competitive advantage and sustainable business performance. *Sustainability*, 11(14), 3811. https://doi.org/10.3390/su11143811

Hills, T., Proto, E., & Sgroi, D. (2019). Historical analysis of national subjective well-being using millions of digitized books. *Nature: Human Behaviour*, 3 (12), 1271-1275. https://doi.org/10.1038/s41562-019-0781-5

Lee, K.-T., Noh, M.-J., & Koo, D.-M. (2013). Lonely people are no longer lonely on social networking sites: The mediating role of self-disclosure and social support. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 16 (6), 413-418. https://doi.org/10.1089/cyber.2012.0553

Leonardi, P.M. (2015). Ambient Awareness and Knowledge Acquisition: Using Social Media to Learn "Who Knows What" and "Who Knows Whom". *MIS Quarterly*, 39, 4, 747–762. https://doi.org/10.25300/MISQ/2015/39.4.1

Liebrecht, C., Hustinx, L., & Van Mulken, M. (2019). The relative power of negativity: the influence of language intensity on perceived strength. *Journal of Language and Social Psychology*, 38, 2, 170-193. https://doi.org/10.1177/0261927X18808562

Mische, A. (2011). Relational Sociology. Culture, and Agency. In J. G. Scott, P. J. Carrington (Eds.) *The SAGE Handbook of Social Network Analysis*. SAGE Publications, 80-98.

Smetanin, S. (2020). The Applications of Sentiment Analysis for Russian Language Texts: Current Challenges and Future Perspectives. *IEEE Access*, 8, 110693-110719. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3002215

Sabatini, F., & Sarracino, F. (2017). Online Networks and Subjective Well-Being. *Kyklos*, 70(3), 456-480. https://doi.org/10.1111/kykl.12145

Schwartz, H.A., Sap, M., Kern, M.L., Eichstaedt, J.C., Kapelner, A., Agrawal, M., Blanco, E., Dziurzynski, L., Park, G., Stillwell, D., Kosinski, M., Seligman, M.E., & Ungar, L.H. (2016). Predicting individual well-being through the language of social media. *Pacific Symposium on Biocomputing*, 21, 516-527. https://doi.org/10.1142/97898147 49411_0047

Song, H., Zmyslinski-Seelig, A., Kim, J., Drent, A., Victor, A., Omori, K., & Allen, M. (2014). Does Facebook make you lonely?: A meta analysis. *Computers in Human Behavior*, 36, 446-452. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.04.011

Trussler, M., & Soroka, S. (2014). Consumer demand for cynical and negative news frames. *The International Journal of Press. Politics*, 19, 3, 360-379. https://doi.org/10.1177/1940161214524832

Valenzuela, S., Halpern, D., & Katz, J.E. (2014). Social network sites, marriage well-being and divorce: Survey and state-level evidence from the United States. *Computers in Human Behavior*, 36, 94-101. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.03.034

Van Dijk, J. (2006). *The network society. social aspects of new media*. London, SAGE Publ., 300 p.

Verduyn, P., Ybarra, O., Resibois, M., Jonides, J., & Kross, E. (2017). Do social network sites enhance or undermine subjective well-being? A critical review. *Social Issues and Policy Review*, 11(1), 274-302. https://doi.org/10.1111/sipr.12033

Wu, K., Ma, J., Chen, Z., & Ren, P. (2015). Analysis of Subjective City Happiness Index Based on Large Scale Microblog Data. In Cheng, R., Cui, B., Zhang, Z., Cai, R., & Xu, J. (Eds.), *Web Technologies and Applications. APWeb 2015.* Lecture Notes in Computer Science, 9313. Springer, Cham, 365-377. https://doi.org/10.1007/978-3-319-25255-1_30

Абдуллаева, Р.А. (2015). Анализ влияния социальных сетей на жизнь современного общества. *Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований*, 9 (3), 542-546.

Беленкова, Л.М., & Белоконев, С.Ю. (2020). Социальные сети в информационной политике: формирование имиджа федеральных органов исполнительной власти. *Гражданин. Выборы. Власть*, 1(15), 92-102.

Богданова, А.В., Александрова, Ю.К., Орлова, В.В., Петров, Е.Ю., & Глазова, В.Ф. (2022). Исследование динамики мнений студентов в условиях перехода к онлайн-обучению на основе данных социальных сетей. *Высшее образование в России*, 31, 6, 77–91. https://doi.org/10.31992/0869-3617-2022-31-6-77-91

Галоян, О. Т., & Ерохина, Е.В. (2020). Методы и техники анализа больших данных. *Тенденции развития науки и образования*, 62-10, 24-27.

Губа, Е. (2018). Большие данные в социологии: новые данные, новая социология? *Социологическое обозрение*, 17, 1, 213-236.

Есиев, Э.Т. (2021). Интернет-технологии политической мобилизации в белорусских протестах на предвыборном этапе. *Вестник Московского государственного областного университета*, 2, 23-37. https://doi.org/10.18384/2224-0209-2021-2-1067

Зимова, Н.С., Фомин, Е.В., & Смагина А.А. (2020). Социальные сети как новый канал взаимодействия общества и власти. *Научный результат. Социология и управление*, 2, 159-171.

Мальцева, Д.В. (2014). Реляционная социология: новый этап в развитии анализа социальных сетей или самостоятельное направление? Мониторинг, 4(122), 3-14. https://doi.org/10.14515/monitoring.2014.4.01

Марьенков, А.Н., & Кривенко, А.И. (2022). Сбор и обработка текстовых данных в контексте оценки социальных настроений: методологические аспекты. *Инженерный вестник Дона*, 7(91),101-120.

Прокофьева, А.В., & Романова, М.Д. (2017). О некоторых вопросах использования больших данных в урбанистической социологии. *Актуальные проблемы развития человеческого потенциала в современном обществе*. Пермь: Пермский государственный университет.

Рябченко, Н.А., Гнедаш, А.А., Малышева, О.П., Шестакова, А.А., & Николаева, М.В. (2019). Социально-политический контент и региональный дискурс в современной России: что обсуждают граждане в online-пространстве, и что предлагают кандидаты на пост губернатора в предвыборных программах (точки пересечения и линии разлома). *Южно-российский журнал социальных наук*, 20, 4, 27-48. https://doi.org/10.31429/26190567-20-4-27-48

Справка по PDL. https://pa.data.tsu.ru:5043/polyanalyst/help/rus/15_PDL__reference/toc.html

Справка по SRL. https://pa.data.tsu.ru:5043/polyanalyst/help/rus/14_SRL_reference/toc.html

Справочник API. https://dev.vk.com/reference/roadmap

Щекотин, Е.В., Коварж, Г.Ю., Гойко, В.Л., Петров, Е.Ю., & Бакулин, В.В. (2020). Оценка качества жизни населения регионов РФ на основе цифровых данных: методологические аспекты. *Векторы благополучия: экономика и социум*, 3(38), 138-156. https://doi.org/10.18799/26584956/2020/3(38)/1020

Ярмак, О.В., Жаркова, Т.В., & Саркисов, Д.Г. (2022). Использование больших данных в междисциплинарных исследованиях на примере макрорегиона Большое Средиземноморье. *Цифровая социология*, 5, 3, 24–30. https://doi.org/10.26425/2658-347X-2022-5-3-24-30

References

Abdullaeva, R.A. (2015). Analysis of the impact of social networks on the life of modern society. *International Journal of Applied and Basic Research*, 9(3), 542-546. (In Russian).

Ahmed, A., Scheepers, H., & Stockdale, R. (2014). Social Media Research: A Review of Academic Research and Future Research Directions. *Pacific Asia Journal of the Association for Information Systems*, 6, 1, 3. https://doi.org/10.17705/1pais.06102

Algan, Y., Murtin, F., Beasley, E., Higa, K., & Senik, C. (2019). Well-being through the lens of the Internet. *PLoS ONE*, 14(1), e0209562. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0211586

API Reference. https://dev.vk.com/reference/roadmap (In Russian).

Appel, H., Gerlach, A. L., & Crusius, J. (2016). The interplay between Facebook use, social comparison, envy, and depression. *Current Opinion in Psychology*, 9, 44-49. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2015.10.006

Beck, R., Pahlke, I., & Seebach, C. (2014). Knowledge exchange and symbolic action in social media-enabled electronic networks of practice: A multilevel perspective on knowledge seekers and contributors. *MIS Quarterly*, 38, 4, 1245-1270. https://doi.org/10.25300/MISQ/2014/38.4.14

Belenkova, L.M., & Belokonev, S.Yu. (2020). Social networks in information policy: formation of the image of federal executive authorities. *Citizen. Elections. Power*, 1(15), 92-102. (In Russian).

Bellet, C., & Frijters, P. (2019). Big Data and Well-being. In Helliwell, J., Layard, R., Sachs, J. (Eds.), *World Happiness Report 2019*. New York: Sustainable Development Solutions Network, 97-122.

Bogdanova, A.V., Aleksandrova, Yu.K., Orlova, V.V., Petrov, E.Yu., & Glazova, V.F. (2022). Study of the dynamics of students' opinions in the context of the transition to online learning based on social network data. *Higher education in Russia*, 31, 6, 77–91. https://doi.org/10.31992/0869-3617-2022-31-6-77-91 (In Russian).

Chou, H.-T. G., & Edge, N. (2012).'They Are Happier and Having Better Lives than I Am': The Impact of Using Facebook on Perceptions of Others' Lives. *Cyberpsychology, behavior, and social networking*, 15(2), 117-121. https://doi.org/10.1089/cyber.2011.0324

Ciobanu A., & Androniceanu A. (2018). Integrated human resources activities – the solution for performance improvement in Romanian public sector institutions, *Management Research and Practice*, 10(3), 60-79.

Dhall, A., Goecke, R., & Gedeon, T. (2015). Automatic group happiness intensity analysis. *IEEE Transactions on Affective Computing*, 6(1), 13-26. https://doi.org/10.1109/TAFFC. 2015.2397456

Dickinger, A., Arami, M., & Meyer, D. (2008). The role of perceived enjoyment and social norm in the adoption of technology with network externalities. *European Journal of Information Systems*, 17, 1, 4–11. https://doi.org/10.1057/palgrave.ejis.3000726

Durahim, A.O., & Coşkun, M. (2015). # iamhappybecause: Gross National Happiness through Twitter analysis and big data. *Technological Forecasting and Social Change*, 99, 92–105. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.06.035 0040-1625

Esiev, E.T. (2021). Internet technologies of political mobilization in Belarusian protests at the pre-election stage. *Bulletin of the Moscow State Regional University*, 2, 23-37. https://doi.org/10.18384/2224-0209-2021-2-1067 (In Russian).

Galoyan, O. T., & Erokhina, E.V. (2020). Methods and techniques for big data analysis. *Trends in the development of science and education*, 62-10, 24-27. (In Russian).

Guba, E. (2018). Big data in sociology: new data, new sociology? *Sociological Review*, 17, 1, 213-236. (In Russian).

Hao, B., Li, L., Gao, R., Li, A., & Zhu, T. (2014). Sensing Subjective Well-Being from Social Media. In Ślęzak, D., Schaefer, G., Vuong, S.T., Kim, Y.S. (Eds.), *Active Media Technology. AMT 2014. Lecture Notes in Computer Science, vol 8610*. Springer, Cham, 324-335. https://doi.org/10.1007/978-3-319-09912-5_27

Haseeb, M., Hussai, H.I., Kot, S., Androniceanu, A., & Jermsittiparsert, K. (2019). Role of social and technological challenges in achieving a sustainable competitive advantage and sustainable business performance. *Sustainability*, 11(14), 3811. https://doi.org/10.3390/su11143811

Hills, T., Proto, E., & Sgroi, D. (2019). Historical analysis of national subjective well-being using millions of digitized books. *Nature: Human Behaviour*, 3 (12), 1271-1275. https://doi.org/10.1038/s41562-019-0781-5

Lee, K.-T., Noh, M.-J., & Koo, D.-M. (2013). Lonely people are no longer lonely on social networking sites: The mediating role of self-disclosure and social support. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 16 (6), 413-418. https://doi.org/10.1089/cyber.2012.0553

Leonardi, P.M. (2015). Ambient Awareness and Knowledge Acquisition: Using Social Media to Learn "Who Knows What" and "Who Knows Whom". *MIS Quarterly*, 39, 4, 747–762. https://doi.org/10.25300/MISQ/2015/39.4.1

Liebrecht, C., Hustinx, L., & Van Mulken, M. (2019). The relative power of negativity: the influence of language intensity on perceived strength. *Journal of Language and Social Psychology*, 38, 2, 170-193. https://doi.org/10.1177/0261927X18808562

Maltseva, D.V. (2014). Relational sociology: a new stage in the development of social network analysis or an independent direction? *Monitoring*, 4(122), 3-14. https://doi.org/10.14515/monitoring.2014.4.01 (In Russian).

Mar'enkov, A.N., & Krivenko, A.I. (2022). Collection and processing of textual data in the context of social sentiment assessment: methodological aspects. *Engineering Bulletin of the Don*, 7(91), 101-120.

Mische, A. (2011). Relational Sociology. Culture, and Agency. In J. G. Scott, P. J. Carrington (Eds.) *The SAGE Handbook of Social Network Analysis*. SAGE Publications, 80-98.

PDL Help. https://pa.data.tsu.ru:5043/polyanalyst/help/rus/15PDLreference/toc. html (In Russian).

Prokofiev, A.V., & Romanova, M.D. (2017). On some issues of using big data in urban sociology. *Actual problems of human development in modern society*. Perm: Perm State University. (In Russian).

Ryabchenko, N.A., Gnedash, A.A., Malysheva, O.P., Shestakova, A.A., & Nikolaeva, M.V. (2019). Socio-political content and regional discourse in modern Russia: what citizens discuss online and what candidates for governor propose in their election programs (intersection points and fault lines). *South Russian Journal of Social Sciences*, 20, 4, 27-48. https://doi.org/10.31429/26190567-20-4-27-48 (In Russian).

Sabatini, F., & Sarracino, F. (2017). Online Networks and Subjective Well-Being. *Kyklos*, 70(3), 456-480. https://doi.org/10.1111/kykl.12145

Schwartz, H.A., Sap, M., Kern, M.L., Eichstaedt, J.C., Kapelner, A., Agrawal, M., Blanco, E., Dziurzynski, L., Park, G., Stillwell, D., Kosinski, M., Seligman, M.E., & Ungar, L.H. (2016). Predicting individual well-being through the language of social media. *Pacific Symposium on Biocomputing*, 21, 516-527. https://doi.org/10.1142/97898147 49411_0047

Shchekotin, E.V., Kovarzh, G.Yu., Goiko, V.L., Petrov, E.Yu., & Bakulin, V.V. (2020). Assessment of the quality of life of the population of the regions of the Russian Federation on the basis of digital data: methodological aspects. *Vectors of well-being: economics and society*, 3(38), 138-156. https://doi.org/10.18799/26584956/2020/3(38)/1020 (In Russian).

Smetanin, S. (2020). The Applications of Sentiment Analysis for Russian Language Texts: Current Challenges and Future Perspectives. *IEEE Access*, 8, 110693-110719. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3002215

Song, H., Zmyslinski-Seelig, A., Kim, J., Drent, A., Victor, A., Omori, K., & Allen, M. (2014). Does Facebook make you lonely?: A meta analysis. *Computers in Human Behavior*, 36, 446-452. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.04.011

SRL Help. https://pa.data.tsu.ru:5043/polyanalyst/help/rus/14_SRL_reference/toc. html (In Russian).

Trussler, M., & Soroka, S. (2014). Consumer demand for cynical and negative news frames. *The International Journal of Press. Politics*, 19, 3, 360-379. https://doi.org/10.1177/1940161214524832

Valenzuela, S., Halpern, D., & Katz, J.E. (2014). Social network sites, marriage well-being and divorce: Survey and state-level evidence from the United States. *Computers in Human Behavior*, *36*, 94-101. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.03.034

Van Dijk, J. (2006). *The network society. social aspects of new media*. London, SAGE Publ., 300 p.

Verduyn, P., Ybarra, O., Resibois, M., Jonides, J., & Kross, E. (2017). Do social network sites enhance or undermine subjective well-being? A critical review. *Social Issues and Policy Review*, *11*(1), 274-302. https://doi.org/10.1111/sipr.12033

Wu, K., Ma, J., Chen, Z., & Ren, P. (2015). Analysis of Subjective City Happiness Index Based on Large Scale Microblog Data. In Cheng, R., Cui, B., Zhang, Z., Cai, R., & Xu, J. (Eds.), *Web Technologies and Applications. APWeb 2015.* Lecture Notes in Computer Science, 9313. Springer, Cham, 365-377. https://doi.org/10.1007/978-3-319-25255-1_30

Yarmak, O.V., Zharkova, T.V., & Sarkisov, D.G. (2022). The use of big data in interdisciplinary research on the example of the Greater Mediterranean macroregion. *Digital Sociology*, 5, 3, 24–30. https://doi.org/10.26425/2658-347X-2022-5-3-24-30 (In Russian).

Zimova, N.S., Fomin, E.V., & Smagina A.A. (2020). Social networks as a new channel for interaction between society and government. scientific result. *Sociology and Management*, *2*, 159-171. (In Russian).

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2023. No 3 | ISSN: 2658-7734
Исследования игр | https://doi.org/10.46539/gmd.v5i3.389

Video Game Music and Cultural Dissemination: A Study of Honour of Kings as a MOBA Game

Fan Li[1] & Liuyan Song[2]

Universiti Putra Malaysia. Serdang, Selangor, Malaysia

Received: 19 April 2023 | Revised: 14 July 2023 | Accepted: 29 July 2023

Abstract

As the internationally one of the most-played multiplayer online battle arena (MOBA) game, Honour of Kings (HoK) has created a unique cultural phenomenon apart from its gaming appeal. HoK weaves its aesthetically-pleasing game character, plot, scene, background, and music with Chinese traditional culture (CTC) elements. This contributes to popularise CTC across the world and Chinese music works, accordingly. Therefore, this article starts with the CTC elements and music works in HoK and explores the effect of Video Game Music (VGM) on cultural dissemination. Further, it explores the new ways and trends of traditional culture transmission. Lastly, this article comprehensively discusses the current problems and solutions of cultural and musical promulgation in games. It can be explained that the effort in terms of VGM composition would contribute to the HoK game develop better. These findings can also provide research ideas for developing VGM in Chinese style.

Keywords

Video Game Music; Honour of Kings; Chinese Traditional Culture; Cultural Dissemination; Popular Music

This work is licensed under a Creative Commons "Attribution" 4.0 International License

1 Email: gs58223[at]student.upm.edu.my. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3446-9854
2 Email: gs60563[at]student.upm.edu.my. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0388-7682

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2023. No 3 | ISSN: 2658-7734
Game Studies | https://doi.org/10.46539/gmd.v5i3.389

Музыка видеоигр и культурное распространение: исследование MOBA-игры “Honour of Kings”

Ли Фань[1] & Сонг Люянь[2]

Университет Путра Малайзия. Серданг, Селангор, Малайзия

Рукопись получена: 19 апреля 2023 | Пересмотрена: 14 июля 2023 | Принята: 29 июля 2023

Аннотация

Будучи одной из самых популярных многопользовательских онлайн-боевых арен (MOBA) в мире, “Honour of Kings” (HoK) создала уникальное культурное явление, отличное от её игровой привлекательности. HoK сочетает в себе эстетически приятные игровые персонажи, сюжет, сцену, фон и музыку с элементами китайской традиционной культуры (КТК). Это способствует популяризации КТК во всем мире и китайских музыкальных произведений. Поэтому данная статья начинается с элементов КТК и музыкальных произведений в HoK и исследует влияние музыки видеоигр на культурное распространение. Далее рассматриваются новые способы и тенденции передачи традиционной культуры. Наконец, в статье комплексно обсуждаются текущие проблемы и решения культурного и музыкального распространения в играх. Можно утверждать, что усилия в области композиции музыки видеоигр способствуют лучшему развитию игры HoK. Эти выводы также могут предоставить идеи для исследования музыки видеоигр в китайском стиле.

Ключевые слова

музыка видеоигр; Honour of Kings; китайская традиционная культура; культурное распространение; популярная музыка

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons “Attribution” («Атрибуция»)4.0 Всемирная

1 Email: gs58223[at]student.upm.edu.my. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3446-9854
2 Email: gs60563[at]student.upm.edu.my. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0388-7682

Introduction

Video Game Music (VGM) plays a very important role in the gaming experience: it has certain artistic value while improving the competitiveness of the game. The Honour of Kings (HoK) is regarded as one of the most popular and the most-played multiplayer online battle arena (MOBA) mobile game in China (Ye et al., 2020). It was developed by TiMi Studio Group, which belongs to Tencent Games in Chinese mainland. As the China's internet giant, the game has proven a huge commercial success (Yao & Chen, 2022), while it inadvertently promoted the China's soft power as a carrier of culture. It can help to spread Chinese Traditional Culture (CTC) worldwide through game elements, like character design. Along with the game comes a virtual world rooted in traditional Chinese history and culture unparalleled game and social relationship chain (Liboriussen & Martin, 2020). In the context of the era of mobile internet and digital entertainment, every game player is finding the right role for his/her own in HoK. Mainly, the game is not overly complicated to play and implant some historical and social events and figures in ancient China by presenting them in an interesting and interactive way with modern perspective. Also, some background music and songs become popular and are increasingly familiar to the player. Thus, HoK currently as a popular mobile game is carrying forward CTC, embodying oriental aesthetics, and interpreting classical Chinese stories and cultures. This phenomenon has gone beyond the gaming industry itself and is worthy of conducting to study. Surely, VGM, as an atmosphere aid throughout the game, is undoubtedly the key to the success of the future of interactive gaming.

Music and sound effects act a pivotal role in a gaming experience. They can improve the game's recognition, immersion, and competitiveness and also generate certain artistic value along the way (Marks, 2009; Collins, 2013; Laine & Suk, 2016). Indeed, VGM needs to construct a kind of specific gaming environment and mood, and it is challenging to compose. It can be described that VGM is an important component of online games and may provide musicality to the game (Cavanagh, 2020) and enhance its storytelling process (Somerdin, 2016). However, due to the relatively short development time, the online game industry is in absence of professional talents, development concepts, and industrial standards. Some issues have been noted in the Chinese game music market, including homogenous, rough production, infringement and piracy, which hinder the production and development of VGM. In recent years, led by some internet giants, Chinese game industries are promoting the domestic gaming projects by supporting more in game development, function, production, and VGM. However, there are relatively few studies analyzing the VGM of HoK from the perspective of the game music industry's development.

This article adopts a mixed-methods design, encompassing questionnaire surveys and content analysis. The questionnaire survey aims to gather players' opinions and perceptions regarding music and cultural dissemination in the game HoK.

To achieve this objective, a questionnaire is designed, covering players' cognition, acceptance, and satisfaction towards CTC elements in the game, as well as the current status of VGM circulation. A total of 300 questionnaires are distributed, yielding 278 valid responses. Quantitative analysis methods are subsequently applied to process the questionnaire data, including calculating frequencies, proportions, and means. The analysis of questionnaire results provides insights into players' attitudes and opinions towards the music and cultural promulgation in the game.

Additionally, content analysis is employed to explore the game's music and cultural elements. Specific game elements in HoK are selected for content analysis, such as music scores, character settings, character skills, and scene designs. Relevant data, including in-game music files, character introductions, and game screenshots, serve as the basis for content analysis. This enables an in-depth analysis of the effects and impacts of music and cultural elements on cultural spread in the game. By integrating the results from the questionnaire survey and content analysis, a comprehensive analysis of the effects and influences of music and cultural propagation in the game HoK is conducted. Building upon the findings, strategies and recommendations for the development of the game music industry are proposed, offering research insights to inform the future development of Chinese-style game music. This article contributes to a better understanding of the role of music and cultural elements in enhancing players' experiences and cultural diffusion within the gaming context.

Literature Review

Studying games has always been a concern and it is also an important academic field. With topics ranging from early classics like Donkey Kong and Super Mario Bros. to hits in global like Plants vs. Zombies drew on the scholarly fields of musicology and music theory, film theory, and game studies, to investigate the history, function, style, and conventions of VGM (Donnelly et. al., 2014). Hart (2014) discussed a VGM analysis that incorporates a performative approach to interactivity. Johnston (2014) staked out the territory covering, refreshing and challenging many assumptions regarding sound and digital media in games. Juul (2007) attempted to seek the historical development of the casual game to explore how their game design has evolved over time, and to discuss the opposing perspectives that players and developers have on video game history.

Yu et. al. (2018) introduced MOBA-Slice, a time slice-based evaluation framework of relative advantage between teams in Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) games. Zhang et. al. (2019) presented a novel hierarchical reinforcement learning model for mastering MOBA games, a sub-genre of RTS games. Nuyens et al. (2016) investigated the associations between impulsivity and symptoms of addictive use of MOBA games in a sample of highly involved League of Legends (LoL, currently the most popular MOBA game) gamers. Abbasi et al. (2022) discussed the factors

that lead to the consumption of MOBA games, which was to facilitate understanding of how to convert free players to paid consumers in free-to-play games.

Park (2020) argued that VGM, video games, or classic characters could offer scholars, practitioners, and fans a shared resource library. The original VGM might lead the players to a new life experience. Bates and Bennett (2018) analyzed music and sound composition in several different fields and reviewed several theoretical frameworks and methods. In the 21st century, music composition has been integrated with multimedia techniques, pointing out a new direction for the game music industry. Cayari (2021) suggested an online music composition and online participation theory by applying new-generation multimedia technologies. The proposed theory was applied to pop music education as a new cultural practice. The findings inspired online music education and the broadcasting of cultural elements in music better.

Some scholars have focused on different aspects of the research in the game HoK in recent years. For example, He and Choi (2020) analyzed game characters in HoK from a visual arts perspective. It is argued that successful characterization not only attracts the attention of players, but also plays an appropriate role in spreading culture. Meng and Peng (2021) explored the integration of Chinese history and culture with the cultural attributes of the HoK game itself through a semiotic perspective, coding game characters.

However, it is manifest that the current literature on HoK and its relevant cultural elements lacks systematic and theoretical research and thinking. Although some studies have explored its commerciality and its position in the gaming scope from a cross-cultural perspective, still the research on the VGM and its effect on cultural circulation is rare. Therefore, it is necessary to deeply understand the game's cultural propagation mechanism from the perspective of VGM. This article is believed to help develop the game music industry and cultural dissemination research. To this end, this article classifies the VGM in HoK, analyzes the transmission mechanism and effect of music, and investigates the basic situation of the game players.

Research Methods and Content Analysis

The Types of CTC Elements Embodied in HoK

HoK adopts the concept of the new culture, extends and spreads its thinking with the help of heroes rooted in Chinese history, and integrates different types of culture and music through the game. Game characters are created in a way to attract players through their heroic identities based on famous Chinese history (or stories). Players acknowledge that the game gives them a strong role-play feeling thanks to the elaborate and elegantly-set background stories of their heroes. This adds up to the interestingness of the game and the uniqueness of the character's personality while at the same time helping players to understand CTC. It is reported that many foreigners get interested in learning CTC for the sake of

the game. For commercial purposes, the game developers attract players to buy some high-aesthetic hero skins or by participating in official activities instead of offering them freely by exquisite design and creativity (Wang, 2021). The skin design is extremely rich in styles, most popular is the Chinese ethnic style series. Every skin is designed with a combination of some local cultures and unique cultural Intellectual Property (IP). Thus, this skin-selling strategy not only increases gaming experience and game revenue but also stimulates many players' interest in CTC in a very intuitive way. For example, Figure 1 illustrates the skin 'Meeting Deer God' 遇见神鹿 of the game character Yao 瑶, which is co-produced by the game developer and Dunhuang Research Institute. Figure 2 portrays the customized skin 'The Fox of the Millennium' 千年之狐 of the game character Li Bai 李白, which is co-produced by the game developer and the Chinese TV program National Treasure. Both of two cases are viewed as the inheritance of Chinese civilization from the aesthetic and historical points of view.

Figure 1. The poster of skin by the hero Yao in HoK. [Open Source]

Figure 2. The poster of skin (left) and original modelling (right) by the hero Li Bai in HoK. [Open Source]

Music is inextricably linked with the culture in which it is produced, and it creates an immersive interactive atmosphere for the player (Parsayi & Soyoof, 2018). VGM can continue to play an increasing role in developing a better user experience in HoK and disseminating CTC through the game. Since its release, HoK has integrated many popular and traditional Chinese music and Western music genres as well as it has also invited internationally famous music composers such as Tan Dun 谭盾, Hans Zimmer, and Howard Shore. The VGM involves Beijing opera 京剧, Kunqu 昆曲, Sichuan opera 川剧, Yue opera 越剧, and other traditional Chinese music elements in opera. For example, in order to better restore the elements of Sichuan opera, the game producer also invited Wang Yumei 王玉梅, who is a famous performer in Sichuan opera to involve in production. She dubbed the hero skin by Meng Qi 梦奇 in the game and popularized the knowledge of Sichuan opera in the 'HoK Music Class' on the official website of the game (Figure 3). It can indicate that the HoK team spread the characters' historical and cultural origins in virtue of music and simultaneously increase the players' game interaction.

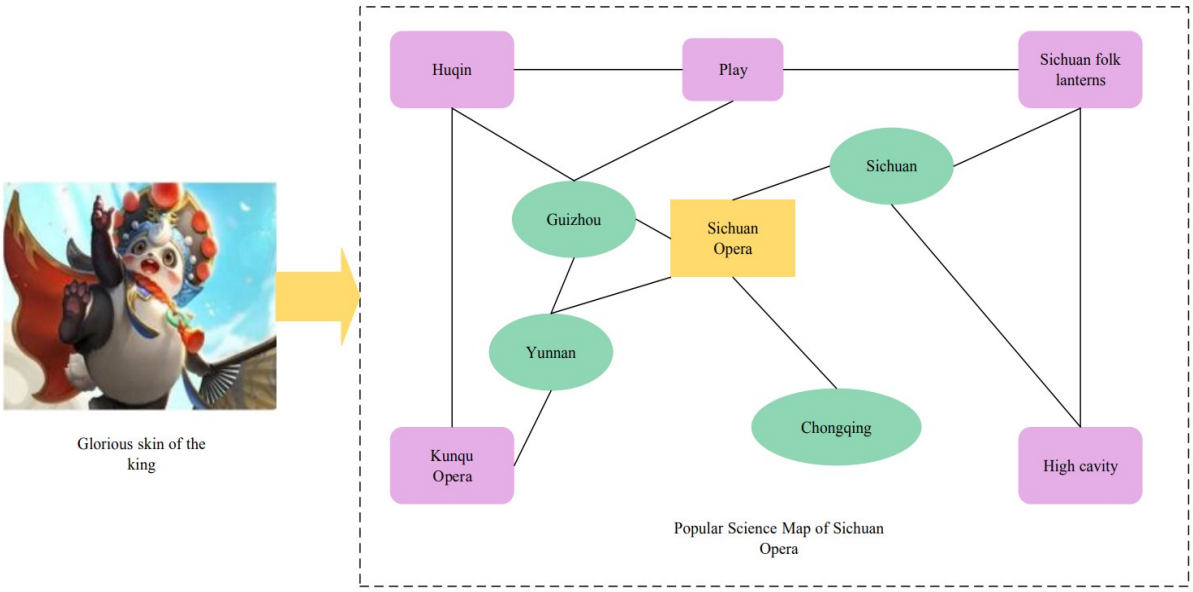


Figure 3. The schematic diagram of HoK to popularize the knowledge of Sichuan opera.

According to Figure 3, the HoK's VGM design starts with the music of the entire hero camp, then designs the music of each genre below, and finally designs the music of each character. This design philosophy enables the game soundtracks to be both connected and different. In this way, players can hear the main melody and theme of the whole camp from the theme music. This logical design method enables each music theme to find its source. Yet, the design is still several steps behind an ideal one from a historical point of view. After all, the game is a romantic presentation of historical anecdotes not totally honest about history (Jiang & Chung, 2021). For example, the character does not fit the image of the historical character which historians believe it to be. Figure 4 shows

the comparison between Li Bai as a poet in Tang Dynasty of Chinese history and Li Bai as a hero in the game:

a **b**

Figure 4. The comparison of Li Bai's image in HoK with history. [Open Source] (a. historical image; b. game image)

From the beginning of creation, Tencent company has positioned HoK's music style as 'oriental fantasy'. This feature determines the boundary between its music creation and the audience's feelings. More specifically, 'oriental' refers to Asian especially to Chinese, including some ethnic musical instruments and tunes from China. Meanwhile, 'fantasy' involves selective integration of electronic music, orchestral music, synthesizer sound, thus forming unique music creation logic.

The Dissemination Effect of HoK's VGM

'Tencent games' has paid great attention to HoK's VGM since the first version. In 2015, Tencent established a special audio production team and invested a substantial amount of money in-game music development (Shi & Chung, 2019). For this reason, they invited famous composers and singers in and outside China for VGM composition several times. Their efforts easily dwarf small video game companies. Research has shown that music of different styles and genres can help promote the development of the plot and reflect the conflict of characters even though mostly those do not relate to the background of the game. According to whether the complete melody can be heard in the game, it is divided into background music and independent music works. Table 1 lists the partial details in relation to HoK' VGM styles:

	Music Category	Expression
Background music	Login Interface	Music clips played during loading
	Hall Music	
	Map theme music	Music played when maps are involved
	Version theme music	Music created for different versions
Independent music	Game character music	Exclusive music created by a single or certain type of character
	Game skin music	Music created for a skin of a single game character
	Festival Music	Songs created for special festivals such as New Year, Anniversary and Gang up Festival
	Competitive music	Music created for the HoK professional league and championship

Table 1. HoK's VGM category.

Additionally, HoK has a relatively mature production and marketing team with large-scale packaging and marketing services. Thus, it will have greater advantages over other games in VGM development. After peaking at over 100 million daily active users in 2020, the HoK has begun to lose some users (Sun, 2020). Thus, there is a need to refine and innovate the game elements. For example, new music marketing fields can be excavated to lay the foundation for the independent development of subsequent VGM from the game.

HoK is a role-playing game (RPG) set against Chinese history, and it upholds the slogan of transmitting CTC in the 'new cultural and creative' strategy. In addition to the Western symphony orchestra, its VGM has also selected many distinctive traditional Chinese musical instruments, such as the guqin 古琴, dizi 笛子, erhu 二胡, guzheng 古筝 and others. Among them, the most well-known is the 'Five Tigers General Symphony' created by Tan Dun 谭盾 (a Chinese-American composer). This suite was based on several famous heroic characters from the Three Kingdoms (around 184-280 BC) in Chinese history; their names are Ma Chao 马超, Zhao Yun 赵云, Huang Zhong 黄忠, Guan Yu 关羽 and Zhang Fei 张飞. The suite uses five ancient traditional musical instruments including pipa with five strings, haegeum, lusheng 芦笙, shakuhachi and hichiriki, which separately correspond to these five heroes in HoK game (Figure 5). It depicts the unique character and musical spirit of each character. Similarly, the theme music 'Liu Shui Zhi Yin' 流水知音, was launched on the sixth anniversary of the game and mainly played on the guqin (a seven-stringed plucked instrument), which has contributed to the inheritance of the guqin art. Apparently, many successful cases in HoK show that the Cultural IP model is of great significance to promote CTC through VGM.

Figure 5. 'Five Tigers General' series skins and respective musical instruments used in VGM of HoK.

In terms of communication mode, the HoK carries out musical dissemination through online and offline modes from four aspects: open class, song release, media publicity, and a symphony concert. At the music level, there is 'King's Music Class' and 'King's Music Listening' in the open class to appreciate and decrypt the background process of music composition, music knowledge, and the original music of the game. QQ music platform has collected the released music albums, videos, and music videos of HoK. With the help of the social attributes of QQ music platform, listeners can comment on their own feelings after listening or share relevant music knowledge by forwarding. This is the secondary spread of VGM. Furthermore, other social media platforms such as Sina Weibo and WeChat official accounts can update game-related information in real-time. The platform also interacts with players for recently released music activities, and promotes VGM in a relaxed and pleasant way. At the same time, some symphonic concert tours are held around the China, where HoK corporates some well-known orchestras and conductors to ensure the quality of music works.

The Current Situation of the HoK Player

This section aims to study the appropriateness of using CTC elements and the dissemination effect of VGM in HoK. To this end, the game player, as the most direct information receiver, is an important research informant group. Therefore, a questionnaire survey, entitled 'The Application and Dissemination Effect of Chinese-Style Cultural Elements in Honour of Kings' was distributed to the game players on WeChat, Sina Weibo, the King Camp, and Zhihu platform. The survey covers 30 provinces and cities in China and lasts for a week. Altogether, 300 pieces

of questionnaires were distributed, recovering 278 effective ones, with a recovery of 92.67%. The questionnaire includes the basic information, as well as the cognition, acceptance, and satisfaction of game players of the CTC elements in the game. The survey also investigated the current situation of the promulgation of VGM. Correspondingly, 20 questions were designed in the questionnaire, including five basic information like the player's gender, age, occupation, nationality, and educational background. The rest is the investigation of the relevant content of the game.

The results of collected questionnaires were statistically analyzed using SPSS25.0. Cronbach's Alpha Coefficient, also known as the Kuder-Richardson Formula 20 (KR-20), a widely used method for assessing internal consistency and measuring the reliability of a questionnaire or measurement tool. Its primary objective is to evaluate whether the items within the questionnaire can measure the same concept or characteristic consistently. This assessment is achieved by calculating the interrelatedness among the individual items.

The coefficient is computed using Eq. (1).

$$\alpha = \frac{K}{K-1}\left(1 - \frac{\sum_{i=1}^{K} S_i^2}{S_X^2}\right) \tag{1}$$

In Eq. (1), K represents the number of items in the questionnaire, S_i^2 refers to the variance of each item, and S_X^2 represents the total variance of all items. The resulting α coefficient values range from 0 to 1, where 1 indicates perfect internal consistency, and 0 indicates complete inconsistency. Typically, an α value greater than 0.7 is considered to indicate good internal consistency for the questionnaire.

The Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Measure of Sampling Adequacy is a crucial metric used to assess the validity of a questionnaire, gauging the strength of interrelatedness among its items. The KMO value is derived from the correlation matrix, taking into account the variances of each item and the total variance. The computation of KMO is presented in Eq. (2).

$$KMO = \frac{\sum \sum_{i \neq j} r_{ij}^2}{\sum \sum_{i \neq j} r_{ij}^2 + \sum \sum_{i \neq j} r_{ij \cdot 1,2k}^2} \tag{2}$$

In Eq. (2), r_{ij}^2 signifies the variance of the correlation coefficient between variables. The KMO value ranges from 0 to 1, with values closer to 1 indicating stronger validity of the questionnaire. Generally, when the KMO value surpasses 0.6, the questionnaire is considered to have good validity.

The Cronbach's Alpha coefficient obtained by reliability analysis was 0.835>0.7; this indicates that the reliability of the questionnaire met the requirements, and the reliability is relatively high and good. Then, the Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) value obtained by the validity test is 0.796>0.6; this indicates that the validity of the questionnaire is good, and the data can be further analyzed.

At the same time, 20 of these foreign players were selected to conduct in-depth interviews on HoK's VGM. The primary interview content encompasses the following aspects: the level of acceptance of in-game hero characters or Chinese culture; the cultural elements within the game that are most captivating to players; and when utilizing HoK as a platform for showcasing Chinese cultural export, which cultural product collaborations can best embody the dissemination of Chinese classical culture and cultural cognition. This could help reveal the effect of the HoK and its concert activities on musical diffusion.

The in-depth interviews provided valuable insights, revealing that most players do not actively spend much time exploring the cultural background of the heroes in the game. Instead, they acquire knowledge about the heroes through movies, animations, or other forms of media. As a result, directly conveying culture through games remains a challenge. However, using games to disseminate culture can contribute to a deeper cultural understanding. Regarding the cultural elements that are more attractive to players, feedback from gaming experiences indicates that popular culture, such as Sun Wukong 孙悟空 and superheroes, has the highest acceptance among the respondents. Players have expressed great anticipation for the inclusion of other popular cultural elements in the game. This approach caters to the aesthetic tastes of players from different ethnic backgrounds, considering variations in language and international versions. It also enables users from other countries to witness the unique blend of Chinese culture with other cultural influences. Additionally, some interviewees particularly appreciate Chinese Hanfu 汉服 and Chinese opera, expressing their desire for similar hero skins to be added to the game.

Results and Discussions

Statistics of the Survey Results of the HoK player

The basic information survey results of the above players are shown in Table 2. The results of survey show that the majority of HoK players are women, mainly students and financial workers, and communication staff. Moreover, the majority of players are Chinese nationals.

	Information	Numbers	Proportion
Gender	Male	125	44.96%
	Female	153	55.04%
Age	<18	52	19.02%
	18-25	163	57.98%
	26-35	32	11.78%
	>35	31	11.22%
Educational background	Junior high school and below	6	2.16%
	High school	31	11.05%
	Undergraduate or junior college	173	62.26%
	Master or above	68	24.53%
Occupation	Student	84	30.07%
	Financial	59	21.34%
	Communication	72	25.93%
	Education	34	12.22%
	Others	29	10.44%
Nationality	Chinese	167	60.07%
	Japanese	3	1.07%
	Korean	14	5.04%
	Thai	8	2.88%
	American	17	6.11%
	French	9	3.26%
	German	11	3.95%
	British	11	3.95%
	Russian	15	5.40%
	African	3	1.08%
	Others	20	7.19%

Table 2. HoK player's basic information.

According to the Table 2, female players outnumber male players in the survey. Most players are 18-25 years old, followed by players under 18 years old. In the education distribution, 62.26% of the players have undergraduate or junior college degrees; this indicates that the game is more likely to appeal to players who are still in the student phase. Regarding occupational distribution, students, financial workers, and communication staff are the most, accounting for 30.07%, 21.34%,

and 25.93%, respectively. Thus, the player for the HoK game has a certain educational background and more free time in his/her daily life. Based on this result, a cross-analysis of the two indicators of the questionnaire 'participant age' and 'average online duration of players per day' (short for the active duration) is completed, and the results are shown in Figure 6:

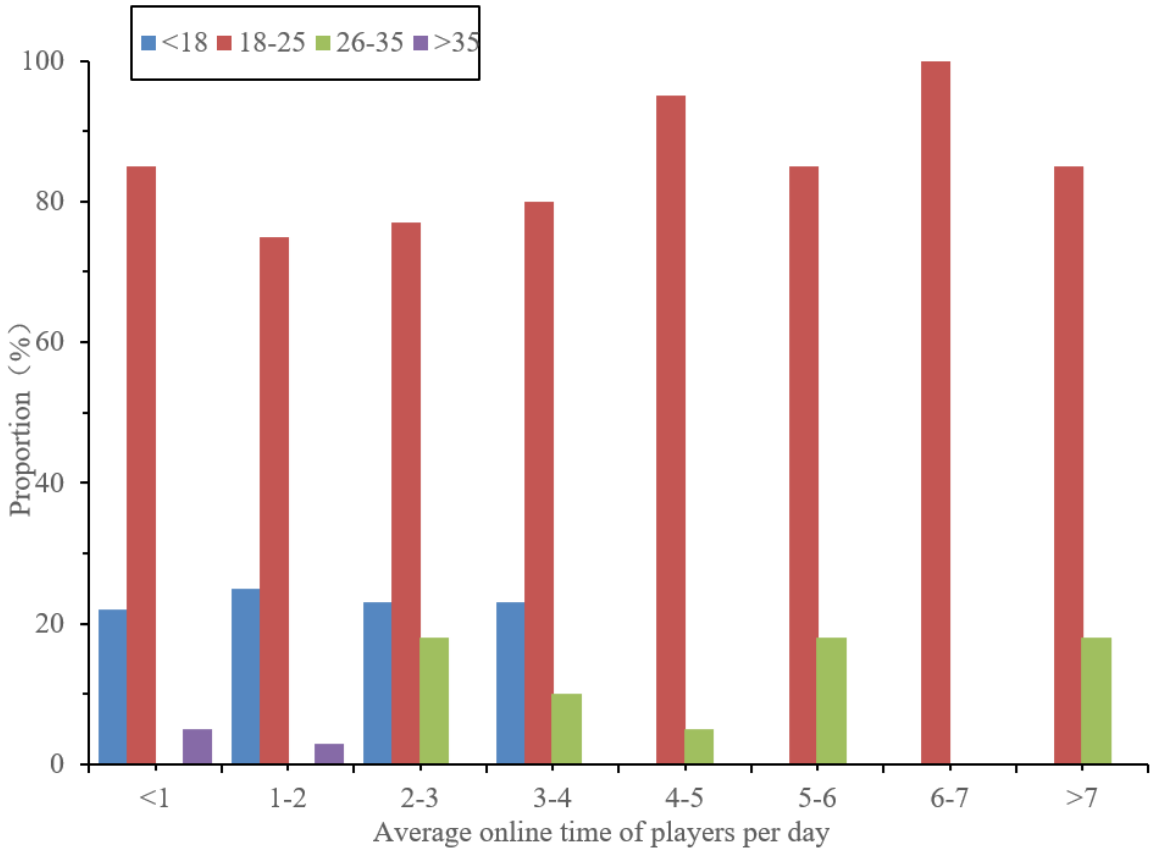


Figure 6. Cross-over analysis of players' age and average active duration.

Figure 6 shows that 18-25 aged players have a longer duration to participate the match of game in HoK; this illustrates that the younger players are more likely to be attracted to the HoK game. Next, CTC elements in HoK are simply refined. The questionnaire selects seven types of CTC elements that are used more frequently. Those are the Chinese ancient celebrity stories (a), traditional clothing culture (b), background soundtrack or theme music (c), literary classic culture (d), folk art culture (e), natural geography culture (f), and others (g). The results are compared in Figure 7:

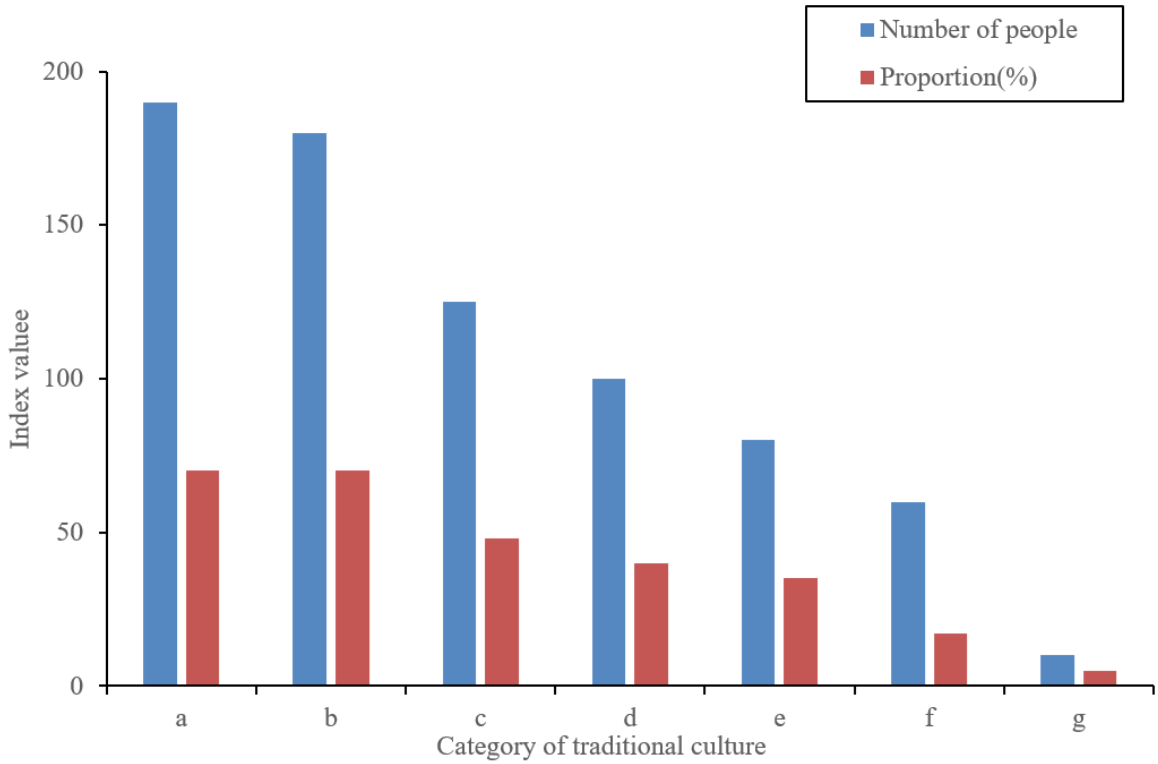


Figure 7. Players' interests in the CTC elements in HoK.

As shown in Figure 7, the top three CTC elements that players are most interested in are: (a), (b), and (c), accounting for 70.23%, 68.43%, and 43.78% respectively. Thus, most players are interested in the source of game characters, the design of game skin, and the source of game lines. Figure 8 shows the statistical situation of cultural dissemination. The question options are: there is the suspicion of tampering with history (h), the historical story behind the characters is not enough (i), the commercialized nature of the surrounding products is heavy (j), the high-quality cultural output is not enough (k), the traditional cultural performance is too superficial (l), and the wrong value orientation misleads the youth (m).

Figure 8 signifies that 'there is a suspicion of tampering with history' and 'wrong values are easy to cause adverse effects on teenagers' are the main problems impeding the dissemination of CTC by HoK, accounting for 66.8% and 66.1% respectively. Two other problems follow that they are 'the output of high-quality cultural content is not enough' and 'the expression of traditional culture is too superficial', accounting for 64.8% and 62.1% respectively. Furthermore, Figure 8 analyzes what actions of the game can arouse players' interest in CTC.

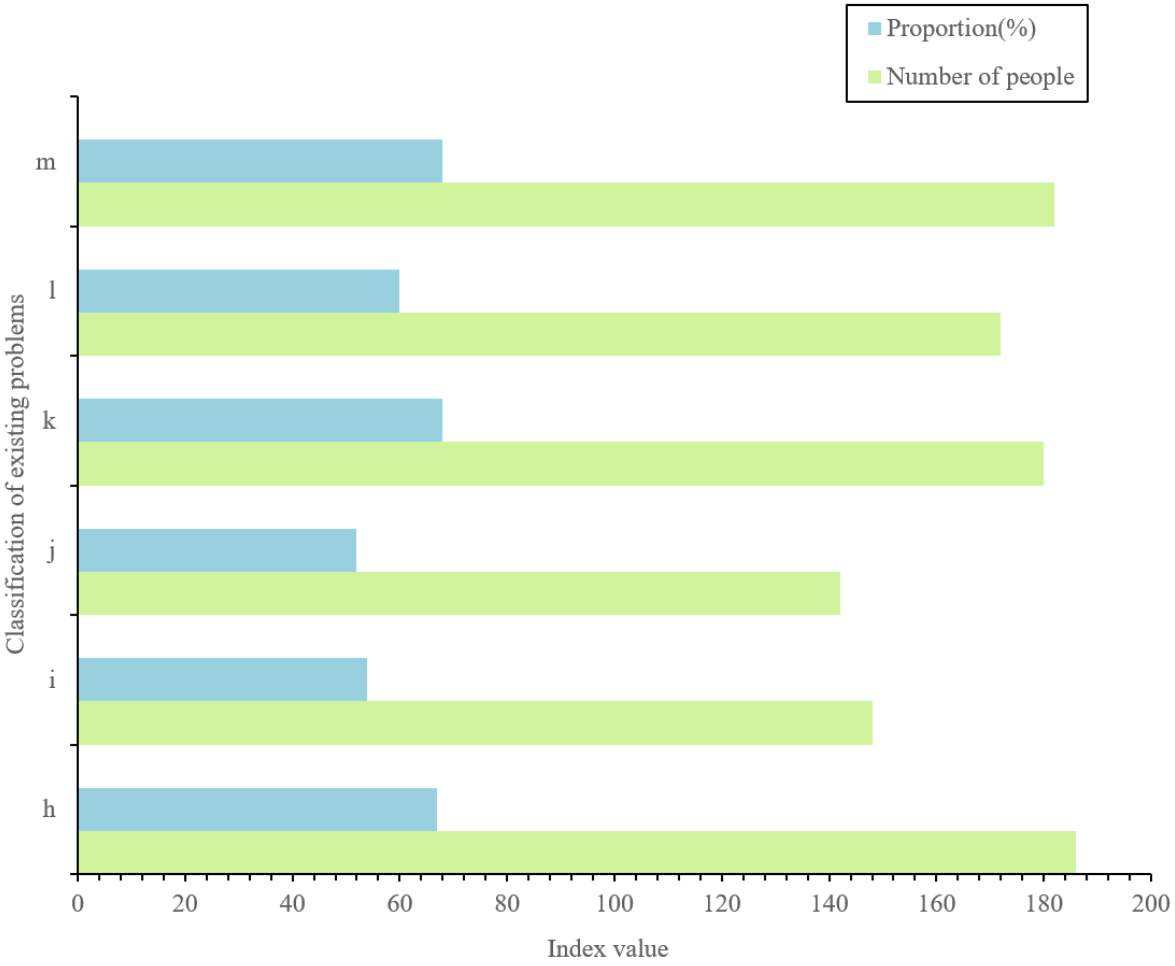


Figure 8. Players' statistics on the problems in the dissemination of CTC in HoK.

Figure 9 highlights the top-three behaviors to win over players' interest in CTC elements of HoK. They are 'hero's background story', 'game-derive IP program of the game', and 'the game peripheral products', accounting for 63.78%, 58.9%, and 56.3%, respectively, followed by the game's 'playing mode' and 'offline activity'.

The feedback from players of different nationalities (excluding Chinese nationals) regarding their understanding of Chinese hero game characters is depicted in Figure 10. Analysis of the results reveals that nearly sixty percent of foreign players possess a general understanding of the protagonist's cultural background and story in the game. Around 81.62% of foreign players are familiar with hero characters from Chinese culture, with the majority of them knowing about up to five Chinese hero characters. Approximately 4.25% of foreign players are aware of six or more Chinese hero characters. However, it is evident that nearly 25% of foreign players have no knowledge of Chinese hero characters, highlighting the game development team's efforts in shaping and promoting Chinese hero characters.

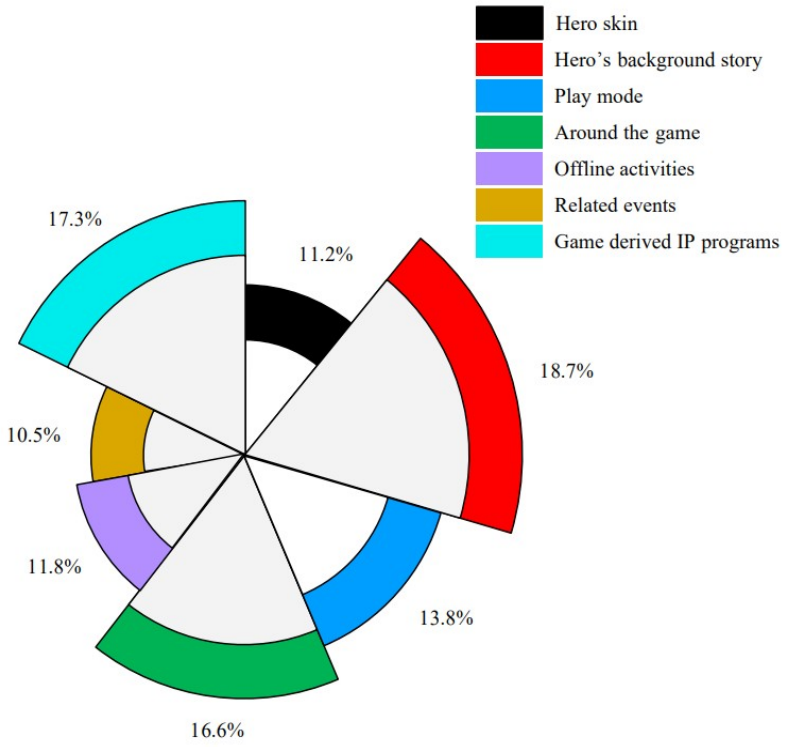


Figure 9. Several aspects to get players interested in the CTC elements of HoK.

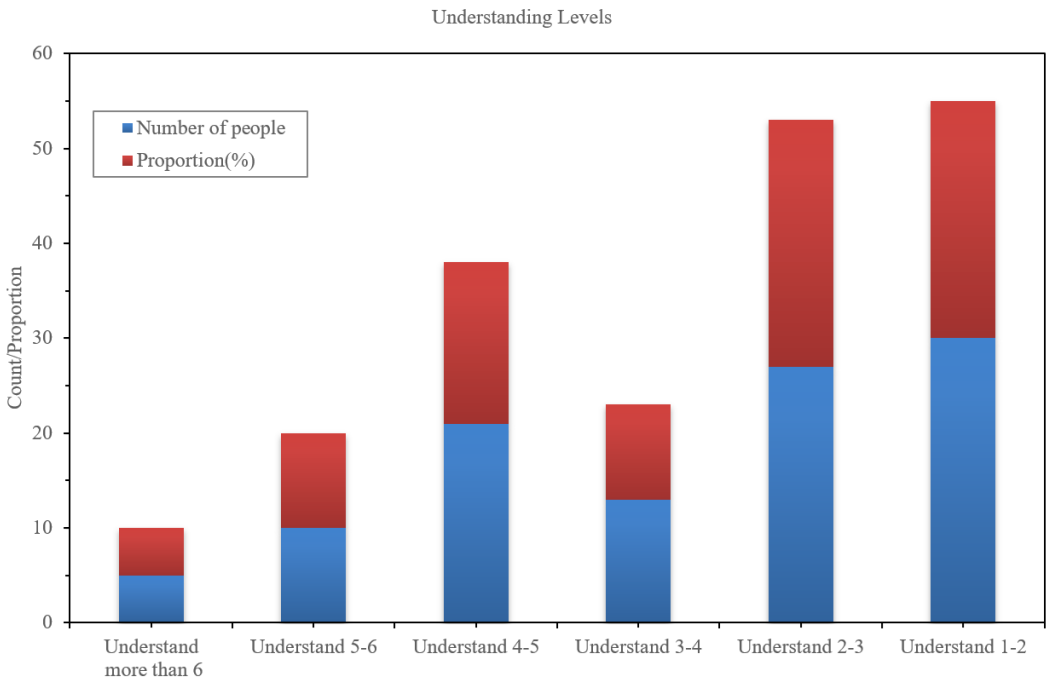


Figure 10. Feedback from players of different nationalities (except Chinese nationality) on understanding the role of Chinese heroes in the game.

Discussions on the Dissemination Effect of HoK's VGM

The above inquiry can help draw the following conclusion. In terms of VGM alone, some players are still in a passive state of acceptance, and most of the information about the symphony concert of offline games comes from relatives and friends or new media platforms.

(1) From a cognitive point of view, most respondents paid attention to HoK's VGM. In the immersive game atmosphere, most players left positive comments on the background music and also paid attention to the independent music works in the game. Meanwhile, they also noticed the information related to the music channels it spread, such as the time of the offline concert.

(2) From the perspective of emotion and attitude, most respondents agreed with the commercial value of the combination of game and art; they believed that the game could carry out cultural circulation and allowed them a better understanding of traditional Chinese art and culture; they also said that the cultural IP model enhanced their gaming experience.

(3) From the perspective of behavior, although they paid attention to music and related information and would listen to VGM on music software after leaving the game, only a small number of respondents said they would put it into practice. Most of them did not choose to participate in the offline concert even though some respondents expressed their willingness to deeply understand the music content of HoK after the interview.

(4) From a cultural dissemination perspective, the survey findings indicate that while a considerable number of foreign players in HoK possess some understanding of Chinese culture and Chinese hero characters, a significant proportion still have limited or no knowledge of Chinese culture. This suggests that the effectiveness of disseminating Chinese culture through the game is limited. This limitation may be partly attributed to the unique characteristics and autonomy of the Chinese gaming industry. The Chinese gaming industry is known for its independence and self-sufficiency, emphasizing local characteristics and cultural elements with less focus on cross-cultural influence and global universality. Based on the results of in-depth interviews, promoting Chinese classical culture through HoK requires consideration of its linkage and resonance with other cultural products. The game should not only act as a conduit for cultural output but also deepen cultural impressions. Given that players and users invest different amounts of time in the game, the specific representation of hero characters becomes the most fundamental and direct way to showcase culture. In the design of hero characters, the use of distinctive cultural symbols can enhance foreign players' understanding of Chinese culture. Such symbolic representations can serve as a bridge to foster cultural connections and facilitate cross-cultural appreciation among players from diverse backgrounds.

Countermeasures and Prospects for Developing VGM

Based on the above analysis, in China, where VGM started relatively late, there are still various problems and limitations in composing VGM. This section looks into these problems from the external and internal points of view and puts forward countermeasures. The specific solution is shown in Figure 11:

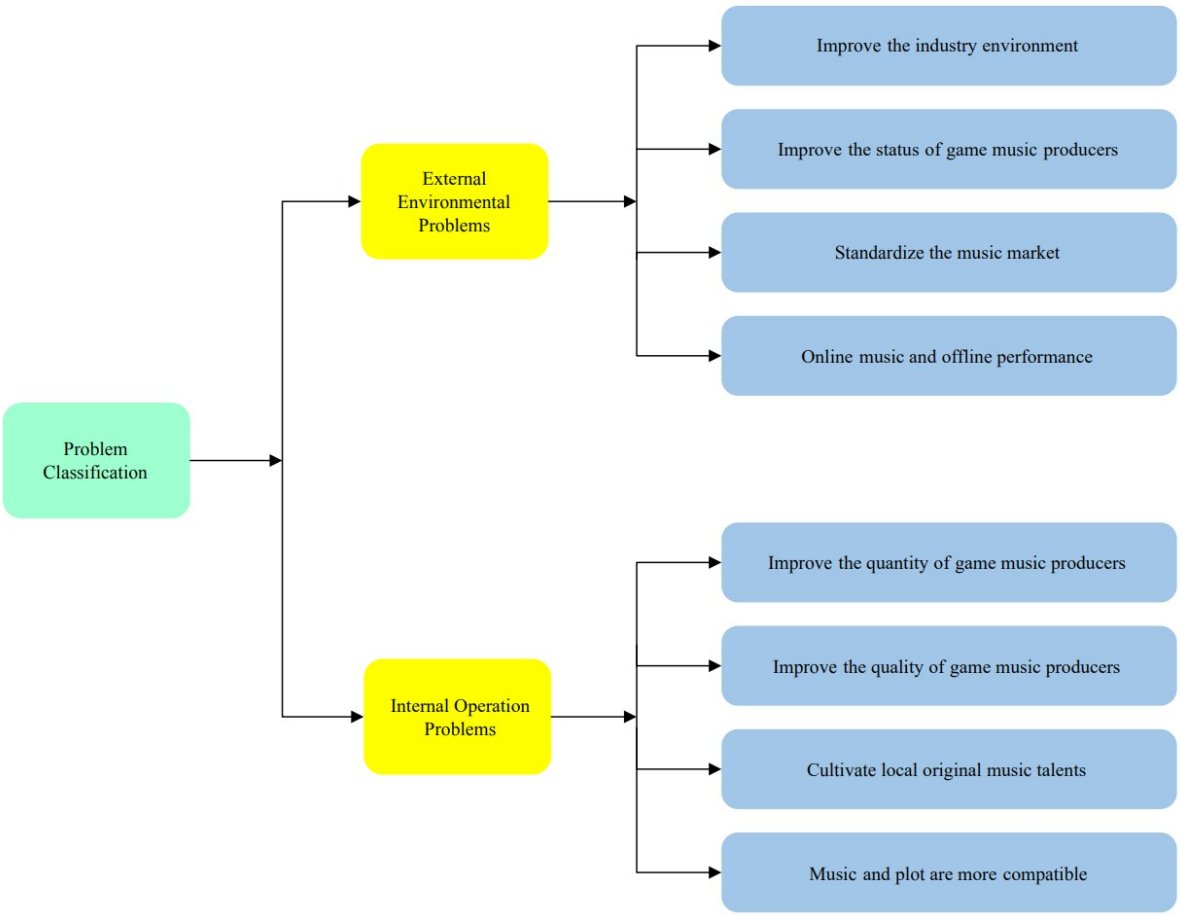


Figure 11. Countermeasures for developing VGM.

According to Figure 11, VGM, as a branch of online music, has been neglected for a long time, resulting in a relatively slow development. (1) There is a need to change the industry environment, such as music copyright protection, and increase the investment in VGM production. Most domestic game companies only pursue the immediate commercial value of games and care less about their artistic value; nor do they consider the long-term benefits of game concerts. Overall, VGM composers are not valued. In order to get better VGM, efforts are needed to improve the status of VGM composers. To achieve this, VGM shall be further integrated into game development. VGM composers shall be given more opportunities to participate in game production. (2) Internally, it is also necessary to improve the overall quality of music producers. Many producers have only learned popular

music production and simply applied it directly to VGM production. Such VGM production lacks unique and appealing characteristics. (3) Standardizing the issue of music copyright. More trademarked VGM designs shall be encouraged and protected to gear to players' gaming moods and immersive experiences.

Conclusion

The primary objective of this article is to investigate the dissemination of CTC and its influence on popular culture through the incorporation of music and cultural elements in the game HoK. The article aims to assess the effectiveness of game music in facilitating cultural propagation and to explore emerging patterns and trends in the propagation of traditional culture within the game. Furthermore, the article offers a detailed analysis of the challenges encountered in the spread of cultural and musical aspects within the game and presents potential strategies and solutions to address these challenges. The specific research starts with the CTC elements contained in the VGM, character background, scene design, and other game modules and then classifies the VGM in HoK. At the same time, this article analyzes the broadcasting mechanism and effect of music and investigates the basic situation of the game players of HoK in the aspects of their cognition, emotions, attitudes, and behavior. Finally, the problems and solutions of cultural and musical dissemination in the game are discussed. The research findings reveal that HoK game players exhibit a discernible educational background and often have ample leisure time in their daily routines. The majority of players display a keen interest in the background stories of game characters, the intricacies of game skins' design, and the origins of game music. While foreign players demonstrate a certain level of familiarity with Chinese culture depicted within the game, it is noteworthy that approximately 25% of foreign players remain unfamiliar with Chinese hero characters. This is of great significance to developing and popularizing CTC and VGM. However, some deficiencies have not been avoided, mainly the limited number of samples. Due to the uneven distribution of the network environment, the coverage of game players still needs more authentic data support, which is also the direction of future research.

References | Список литературы

Abbasi, A. Z., Rehman, U., Fayyaz, M. S., Ting, D. H., Shah, M. U., & Fatima, R. (2022). Using the playful consumption experience model to uncover behavioral intention to play Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) games. *Data Technologies and Applications*, 56(2), 223–246. https://doi.org/10.1108/DTA-02-2021-0055

Bates, E., & Bennett, S. (2018). The production of music and sound: A multidisciplinary critique. In S. Bennett & E. Bates (Eds.), *Critical approaches to the production of music and sound* (pp. 1-21). Bloomsbury Academic. https://doi.org/10.5040/9781501332074.0006

Cavanagh, R. (2020). Video game soundtrack albums and the digital revolution. In R. Cavanagh (Ed.), *The soundtrack album: Listening to media* (pp. 173–189). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429450488-15

Cayari, C. (2021). Popular practices for online musicking and performance: Developing creative dispositions for music education and the Internet. *Journal of Popular Music Education*, 5(3), 295–312. https://doi.org/10.1386/jpme_00018_1

Collins, K. (2013). *Playing with sound: A theory of interacting with sound and music in video games*. MIT press. https://doi.org/10.7551/mitpress/9442.001.0001

Donnelly, K. J., Gibbons, W., & Lerner, N. (2014). Transcribing musical worlds; or, is L.A. Noire a music game? In K. J. Donnelly, W. Gibbons, & N. Lerner (Eds.), *Music in video games: Studying Play* (pp. 77–103). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315882697

Hart, I. (2014). Meaningful play: Performativity, interactivity and semiotics in video game music. *Musicology Australia*, 36(2), 273–290. https://doi.org/10.1080/08145857.2014.958272

He, Y., & Choi, C. (2020). Analysis of visual art elements of game characters illustrated by the case of Glory of Kings. *International Journal of Internet, Broadcasting and Communication*, 12(3), 213-219. https://doi.org/10.7236/IJIBC.2020.12.3.213

Jiang, Q., & Chung, J. H. (2021). A case study on the promotional animation of the mobile game 'Honour of Kings'. *Journal of Digital Convergence*, 19(8), 293–299.

Juul, J. (2007). Swap adjacent gems to make sets of three: A history of matching tile games. *Artifact: Journal of Design Practice*, 1(4), 205–217. https://doi.org/10.1080/17493460601173366

Laine, T. H., & Suk, H. J. (2016). Designing mobile augmented reality exergames. *Games and Culture*, 11(5), 548–580. https://doi.org/10.1177/1555412015572006

Liboriussen, B., & Martin, P. (2020). Honour of Kings as Chinese popular heritage: Contesting authorized history in a mobile game. *China Information*, 34(3), 319–341. https://doi.org/10.1177/0920203X20908120

Marks, A. (2009). *The complete guide to game audio: For composers, musicians, sound designers, and game developers*. Taylor & Francis.

Meng, F., & Peng, Y. J. (2021). 文化融会与元素接合：《王者荣耀》的符号构建研究 [Cultural fusion and elemental engagement: A study of the symbolic construction of Honour of Kings]. 杭州师范大学学报(社会科学版) *Journal of Hangzhou Normal University (Social Sciences Edition)*, 6, 92-101. (In Chinese).

Nuyens, F., Deleuze, J., Maurage, P., Griffiths, M. D., Kuss, D. J., & Billieux, J. (2016). Impulsivity in multiplayer online battle arena gamers: Preliminary results on experimental and self-report measures. *Journal of Behavioral Addictions*, 5(2), 351–356. https://doi.org/10.1556/2006.5.2016.028

Park, H. (2020). The Difficult, uncomfortable, and imperative conversations needed in game music and sound studies. *Journal of Sound and Music in Games*, 1(1), 87–94. https://doi.org/10.1525/jsmg.2020.1.1.87

Parsayi, F., & Soyoof, A. (2018). Video games: The interface between language learning and storytelling. *International Journal of Pedagogies & Learning*, 13(2), 103–118.

Shi, Y., & Chung, J. H. (2019). A study on the visual elements of the mobile game 'Honour of Kings' focused on female gamers. *Journal of Digital Convergence*, 17(9), 361–366.

Somerdin, M. (2016). The game debate: Video games as innovative storytelling. *The Oswald Review: An International Journal of Undergraduate Research and Criticism in the Discipline of English*, *18*, 69–82.

Sun, M. Y. (2020). An analysis of the development of Chinese mobile games-Taking 'Honour of Kings' as an example. *Digital Space*, 10, 58–59.

Wang, Y. (2021). The application of integrated marketing communication in the marketing of the game industry. *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media*, 1, 212–218. https://doi.org/10.54254/lnep.iceipi.2021201

Yao, S., & Chen, Y. (2022). Reconstructing history and culture in game discourse: A linguisticanalysis of heroic stories in Honor of Kings. *Games and Culture*, *17*(7–8), 977–996. https://doi.org/10.1177/15554120211070890

Ye, D., Liu, Z., Sun, M., Shi, B., Zhao, P., Wu, H., Yu, H., Yang, S., Wu, X., Guo, Q., Chen, Q., Yin, Y., Zhang, H., Shi, T., Wang, L., Fu, Q., Yang, W., & Huang, L. (2020). *Mastering complex control in MOBA games with deep reinforcement learning*. 34(4), 6672–6679. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i04.6144

Yu, L., Zhang, D., Chen, X., & Xie, X. (2019). MOBA-slice: A time slice based evaluation framework of relative advantage between teams in MOBA games. In T. Cazenave, A. Saffidine, & N. Sturtevant (Eds.), *Computer Games* (Vol. 1017, pp. 23–40). Communications in Computer and Information Science. https://doi.org/10.1007/978-3-030-24337-1_2

Zhang, Z., Li, H., Zhang, L., Zheng, T., Zhang, T., Hao, X., & Zhou, W. (2019). Hierarchical reinforcement learning for multi-agent MOBA game. *ArXiv Preprint ArXiv*:1901.08004. https://doi.org/10.48550/arXiv.1901.08004

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2023. No 3 | ISSN: 2658-7734
Телесно-ориентированные теории медиа | https://doi.org/10.46539/gmd.v5i3.387

Modular Bodies of Animated Characters and Posthumanist Connotations

Ahmet Oktan[1], Kevser Akyol Oktan[2] & Gülsüm Büşra Çon[3]

Ondokuz Mayis University. Samsun, Turkey

Received: 29 March 2023 | Revised: 13 July 2023 | Accepted: 26 July 2023

Abstract

This article discusses the molecularization of the body and the meanings pointed out via cyborg bodies in the context of animated characters. We analyze films of *Ghost in the Shell* (Mamoru Oshii, 1995), *Ghost in the Shell: SAC_2045- Sustainable War* (Shinji Aramaki Michihito and Fujii Kenji Kamiyama, 2021), *Gunnm* (Hiroshi Fukutomi, 1993), and *Alita: Battle Angel* (Robert Rodriguez, 2019) in the context of related philosophical discussions. We carry out the discussion about the body on two axes. First, we examine forms of presenting the modular bodies and discuss their socio-cultural connections. In these narratives, the evolution of the body beyond organic boundaries transforms it into a space where the character reflects the subjectivity and a tool that offers a narcissistic experience of omnipotence regarding bodily strength and competence. However, it sometimes causes the characters to become alienated from their bodies and engage in existential inquiries. Thus, secondly, we examine the existential inquiries/crises of the characters arising from the modularization of their bodies and the philosophical connotations that these emphases indicate. If on this axis, posthumanist arguments that stand out with objections to Cartesian distinctions such as machine-human, mind-body, woman-man, and anthropocentric approaches, constitute the focus of the discussions.

Keywords

Animation Film; Cyborg Body; Desire; Modularity; Cartesian Distinctions; Posthumanism

This work is licensed under a Creative Commons “Attribution” 4.0 International License

1 Email: ahmet.oktan[at]omu.edu.tr
2 Email: kevserakyoll[at]gmail.com
3 Email: conbusra[at]gmail.com

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2023. No 3 | ISSN: 2658-7734
Body Oriented Media Theory | https://doi.org/10.46539/gmd.v5i3.387

Модульные тела анимированных персонажей и постгуманистические коннотации

Октан Ахмет[1], Акйол Октан Кевсер[2] & Чон Гюльсум Бюшра [3]

Университет Ондокуз Майис. Самсун, Турция

Рукопись получена: 29 марта 2023 | Пересмотрена: 13 июля 2023 | Принята: 26 июля 2023

Аннотация

В данной статье обсуждается молекуляризация тела и значения, указанные через киборговые тела в контексте анимированных персонажей. Мы анализируем фильмы «Призрак в доспехах» (Мамору Осии, 1995), «Призрак в доспехах: SAC_2045 - Устойчивая война» (Синдзи Арамаки, Мичихито Фудзии и Кэндзи Камияма, 2021), «Ганнм» (Хироси Фукутоми, 1993) и «Алита: Боевой ангел» (Роберт Родригес, 2019) в контексте связанных философских дискуссий. Мы ведем дискуссию о теле в двух координатных осях. Во-первых, мы рассматриваем формы представления модульных тел и обсуждаем их социокультурные связи. В этих нарративах эволюция тела за пределами органических границ превращает его в пространство, где персонаж размышляет над тем, что такое субъективность и тот инструмент, который предлагает нарциссический опыт всевластия в отношении физической силы и компетентности. Однако иногда это заставляет персонажей чуждаться своих тел и задаваться экзистенциальными вопросами. Таким образом, во-вторых, мы рассматриваем экзистенциальные вопросы/кризисы персонажей, возникающие из-за модуляризации их тел, и философские коннотации, на которые указывают эти акценты. На этой оси фокус обсуждений составляют постгуманистические аргументы, которые подкрепляют возражения к картезианским различиям, таким как машина-человек, разум-тело, женщина-мужчина, а также антропоцентрические подходы.

Ключевые слова

анимационный фильм; тело киборга; желание; модульность; картезианские различия; постгуманизм

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons “Attribution” («Атрибуция»)4.0 Всемирная

1 Email: ahmet.oktan[at]omu.edu.tr
2 Email: kevserakyoll[at]gmail.com
3 Email: conbusra[at]gmail.com

Introduction

The cultural transformation, which increasingly determines daily life with factors such as scientific and technological developments, neoliberal policies, and the spread of digital technologies, also transforms the perceptions of today's individuals about themselves and life. A new cultural environment established on the axis of digitalization, consumption, and speed forces individuals to constantly change and transform. Consistent with the modern notion of the subject, being in a state of change is interpreted as a requirement for the individual to establish herself/himself as an independent self and maintain her/his freedom. The analogy of "chameleon man" used by Stevie Davies for the Renaissance period human (qtd. in Bauman, 2011, p.35; 2005, p.176) is also valid for the modern individual, who strives to create herself/himself in a modular structure, under the necessity of adapting to all conditions. One of the primary targets of this effort is the "body." With the developments in technology, medicine, and aesthetic surgery, it is usual for the body to turn into a device that can be redesigned. Redesigning the body, which is also related to the human's subconscious desires for immortality by equipping it with detachable technological parts, makes it fluid and modular.

In popular culture products, especially in science fiction, fantasy, and animation films, characters with partially or entirely redesigned bodies are increasingly featured. In these narratives, the evolution of the body beyond organic boundaries, transforms it into a space where the character reflects the subjectivity and a tool that offers a narcissistic experience of omnipotence regarding bodily strength and competence the other hand causes the characters to become alienated from their bodies and engage in existential inquiries. As Despina Kakoudaki emphasizes, artificial humans' questioning of their reality and studies to understand these questionings also significantly contribute to the political and existential debates on the meaning of being human (2014, p. 4).

In this study, we conduct the discussions about the body in the context of animated characters. We chose, through purposeful sampling, and analyzed animation films in which characters (cyborgs) with redesigned bodies and technologically produced organs are at the center of the narratives. These films, *Ghost in the Shell* (Mamoru Oshii, 1995) and the last part of its narrative universe, *Ghost in the Shell: SAC_2045 - Sustainable War* (Shinji Aramaki, Michihito Fujii and Kenji Kamiyama, 2021); *Gunnm* (Battle Angel Alita - Hiroshi Fukutomi, 1993) and the remake of the same story, *Alita: Battle Angel* (Robert Rodriguez, 2019) are notable examples in animation cinema in terms of the number of viewers they reach and provide rich data in body discussion. We chose the first and last examples of the relevant narrative universes to examine the changes in the forms of visualization of the body and the discussions on modularization in different periods. We conducted a qualitative analysis in line with the related sociological and philosophical arguments focusing on the body problem and actualized the discussion in two axes. First, we problema-

tize how the modular bodies are presented in the films mentioned above and examine these forms of imagery based on their relationship with consumption discourses that approach the body as a commodity. So much so that the modularization of the body is related to the consumption culture's presenting the body as a commodity and a surface on which subjectivity is exhibited. Therefore, it is necessary to evaluate modularization with our desires to overcome the body's limitations and the discourses built by the consumption culture on having a healthy, aesthetic, and durable body. In this context, concepts such as fluid self, image, and desire gain importance.

Secondly, we focus on the existential inquiries/crisis experienced by the characters with modular bodies and explore the philosophical connotations these emphases point to. We question whether the discussions on the modular body in the selected films allow for new forms of subjectivity. In the philosophical discussions on the modularization of the body, especially in posthumanism, the technologically developed body's evolution beyond organic boundaries into a new formation may enable new subjectivity possibilities beyond established subjectivity forms. For example, Authors such as Donna Haraway (2016) and Rosi Braidotti (2014) affirm this modularity because of its potential to displace the understanding of the subject established by the Western philosophical tradition through oppositions, blurs the dualist boundaries such as machine-human, woman-man, natural-artificial. In this context, posthumanist arguments, which stand out with objections to these Cartesian distinctions and anthropocentric approaches, constitute the primary references of the study.

Discussions About Body in the Context of Its Existential Meanings

The meaning of the body in terms of human existential integrity has been questioned from different standpoints throughout history. For Ancient Greek thinkers such as Empedocles, Pythagoras, Socrates and Platon, the body express the soul's being stuck on earth (Le Breton, 2019, p. 9). The soul imprisoned in the body is far from the reality of the world of ideas due to the body's limitations. The body can only experience the shadows of the ideas in the present world. Socrates claim that the soul is imprisoned in the body and thinks that the soul can grasp reality as much as it can see from behind the body's prison. Plato also states that the soul is immortal but needs to unite with the body to gain a material existence. (Synnott, 2002, p. 9). Subsequently, neo-platonism describes the body as unreal and, therefore, unimportant (Battaglia, 2006, p.144). The body is a flawed, incomplete part of existence in all these views.

In forms of Gnostic belief, however, the body pays for an undeserved life because it is inherently evil. The soul falls into the body, falters, and suffers there. Being with soul and body, humans partake in light and darkness between the sensible and divine worlds. So, humans must endure the ordeal of being thrown

into the world as incomplete and flawed beings. A part of this ordeal manifests itself in the form of old age, sickness, and helplessness. The body exists as a limit imposed on desire in its increasingly depleted materiality (Le Breton, 2019, p. 9-10). From such a point of view, the body is inferior to the soul.

The body and soul hierarchy leaves its place to the body and mind hierarchy with the Enlightenment. Descartes' assumption based on the statement "I think therefore I am" is considered one of the primary sources of this hierarchy. In this understanding, where thought precedes existence, the body is condemned to invisibility that ceases to be essential for existence. In the philosophical context, some approaches oppose this view. For example, Thinkers like Gilbert Ryle (2009), Maurice Merleau-Ponty (2006), and C. T. Nagoshi and J. L. Nagoshi (2012) challenge the assumption that the mind is separate from the body. For them, the idea that the mind reflects the essence of a human is not accurate; human comes into existence as a whole with the experiences of the body. Human is both thinking and bodily beings; thought is never disconnected from the body.

Some objections to the differentiation of human existence into mind and body are made on the axis of the concept of "embodiment". Embodiment is essential for it emphasizes the materiality of the body. Reflecting an understanding that it is impossible to separate experiences from concepts, emotions from the mind, and mind from body, this concept problematizes the contrast between having a body and being a body, embodying. Cartesian philosophy indicates the body as an extension of the person. However, this image is phenomenologically inadequate. As Nietzsche states, the feeling that a human is a body indicates the existence of an indivisible unity with his body (Stauth & Turner, 2005, p.143).

While the body has an "invisible" quality in the classical perspective based on the superiority given to the mind over the body, the body now becomes "visible" with the cultural, economic, scientific, and technological developments in modern societies (Nazlı, 2005). Michel Foucault describes this visibility as a discourse proliferation concerning the body and associates the visibility of the body with practices of power. According to Foucault (2007, p.102-103), in this process that highlights aspects such as the discipline of the body, the enhancement of its abilities, and the emergence of its powers, the body has been domesticated through regulatory control, made obedient, and integrated into economic systems of surveillance.

Although the visibility of the body does not mean that the mind-body dichotomy has disappeared, it is closely related to the curiosity about the body's materiality as part of the interest in discovering the material world and its functions in social life. According to Courtine (2013), the body has turned into a material body in the twentieth century. The body, made of flesh and bone, has become an effective tool for social practices in its organic integrity. This subjective position of the body has made it the material target of conscious and unconscious impulses. The fact that the body is the most determining factor in identity design based on appearance in modernity (Giddens, 2014, p. 132) is related to this situation. With modernity, individuals have to reconstruct their tastes, which determine their subjective identities

and lifestyles, over their appearances; in other words, they must perform self-control. Foucault associates this self-control with practices and discourses such as gymnastics, exercises, bodybuilding, nudity, and glorifying the beautiful body. According to Foucault (2003, p. 39), these regulatory control mechanisms seek to dominate the body and emphasize bodily consciousness and lead individuals to desire their own bodies.

As the consumption culture becomes a dominant phenomenon that determines the social sphere, the relationship that Foucault establishes between the body and the order of desire becomes even more meaningful. As a matter of fact, within the discussions on postmodernity, the relationship between the body and consumption is emphasized more prominently. For example, Featherstone states, "Postmodern everyday culture is, therefore, a culture of stylistic diversity and heterogeneity, of an overload of imagery and simulations which lead to a loss of the referent or sense of reality." (2007, p. 122). Within the said simulation excess, it can be said that the body-spirit hierarchy seen in belief-based understandings has been dissolved, and the body has been sanctified, making it familiar to the soul's position in existence and even replacing the soul with the body. In Baudrillard's words, "The cult of the body no longer stands in contradiction to the cult of the soul: it is the successor to that cult and heir to its ideological function." (Baudrillard, 1998, p.136).

The Modularization of the Body as a Space of Self

When we look at how it has been handled historically, it is understood that the body is most visible in the consumption culture. The main reason for this visibility is that the body is a vital consumption object, a unique capital. With the contribution of the developments in fashion and aesthetics, the focus of discourses in popular culture has been the visibility of the body, and these discourses, which contribute to the spread of consumer culture, have made the body the crucial consumption object (Baudrillard, 1998). As Baudrillard puts it, "the hygienic, dietetic, therapeutic cult which surrounds it, the obsession with youth, elegance, virility/femininity, treatments and regimes, and the sacrificial practices attaching to it all bear witness to the fact that the body has today become an object of salvation." (1998, p. 129).

The body is no longer an entity whose existence is proven only by its materiality but is a cultural object organized by consumption culture. The relationship with the body is not different from the relationship with other consumption objects; the organizational style of the relationship established with things and the organization style of the relationship established with the body are mainly similar (Baudrillard, 1998, p. 129). Like things, the body is in an investment/capital position guided by the pleasure principle. The body has become an instrumental form of the myth of desire, wrapped in promises of liberation and self-fulfillment. Foucault emphasizes that within this discourse of liberation, the body, adorned with

gender icons and cosmetic products, and eroticized, is no longer in the form of "control-repression", but in a new economic and ideological siege that emerges in the form of "control-promotion". The slogan of these new conditions is: "Get undressed... but be slim, good-looking, tanned!" (Foucault, 2003, p. 40).

Context of the discourse of desire, bodies are positioned as objects that can be constantly reshaped and designed. Applications that diversify in the axis of fashion, aesthetics, and health can be seen as the main areas where the body is subject to constant change and transformation with the construction of the discourse of desire. In addition, with the development of biotechnologies, cloning, organ transplantation, the development of plastic surgery, etc., these issues have the potential to reinforce the discourse of desire about the body. These developments expand the limits of desires that can be demanded through the body and artificial identity modifications. With the help of technology, the body takes on a modular structure consisting of more modifiable parts. In postmodern culture, identities, and belongings are constantly changing, such as mixing and fitting almost everything in different categories (Bocock, 1993, p. 81); the body is also adapted to an order in which technological parts can be brought together in different combinations.

The modification of the body in different ways, on the one hand, makes it an object instrumentalized by the desired production mechanisms of the consumption culture; on the other hand, it can also mean an objection to the body design organized according to the requirements of social life. Elizabeth Grosz traces the social context of the various markings on the body and states that the body is open to a two-way evaluation when looking at the modifications made. According to Grosz (1997), although such bodily modifications turn the body into a text that encourages social harmony and reflects social laws, it can also be thought of as a tool to question the discursive order of the body, to transform and update it. Technological modification of the body can also be considered in a context similar to marking with text or symbols.

The modification of the body, as Kaderli states, confines it to superficial and symbolic visibility. Behind this symbolic appearance, the body has become an object of consumption, ignored by the mind, exceeded by the use of technology, modified with a projected sense of personality, and actually disembodied[1] (2018, p. 9). With this aspect, the body is the target of capitalist policies, equipped with adjectives such as beautiful-ugly, healthy-unhealthy, and strong-weak.

Besides being a part of a social body construction by revealing the acceptance of the consumption culture, the modularized body also points to the search for new and original subjectivity that destroys the existing self-perception. Discussions on this search for subjectivity are frequently included in the axis of the concept of cyberpunk. Cyberpunk can be seen as an extension of the punk movement, which

1 However, the thought of embodiment includes an experiential body thought beyond the traditional anthropological approach's understanding of the body as a symbolic surface (Kaderli, 2018, p.164-165). As Merleau-Ponty (1962; 1999) stated, the body is a direct dimension of human experience. The embodiment experience is not something that becomes invisible when we ignore it.

has an essential place in body modification in challenge strategies. "Cyberpunk, based on a futuristic posthuman discourse, carries the deviant attitude and modification practices of the punk movement to cyberspace, biomedicine, and high technology" (Kaderli, 2018, p.170). Thus, it is aimed to get rid of the physical as well as discursive limitations of the body through technological remodeling.

The cyberpunk movement and the reflections of body modifications in popular culture products are discussed, especially concerning cyborg characters. As Murphy and Schmenik emphasize, cyberpunk not only explores the hybridization of humans with machines and thus a break from human limitations but also embraces the cyborg not as a radical metaphor but by naturalizing it and exploring its consequences on humanity (2018, p. xxvi). By blurring the machine-human distinction, cyborg characters whose bodies have been modified with various technologies also blur the traces of social norms on the body and become a symbolic expression of the search for an alternative political subject. Haraway says the cyborg is "the illegitimate offspring of militarism and patriarchal capitalism" (2016, p. 9). This means that the cyborg has an aspect that is not within the scope of the body politics of the capitalist economy and is in a struggle with the various myths built on the body[1].

The construction of the cyborg body after or with physical pain also strengthens the aforementioned symbolic expression. Because, in the context of body politics under the control of power relations, pain can be a means of engraving norms and values on the body, as it is a reminder factor. As Nietzsche puts it, "Civilization instills its basic necessities only by imprinting the law on bodies through a reminder of pain" (Grosz, 1997, p. 240). Pain is one of the means by which the subject is included in the collective memory and history. The cyborg body is gradually making traces of collective memory on the body invisible, with pain-defying technological equipment. However, when the said technological equipment is considered as a trace of the aforementioned painful experience, it should not be forgotten that the cyborg body will also become a carrier of a collective memory shaped by pain.

From another point of view, the feeling of pain reminds of the inseparable unity of body with mind, as an element that recalls the past of cyborg characters or their selves hidden in the depths of their subconscious. In addition to the feeling of pain, different sensory experiences contribute to the cyborg characters' remembering the experiences they have forgotten with various power policies being involved in the self-reflexive processes necessary for self-construction.

1 The foundations of this metaphorical perception regarding the cyborg can be traced back to the ideas of Julien Offray de La Mettrie, who lived in the 18th century and offered a critique of the understanding that declared the "body" as a machine based on Descartes' mind-body dualism. La Mettrie considered man as a machine and opposed the soul/mind-body distinction with a holistic and materialist body idea (Uslu, 2022, p. 130). According to this thinker who developed a conception of a materialist body and an embodied cognition based on "vitality", the body exists in harmonious interaction with the environment (Uslu, 2022, p. 130). Therefore, although the cyborg imagery is relatively new, the association between human/body and the machine, as well as the symbolic context of the cyborg have roots that extend far back in history.

Cybernetic Body on the Axis of Posthumanist Approach

With the developments in technology and medicine, implants, lenses, prosthetic limbs, and artificial organs placed on the body have become increasingly commonplace, and the body has gained a modular structure. As Elizabeth FS Roberts and Nancy Scheper-Hughes highlighted, medical migrations are transforming the biological realm, and new biomedical technologies intervene in vital processes of the human body, such as reproduction, aging, and death. Associated with the control over medical and biological destinies, bodies and embodied subjectivities are altered, and contemporary bodies, new norms, specific definitions of happiness, and new and potential futures are created (Roberts and Scheper-Hughes, 2011, p. 22). Considering these aspects, it becomes evident that the phenomenon of redesigning the body through technical apparatuses offers new perspectives to the discussions surrounding the subject. Technology makes it possible to view the body as a redesignable device, making our most primitive notions about "immortality" more rational and acceptable. Thus, the invaluable functionality of modernity's strategy of removing death from social life is guaranteed for consumer culture.

According to some writers, the idea of overcoming the body's limitations through technological equipment or the utopian demands for a disembodied existence is similar to the desire to "get rid of the body, which is the source of evil" in gnostic belief forms. For example, Le Breton (2019, p.10-11) claims that in contemporary scientific discourses, the body is seen as an extra limb to be rid of. According to Le Breton, in Modernity, the body perceived as a mechanism, as a collection of replaceable organs, was privileged through biotechnology and modern medicine. Reducing the human body to a mechanism was a value attributed by modernity to the body, which had been perceived as an original flaw. The admiration felt for the body, whose secrets were tried to be discovered, was equated with the admiration for the attractive technical equipment of the machine. However, in today's technical and scientific discourse, the concept of a "wonderful machine" has moved to an understanding in which the emphasis on "impermanence" is at the forefront. This understanding implies that the body does not fully deserve the discourse of being equated with the machine, — because the body is not like a machine; it gets injured, gets sick, grows old, and dies (2019, p. 15-16). From a scientific-technical point of view, the body's fragility condemns the body to a hierarchical weakness versus the mind, if not the spirit, similar to the gnostic teachings.

This discriminatory approach to the body, immanence in the humanist view that places the human with free will and reason at the center of life, appears as a substantial limitation in understanding the body. In this understanding, the body cannot go beyond materiality equipped with the necessities of biological nature. The human body is embodied by some adjectives such as healthy-unhealthy, strong-weak, beautiful-ugly, and male-female, which find their expression in refer-

ence to biological nature. One of the expressions of the humanist view in art, the "Vitruvian man" (Leonardo Da Vinci), can be seen as a symbol of this body perception.

The transhumanism approach which puts forward a similar perspective about the body, is a system of thought that aims to overcome the bodily limitations of human beings through technology and affirms to use of the opportunities offered by technology to the fullest for this (Akyol Oktan, 2019, p. 288). In this system of thought, the emphasis on the "impermanence" of the body, as Le Breton talks about, is at the forefront. The body is in the position of an imperfect object that needs to be healed or even replaced with a technology that will not get sick or injured. Therefore, it can be said that the ideals of the Enlightenment were revived with a transhumanist perspective, and the mind-body distinction was carried forward.

At the other side, the interaction of the body with the machine is also a source of thoughts that contradict transhumanism. The posthumanist perspective is based on the idea that the body should be freed from anthropocentric stereotypes and affirms the machine-human integration as a critique of the anthropocentric subject design of the Western philosophical tradition, contrary to the anthropocentric emphases of humanism and transhumanism. From a posthumanist perspective, machine-human integration, by blurring the boundaries such as human-machine, mind-body, natural-artificial, and woman-man, turns the traditional, hardened understanding of the subject upside down (Braidotti, 2014). In this context, embodiment in posthumanism breaks the hierarchy between body and mind within the idea of an ambiguous subject that makes the body independent from its physical form and necessitates physicality.

Posthumanist arguments have attempted to integrate the human subjectivity position in existence with a transhuman understanding, with a body conception beyond Cartesian distinctions. Thinkers such as Gilles Deleuze, Rosi Braidotti, and Donna Haraway contribute to this effort by putting forward their views within this framework. All three authors think it is necessary to perceive the body not as a pure biological form but as a necessity of embodied experience. They see embodiment as part of a process of subjectivity that involves the material elements of the body and transcends it, including non-humans. Deleuze's "becoming", Braidotti's "nomadic subjectivity" and Haraway's "companion species" concepts are based on this kind of embodiment.

In Deleuze's philosophy (2007), "becoming" means to have a body but to exist in a necessary relationality with other becomings by transcending the traditional form of this body. Becoming is a process in which a person continues to be oneself and proliferates by turning towards something other than oneself. Emphasis on becoming relationality with others and being hybrid destroys the values and presuppositions fixed on the body, because becoming is about transcending the selves built by society and engraved on the body and revealing different meaning potentials for our existential integrity.

According to Braidotti (2017), the body has a complex structure as the conductor of flows, energies, desires, and emotions. The author states that the body should be seen as "the intersection point of the physical, sociological, and symbolic" (2017, p. 38). From this point of view, the body is positioned beyond its materiality as a social construction and in a flux/variable, nomadic process.[1] Nomadism is also based on an ethic of zoe-geo-techno-linked egalitarianism based on interspecies relationality (Braidotti, 2017, p. 39).

Similar to Braidotti, Haraway thinks that the stabilities should be blurred by reversing the oppositions such as self/other, mind/body, woman/man, and machine/human that affect the way of perceiving the body. According to the author, such an originary deconstruction means "to be multiple, without clear boundary, frayed, insubstantial" (2016, p. 60).

A reckoning with the humanist perspective engraved on the body draws attention to the approaches of all three authors. The authors object to humanism's representation of the body, which is based on constancy and norms and considers man superior to other beings. Of course, this does not mean that people should be lowered in terms of status. An understanding based on interspecies relationality can also be evaluated as "human's excessive exposure and disappearance at the same time" (Braidotti, 2019, p. 62-63).

Today, the body has been reconstructed as fluid, multiple, fragmented, and dispersed depending on technological developments, and the question of what the body can turn into has gained more importance than what it is (Bell, 2001, p. 150). The cyborg, which expresses the integration of machine and organism, can be seen as a figure embodying those wonderings about this question. Although the cyborg body is frequently discussed in terms of its potential to be an ordinary object of desire production policies with its aesthetic, powerful, and gendered features, it is also the subject of discussions to question the possibilities of the alternative subject and body design mentioned in the discussions above. In particular, Haraway's book *The Cyborg Manifesto* (2016) has been one of the sources that increased interest in the subject. According to Haraway, the cyborg challenges the Cartesian tradition of thought by blurring the boundaries between machine and human. The cyborg "has no origin story in the Western sense" (Haraway, 2016, p. 7). Therefore, it was not affected by the cultural codes engraved on the body. In this context, the author uses the cyborg figure to suggest a relational, hybrid subject idea against the essentialist understanding of humanism's definition of the masculine subject. This understanding of the subject requires seeing the body as a fluid process based on anti-humanism.

While developments in biotechnology are revealing concerns about the essential nature of who we are and where we are going (Fukuyama, 2003, p. 126), the cyborg character standing on one side of these concerns also reminds the question of whether there is such a thing as "essence", which is the subject of these

1 The idea that the origin of our understanding of the body is not ontological but cultural is also known from the views of Judith Butler (2008).

concerns. The question of "what is the human essence that we are feared to lose" is the most essential message that the cyborg body reflects. This kind of "anti-essentialism" is at the center of posthumanist discussions, and this approach is too often discussed through cyborg images.

Cinematic Images of Modular Bodies

The body, suspected in the Western philosophical tradition since ancient Greek philosophers as the symbol of human incompleteness and being thrown into an imperfect world, is often objectified in cultural fiction through cyborg characters produced in comics and cinema. Mechanically equipped human representations are prevalent in these narratives, which offer fantasies about compensation for the said feeling of incompleteness through the promises of technology. It can be said that the fragmented, eclectic, and variable body presentations offer clues about the social unconscious and contribute to the cultural meaning through the images they present to the cultural field. So, the meanings established regarding the body in cinema narratives are an important field of study in terms of body discussions.

Body Designs in Sample Movies

The films in which the Gally/Alita characters examined in the study are in the center were adapted from Yukito Kishiro's manga, *Gunnm*. The story, which was transferred to the cinema as an anime by Hiroshi Fukutomi with the same name, transferred to English as *Battle Angel Alita*- in 1993, was re-shot in 2019 under the direction of Robert Rodriguez the name *Alita: Battle Angel. The story of Gunnm* and *Alita: Battle Angel* is substantially the same. In both movies, the story of the quest of the cyborg about who she is, whose body was found in the junkyard by Dr. Ido, and brought back to life after new parts and fluids were added to it, is told. The animation method and technology used determined the difference between the two films. *Gunnm* is a two-dimensional animation. For this reason, the differences between the appearance of the bodies of cyborgs and humans are less distinct or not distinct. However, *Alita: Battle Angel* was made when animation techniques were more developed. Live-action and three-dimensional animation methods were used together in the movie, and cyborgs, robots, humans with biological bodies, etc., the type and body diversity of the characters are visualized more concretely.

In these films, the story takes place in a dystopian universe where the possibilities of science and technology develop considerably in the 26th century. As in many other cyberpunk films, living spaces are divided by insurmountable boundaries in this film. There is a definite hierarchy between the sky city of Zalem, a kind of utopia built with advanced technology, and the lower world (Iron City). Iron City was built with waste from Zalem and owed its existence to the garbage from there. While the characters of the lower world are fascinated by Zalem's largely discur-

sively constructed magnificence and charm, they also unwittingly play a role in meeting its needs. The state has completely lost its function in this dystopian world, and the Factory has replaced the state organization. The police who provide security and try to prioritize crime, have been replaced by hunter-warriors, who are also a part of the crime. In Iron City, mixed animal-human-robot hunter-warrior cyborgs, fully machined robots, humans, animals mixed with living organisms and machines, and animals consisting entirely of living organisms live under the city's strict rules known to everyone.

In the cyberpunk universe in which the narrative takes place, bodies that were utterly human before do not die due to the accidents they have had- unless their spines are not damaged in *Gunnm* and their brains in *Alita: Battle Angel*- but are transformed into cyborgs. A repairable, modifiable, decomposable body is first seen in the movie when Doctor Ido takes Alita, who has no body or limbs. However, for original core in her organic brain is still working, he assembles it into the mechanical body he made for his dead daughter to walk. The Berserker, the 300-year-old body Alita will later find, is a nanotechnology that can adapt to the brain and reshape itself according to the self. Berserker, which integrates automatically with Alita, is defined as the most advanced weapon in the world beyond being a technological system. Transformed into a device that can be redesigned repeatedly, the body thus acts as a weapon that can be worn and a human-machine hybrid cyborg.

Cyborgs have become the entertainment tools of the consumer culture of capitalism. For example, in motorball tournaments, they fight so hard that their parts or existence will be completely destroyed, cyborgs turn into objects of spectacle, and people watch this race enthusiastically. It is not a coincidence that the name of the unit that manages the city organizes these tournaments and uses the cyborgs as the killing team (hunter-warriors) is Factory. Moreover, the Factory buys organs such as arms, legs, and eyes, which it stolen from cyborgs by using organ gangs, and it sells them again or sends them to the sky city of Zalem to be used in new bodies.

It is understood that more advanced cyborgs live in Zalem, which has much more advanced technologies for transforming the body. Nova is an immortal cyborg, ruler of Zalem and, thus, of the Iron City. It has an organic body, and its body is, in a way, technology itself. Nova, who can enter the body it wants through a digital network, control them, and communicate with those in the Iron City through this method, is fully integrated with cyberspace. Nova is a machine-human-digital hybrid entity. Thus, in the film, the body ultimately moves away from being an indivisible structure with definite boundaries. The body's limitations are overcome, and the body is exhibited in a completely fluid, variable, and modular structure that almost reaches immortality.

Ghost in the Shell is adapted from the manga by Shirow Masamune, and the last part of the narrative universe, *Ghost in the Shell:* SAC_2045 - *Sustainable*

War, based on the same story, describes a technologically advanced world in the future where the digital network is used unlimitedly. Oshii's film is about Major Kusanagi, an advanced cyborg tasked with Episode 9 of the cybercrime and counter-terrorism unit, battling a computer program nicknamed the Puppet Master that hacks into cyborgs' brains and the bodies it controls. In the film, in which concepts such as human, cyborg, and digital networks are questioned ontologically, the main character will unite with her rival software to create a new way of life. In *Ghost in the Shell: SAC_2045 - Sustainable War*, a narrative is established in which Kusanagi is at the center, but the 9th branch has been disbanded, and its members continue to operate in different countries as a mercenary group called Ghost.

Ghost in the Shell movie focuses on a dystopian universe in 2029 with cyborgs created by companies, experiencing identity confusion, unlimited data, and information networks, and hacked minds in these networks. The bodies of some characters are completely connected to the digital network. Through the technology they call mind speech, cyborgs can speak through their minds, no matter how far they are, without moving their lips. There is complete fluidity, modularity, and hybridity in terms of the body. Like Alita, Kusanagi maintains her existence in complete fluidity in various bodies and environments, such as her body, the cyber network, and the body she joins with the Puppet Master. Differently; The Puppet Master, is a coded computer program full of neurotechnological mechanisms that developed itself without being tied to anybody's form. This hacker hacks into cyborgs' brains and enters their bodies, even fictionalizes their pasts and convinces them of their fake lives.

In the movie *Ghost in the Shell: SAC_2045 - Sustainable War*, which tells the year 2045, mechanical bodies are made from three-dimensional printers and dead bodies are replaced with artificial ones and renewed with ideal designs. Functionally perfected bodies with limbs such as the cyber brain, cybernetic body parts, and mechanical eyes appear as a heterotopic space between various layers. This hybridization between organic and cybernetic makes a hybridization possible regarding function. Body parts that can be connected to virtual reality environments and enable movement in digital networks have turned into mechanisms that can be turned on and off when desired. In this film, layered digital worlds are also designed in parallel with the physical worlds; the characters can act through different parts of their bodies or act as a different existence. Human, robot, or cyborg bodies are fully integrated with the network. The film universe can be passed from the physical to the virtual environment, and the flow of time and events can continue in a new environment without each other's past or future. From this point of view, virtual images can turn into actual images instantly, and actual images can turn into virtual images instantly. Unlike *Ghost in The Shell*, this universe has no virtual-reality distinction. All physical and virtual environments are real and open to experience from most aspects' angles. Characters, objects, etc., can exist simultaneously in multiple spaces. This space is also often open to manipulation by others.

Therefore, threats to the body also present layered and multiple appearances. As emphasized by Swale (2020), Akşit (2017), and Tembo (2017), it is clear that not only bodies but also many elements such as space and time in the film have a fluid, interactive, modular, and fragmented structure connected to cyber, nano, and neurotechnologies.

Desire Games and the Cyborg Body

The decomposable, fixable, changeable appearances of cyborg bodies are in parallel with the fluid body presentations of the consumption policies operating in the social sphere. It can be said that the fashion and aesthetic discourses transforming the body as an object of desire into a constantly changing commodity are represented by technological reproduction in cyborg characters. The fragmented, eclectic structures of the cyborg characters in the examined films, in a way, reflect the body's position that turns into a capital in the consumer culture. For example, in the movie *Alita: Battle Angel*, Alita examines her body as soon as she wakes up, right after the scene where she is embodied for the first time. However, her attention is focused on the aesthetic appearance of her body, not its mechanicalness. She rediscovers her body as a beautiful design, as a kind of object of desire. In Baudrillard's words, in order for the power of desire to be transformed into a rationally manageable object/sign demand, the individual has to rediscover his body and invest it narcissistically — the formal principle of pleasure-" (Baudrillard, 1998, p.135). In the moments when Alita discovers herself, the "principle of pleasure" draws attention beyond the curiosity of finding herself.

When the tattoo-like patterns, which are the product of a masterful handwork on Alita's body, playing an essential role in the relationship of pleasure she establishes with her body, are evaluated in the axis of Grosz's views (1997) on body modifications; it is possible to evaluate the body of the character as a kind of text in which the codes of the social order are engraved and which is the sign of harmony with this order. As Nietzsche emphasizes (qtd. Grosz, 1997, p.240), traces in the body are remnants of collective and bodily memory. Therefore, these traces make the body a part of social life. As soon as Alita woke up while examining the marks on her body, she interacted with parts of social memory, although she was not aware of it yet. The body's position in social memory is primarily related to consumption or capital value.

The bodies of Alita and the other cyborg characters in the movie are objects consumed in the current order. Alita's face, especially her big eyes, resembles mass-produced dolls, which is among the factors that reinforce this situation. In Alita's eyes, both the over-meaning and absence of desire, which Baudrillard expresses with the phrase "objectless gaze" and the metaphor of "medusa eyes", draw attention. In this approach, which Baudrillard associates with the female model body, he particularly states that the medusa eyes are confused and pure indicators. According to him, these indicators show that attempts to exalt the body actually

result in the loss of the meaning and reality of the body through a hypnotic process (Baudrillard, 1998, p.134). It is possible to see a similar state of being lost and meaningless in Alita's enchanting eyes.

The Kusanagi character of the *Ghost in the Shell* universe has similar features to Alita's commodification of the body. While Kusanagi's flawless appearance is an ordinary indicator of fashion and beauty values, the character's body which is expressed as a "shell" of the ability of invisibility, can be considered a more abstract style of expression on the subject. The appearance and disappearance of the body can be associated with the feature of the body which is the object of desire, as a visible and disappearing place of pleasure that can never be fully satisfied. On the contarary, this invisibility reflects the views of the modern age, in which the visibility of the body gains importance, rendering the body meaningless at this level of visibility.

Apart from *Gunnm*, the bodies of the cyborg woman, the main character in all the films, are made an object of desire and exposed. The design of the female body as a symbolic means of exchange reveals a form of domination (Köse, 2011, p. 81). This domination is based on excessive sexualization. The characters' emphasis on sexuality combined with masculine stamina emerges in the form of exposing the body rather than a potential or quality attributed to these women. Combining power and beauty, fetishized by various cinematographic preferences, cyborg female bodies are surfaces that invoke the desire of the masculine eye. Counter light that emphasizes the body lines and separates the characters from their environment is widely used in low-angle shots and close-ups that present the body in parts.

Although these characters often do not engage in romantic love affairs with the male characters in the narrative, they invoke the male gaze with their unruly energies, athletic performances, and radiant charms that highlight their rounded lines. The attraction, which combines performance and appearance, is also associated with the bodies' sterile and glittering external view. Their bodies are flawless, clean, and well-groomed, even after their deadly struggles in various venues and sometimes in quite filthy environments. The sparkle and stunning sterility of the mechanical body are always preserved.

In Ghost in the Shell, Kusanagi's undressing from time to time to activate the transparent outfit that covers her skin which makes her invisible in battles with her opponents, is also an act that appeals to the masculine eye. As Oktan (2019) emphasizes, these not-so-short moments of the character make her, from time to time, the intersection of the other characters, the camera, and the viewer's gaze. Conversely, none of the male characters are shown naked. In the words of Kakoudaki, the artificial female body is sexy, seductive, and conducive to sexuality not despite its mechanicalness, but precisely because it is mechanical (2014, p. 83). On this surface, designed as an aesthetic and cybernetic shell, it is often depicted that a fragile and needy soul is struggling with various existential problems.

One dimension of the interventions towards the body is the individual's desire to perfect her/his body as a kind of self-building. Practices such as fitness, body-building, plastic surgery, and tattoos to better reflect the individual's existence and achieve a more desirable and ideal body image emerge as unlimited options within the strategies of visualizing the individual's existence, albeit temporarily. The radical redesign of the body through such interventions, being reflections of the body politics specific to the consumer society, which Foucault emphasizes as functioning in the form of control-promotion (2003, p. 40), also reveals a distance between one's body and perception of it. Alita also sees her body as a kind of self-construction tool. She looks for clues about her past and self that she cannot remember in the performance of her body. She adopts the body found on an old warship as part of this self-construction. It is possible to evaluate Alita's desire for self-perfection as well as search for her past in parallel with the visualization strategies of consumption policies. So much so that in the consumption culture where the production of pleasure precedes the production of meaning, individuals tend not to deepen their personalities but to improve their physical appearance.

Alita's steps towards exploration and improvement of her physical appearance and skills can be associated to the mechanisms of desire production of consumer culture, as well as to the demands of production processes for institutional efficiency at the level of action and appearance. Chris Shilling and Philip A. Mellor (2007, p. 534-535) mention that production policies advise individuals to be willing and always ready to shape their bodies as a productive resource, a physical capital. According to them, this puts individuals under increasing pressure to respond to productive demands to discipline their bodies. Nancys Scheper-Hughes and Margaret Lock (1987, p. 23) argue that, in addition to this pressure that the body is subjected to concerning production, the Cartesian legacy and the materialism and individualism of biomedical, clinical practice also have an impact on the phenomenon of alienation from the body that emerges with the division and organization of arm and head labor in a hierarchy. It is seen that Alita has to renew and develop her physical performance constantly, that is, discipline it, in order to survive in the social conditions she lives in.

Compared to the older versions of films with the new ones, it is noteworthy that the bodies can be changed more frequently and easily, and the principle of "desirability" is more evident in the design and presentation of bodies in recent films. For example, in *Gunnm*, the main character is placed in the body of a frail teenage girl. This body is quite different from the firm, radiant, sterile, athletic body in the new version of the movie. In Rodriguez' film, the main character, the body that Dr. İdo assembles, has a much more aesthetic appearance. It resembles an outfit decorated with pastel-colored lace prepared for a special night, rather than an artificial body. In *Ghost in the Shell: SAC_2045 - Sustainable War*, cyborg bodies, especially Kusanagi, present a much cleaner and more desirable appearance.

In particular, Kusanagi's smooth skin and the colorful and sparkling charm of her clothes, face, and eyes are often highlighted in close-ups.

Male bodies, which are mostly seen in supporting roles in these films, present a more allegorical representation of masculinity, with their solid and flamboyant muscles that make them invincible, and their corresponding narcissistic appearance. The charm of the artificial man derives from his actualization of a narcissistic ideal that transcends the visually constructed sublime and the fragility and weakness of the body. The mechanical parts of these characters are especially emphasized as fetish elements. The mechanical harmony emphasizing Alita's aesthetic grace becomes a tool of the narcissistic image of the hunter-warrior Zapan. Zapan's metal body, which is not covered with leather or clothes, is displayed in all its details and arouses the admiration of other characters, reflects a flawless rationality made visible by technology. Motorball heroes, some hunter-warriors, and criminals, go beyond the human appearance and turn into grotesque beings through the functional parts added to their bodies.

As the body, which can be changed endlessly in these narratives, becomes fluid, it becomes a mask that anonymizes the true identity of the characters. There is almost no connection between the body and the identity immanent to the soul that is put into it. Moreover, the reality reflected from the body's surface hides the self, its mover. Baudrillard (2009) emphasizes that in the contemporary world, where everything becomes a surface and appearance and changes rapidly, the modern individual, which cannot be truly deepened, becomes anonymous and disappears. The body has ceased to be a prison; it has turned into a hiding place where the soul infiltrates. In this respect, while the body reflects the external world through the games of desire, it also turns into a kind of mirror that hides the mysteries inside.

Embodiment, Subjectivity, and Posthumanist Expansions of the Cyborg Body

Artificial humans or cyborgs, fantasies produced in popular culture and primarily based on scientific and technological developments, correspond to an ontological boundary violation between machine and human. Neither fully human nor machine, but simultaneously, these characters become mediators of discussions about what it means to be human. As mentioned by authors such as Mizukoshi (2018) and Komel (2016), both Kusanagi and Alita, who experience a deep existential gap between the prosthetic body and prosthetic memory in the films that are the subject of the study, are in search of a holistic semantic framework for their self. These are searches which tend towards an origin and a ground of belonging on which the characters can build their identities; likewise, it tends towards existential inquiries in which hybridity, going beyond Cartesian dualities and anthropocentrism, is also problematized. In another respect, the characters carry out these interrogations through the connection or disconnection rela-

tionship they establish with their bodies. The rediscovery of the prosthetic body and its abilities, the search for meaning associated with these abilities, or the depression arising from the artificial nature of the body transforms the body into a tool for the characters to look deeper into themselves. For this reason, it is seen that both Gally/Alita and Kusanagi frequently look at their images reflected from surfaces such as water, glass, and mirrors, and each time, in a sense, confront themselves through their reflections.

When Gally/Alita realizes what Doctor Ido found in the junkyard and reassembled into a new body, she sees her new body's hands and immediately gets up and stands in front of the mirror. She looks at her body and tries to recognize this alien new body. She even touches the mirror with his finger to ensure whether this reflective surface is a kind of passage or not. Alita's interest in her mirrored body is visualized as a magical exploration. The character examines her body in front of the mirror with childlike curiosity and fascination. After the scene where Alita learns that her strong heart from her old life is a highly advanced technology core and that she is a warrior, she also discovers her body in front of the mirror again, and this time to improve her fighting skills.

Kusanagi, the main character of *Ghost in the Shell*, carries her existential pursuits beyond reflected images. She dives into the ocean's depths, hoping to feel something that might make sense of her existence, even though it could be detrimental to her mechanical parts and circuits. As she rises to the water's surface, she encounters her image reflected. And sometimes, she watches lifeless mannequins in the shop windows with a few parts of their bodies missing. The camera which frequently frames the character's face in close-up, is almost used to emphasize his pensive eyes, which never blink. The character's gaze is not directed to the physical world but to a search for a reality deep within herself.

Anneke Smelik points out in her *Cinematic Fantasies of Becoming-Cyborg* article that Landsberg emphasizes that in scenes reminiscent of the Lacanian mirror phase, reflective surfaces allow for an enigmatic moment of self-recognition and even self-reflection. Pointing out that such plans are preferred in injury/repair scenes, Smelik says that the main exciting thing here is the indecision of even the cyborg about her/his situation: "Who are they? Man or machine? Why do they experience pain or feelings? Do they have memories" (Smelik, 2010, p.94).

Kusanagi's phrase "I am on my period" at the beginning of the movie as the cause of the parasites in his brain; Alita's shedding tears while she has a completely machine body except for her face; the scenes in which she experiences the tastes of foods are the moments when precisely those questions which pointed out by Smelik, are asked by both the characters and the audiences: Are they machines or human? If they are human, why are their bodies machines? If they are machines, why do they have feelings? Who are they really, or where do they belong?

Kusanagi's existential quest is more about whether she is human enough. This is not an ontological questioning, but is a quest, designed in the way that

the subject defines and makes sense of its own existence through experience, is closer to a Sartrean approach. Kusanagi tries to refresh her experiences by observing the ordinary in the city's streets and diving into the ocean's depths. She experiences both the mundane and the extreme to re-remember her biological body's memories and rediscover her humanity.

As for Alita, every scene where she rediscovers her existence in front of the mirror takes place in the moments when she enters a new phase of her life, takes on a new identity, and is on the way of constructing herself. In the first, the affectionate and childlike self that she acquired with Ido's daughter's body; in the second, her discovery of her past by regaining her original body; and in the third, determination in her struggle against the big brother, Nova with her firm body and determination is reflected in the mirror. The movements and confident stance of the character while looking at herself in the mirror, in a way, reflect the self-approval of the body image she presents.

At this point, the existential inquiries of the characters reveal an anthropocentric approach from time to time. The fact that cyborg characters mirror an anthropocentric view is primarily related to the fact that they are a tool for humanity to think about itself. Questioning of how human we are, whether we owe our human status to the mind, the spirit, or the senses, corresponds to a narcissistic attitude in a way, and the artificial body becomes the mediator of this attitude. The mentioned mirror metaphor is also significant in this respect. The images of Alita and Kusanagi in the mirror or in the water reflect the modern human's alter egos. As Le Breton puts it, "Every day, thousands of men and women are always in front of the mirror – because there are mirrors in the halls and the exercises require the presence of the mirror – destroying their bodies, which they reveal as their alter ego (weightlifting ego). The point is to manufacture himself/herself, to transform his/her body into an object that will gain value" (2019, p.40).

Another feature of cyborg-themed narratives is that they reflect the uneasiness caused by the technological bodies being equipped to replace humans. This uneasiness is related to the fact that the hardware potentials of the cyborg far exceed human qualities, as well as contextual content similar to that expressed by the disruption of body integrity in contemporary horror films with the theme of "body horror". The concept of "body horror" was used as a label, in the 1970s and early 1980s, for a series of horror films made by David Cronenberg, a variety of zombie, monster, and creature-themed films, as well as slasher films characterized by the violation of the human body in the 1970s and early 1980s. While the concept has been subject to evaluation from feminist, socio-cultural, and psychoanalytic perspectives, the discussions within this framework converge on the question of what truly makes the spectacle of bodily horror terrifying from a biological standpoint. One of the answers to this question is undoubtedly the fear of power loss in humans (Cruz, 2012, p. 161-162, 164). Both *Alita: Battle Angel* and *Ghost in the Shell* feature cyborg types that can be associated with the concept of "body horror".

The disturbing nature of the disruptions in the bodily integrity of these cyborgs reinforces the fear of power loss.

These concerns that humans are reducible to a mechanism can be seen as signs of a humanist mentality because the fear of humans merging with machines is related to the assumption that humans have an essence and can lose this essence through technology. The fact that all bodies are human-shaped in all of the films examined and their faces are made of flesh and skin, no matter how mechanical their bodies are, can be evaluated as an extension of the fear of losing face, which is the carrier of that essence and identity.

One of the focal points of the discussions on the cyborg body is about dualist boundaries such as mind-body, machine-human, and natural-artificial. The emphasis that a healthy mind is sufficient for continuing existence reproduces the mind-body dualism in all the films reviewed. In this respect, it can be said that both Gally/Alita and Kusanagi characters are the protagonists of a narrative parallel to the humanist approach, which implies the vital superiority of the mind.

However, although these characters are figures in which the mind and body are handled in a distinctive structure, there are also indicators in different parts of the narrative that this dualism is questioned. For example, in the movie *Gunnm*, the part that distinguishes a person is the spine, which is also a part of the physical body. Damage to the spine also means the end of human originality. The body, which preserves its originality through the spine, also has its memory, which preserves its existence at the subconscious level. The abilities of the original body are automatically remembered at the time of crisis. The body's movements and experiences enable it to remember who it was, where it was, and its past existence. The fact that the body has its memory gives it an autonomous subjectivity. In the movie *Alita: Battle Angel*, the thing that keeps life alive and makes it possible to remain human is that the brain is not damaged. Therefore, the measure of being human is that the brain is biological, as in *Ghost in the Shell.* Changing or modifying other organs is insignificant in terms of asset categorization.

The fact that the body has a memory, a kind of subjectivity is attributed to it, and the relationship established between mind and body reminds approaches that argue that the mind and body are closely interconnected. It can be said that such cinematic images have parallels with the views of thinkers such as Ryle (2009), Merleau-Ponty (2006), and Nagoshi & Nagoshi (2012) against the mind-body duality. Furthermore, Scheper-Hughes and Lock's views on the perception of the body in medical anthropology are essential in the sense that they contribute to evaluating these images together with the prejudices rooted in Cartesian oppositions in clinical medicine. According to the authors, Western science and clinical medicine, due to their commitment to dualities such as mind-body, matter-spirit, and real-unreal, have disregarded a holistic understanding of the body by fragmenting it into its organic and psychological aspects or individual and societal dimensions. However, Scheper-Hughes and Lock argue that the body should be perceived not

as a fragmented, expansive, and complex machine but as a microcosm of the universe (1987, p. 8-10, 21). The portrayal of doctors and medical interventions in the films *Gunnm* and *Alita: Battle Angel* provides clues regarding the role of clinical medicine in the loss of this perception of bodily integrity.

Another indication of the loss of the body's perception of wholeness is related to the separation of affect from the mind. Contrary to psychoanalytic and psychobiological perspectives that reduce emotions and passions to a discourse focused on innate drives or instincts, emotions constitute a part of the integrity of the body (Scheper-Hughes and Lock, 1987, p. 29). In *Gunnm* and *Alita: Battle Angel* movies, Gally/Alita finds answers to her questions about her existence thanks to her affections that include the unity of mind and body. Affective memory, invoked through the bodily agency, activates the conatus of being. As Spinoza (2010) argues, the experiences of the body generate ideas, leave a trace in the mind, or the feeling takes place in the body, and this is again settled in the memory. Therefore, it is necessary to consider the unity between mind and body also through the concept of "embodied experience". Shilling, drawing on Dewey's views, emphasizes the significant role of physical experience in thinking processes. The fact that cultural exchange is largely mediated through the senses is a fundamental indicator of the relationship between thought and experience. Although the source of thoughts at the level of consciousness is education and knowledge, the act of thinking gains maturity at the sensory, experiential, that is, bodily level. Thus, thought cannot be reduced to environmental influences or mental processes. Existing, thinking, knowing, and acting necessitate an organism-environment interaction that involves experience (Shilling, 2017, p. 1209-1210). In the film *Alita: Battle Angel*, Alita's renewal of her memories through her bodily performances indicates the connection of experience with consciousness.

Ghost in the Shell's director Oshii, with a similar approach, believes that omoi, which includes "thought" or "feeling", is still a valid thing. He writes, "to explore what happens when memory and body are unreliable as foundations of the self and affect are the only remaining mark of the self" (Orbaugh, 2008, p.161). Kusanagi thinks that things like a face, an unnoticed voice, the hand seen on waking, childhood memories, thoughts about the future, and the massive data network accessible by the cyber-brain, are the things that make up the consciousness called self and also distinguish herself from others. It can be said that "ghost", an essential concept of the cyber world in the film, is an inner whisper that fully meets the concept of affect, including emotion and thought.

In this framework, the lack of a clear hierarchy between rational reason and intuition is a remarkable discussion in all the films examined. For example, Alita unquestioningly clings to the fragmentary remnants of her memory, which she does not fully control over. She accepts out-of-context instructions that appear in vague memories, of which she does not know the before and after, as a part of herself. What pushes her to embrace a fragmented self so much is an intellectual

intuition that is not disconnected from the mind but highlights sensory content. Similarly, Kusanagi is also in an intuitive search in diving moments. These scenes, in which reason and intuition do not contain a hierarchical opposition, can also be evaluated as an objection to the rationality emphasis of the humanist subject.

Blurring the boundaries between mind and body is an essential indicator of anti-humanism, because in the alternative subject definitions mentioned in the posthumanist discourse, the body is not a phenomenon whose materiality can be given up. In this conception of the subject, the body corresponds to an area where the performative possibilities of the material form and the process of becoming coexist, and where no opposition is established between the concrete and the abstract.

In these narratives, due to the hybrid nature of the cyborg body, the blurring of boundaries, such as machine-human and natural-artificial, also opens the door to debates beyond anthropocentrism. As can be remembered from the approaches of thinkers such as Deleuze, Haraway, and Braidotti, deconstructing these dualities is essential in breaking down the humanist tradition's stereotypes. Thus, human can turn to a new understanding of embodiment through an ethical understanding based on the principle of interspecies equality beyond their natural form. The cyborg body can be seen as a symbolic expression of such thinking.

Hybridization, which results from organic and technological merging, also reflects a notion of subjectivity that experiences differences. *In Ghost in the Shell*, the Puppet Master encourages reflection on the idea of a nomadic subjectivity while expressing the potential of bodies to transform into more easily manipulated objects that are more open to external threats. The Puppet Master is pursuing a new life form by exceeding the limits the authority sets. While programmers try disconnecting him from the network, he defends himself, saying, "I am a life form born in a sea of information". This becoming brings up an understanding of subjectivity that includes non-humans.

Haraway (2010) argues that ignoring, controlling, or preventing the encounters between bodies will also eliminate the potentials and freedoms that may arise due to these encounters. She says, "There is an abundant network of mutual formation, co-evolution, communication, cooperation that will help us rethink the issues of communication and control that lie at the heart of the cyborg figure" (2010, p. 254). It is possible to see a similar experience of encounter, state of being, and cooperation in the Puppet Master's expression of himself in the female body with a male voice. This indicates that being a woman and being a man felt simultaneously coincides with the anti-humanist ideas of subjectivity, which is also evident in Haraway's thoughts and is based on the importance of feeling the other. It can be said that Kusanagi's words, "I feel as if I can transform into something else", when she rises from the sea to the surface and her desire to dive into the mind of the Puppet Master draw attention to the potential of encountering and sensing the other. Thus, modularity allows questioning the possibility of a nomadic subjectivity that breaks the male-female dualism and the hierarchy attached to this dualism.

As it will be remembered from Deleuze's views, the process of becoming corresponds to not giving up being oneself completely while increasing by sensing different becomings. The experience of Kusanagi and the Puppet Master's merging on the network describes such a becoming. After this merger, when the character Batou asks Kusanagi, "Is he still in you", referring to the Puppet Master, Kusanagi, who is in the body of a little girl, answers that "in front of you, neither the program called Puppet Master nor the woman known as Major". In her answer, an idea of subjectivity pluralized by different becoming resonates. It is a hybrid, heterogeneous, fluid body formed by merging two insubstantial bodies. As Corbett (2009) and Miner (2014) pointed out, this is a new body with the potential and hope to collapse ontological distinctions and make new life forms possible, created by agents who can take responsibility for technology instead of rejecting or being a victim of it.

All these discussions about the body are closely related to the attitude toward the role of technology in our lives. When interpreted from a transhumanist perspective, the cyborg body gains a humanist identity; but within the framework of posthumanist approaches, it can reflect criticisms of anthropocentrism. In this context, the cyborg is open to argument on the axis of humanism, which includes admiration for the bio-technologies of the future, as well as within the framework of anti-humanism with its aspect that overthrows the myths of origin.

Conclusion

In philosophical and sociological debates on the transformation of the body, it is often emphasized that the body becomes more visible than ever before as a kind of area of diversity and attraction. The body, which has become the foremost place of self-realization or, in other words, the production of self-image, has turned into a project in connection with the perfection of physical appearance, overcoming biological limitations and immortality desires. The body, whose boundaries are expanded, possibilities are increased, redesigned, hybridized, and fluidized through technology and medicine, has ceased to be a tomb where the soul is trapped.

Cinematic images, and especially cyborg figures, are examples where ideals related to the body, and the modularization of the body become visible at the most extreme level. In the films examined within the scope of the study, it is seen that artificial humans or cyborg characters have similar diversity in terms of the components that make them up and the elements that make them human. In these films, methods such as the mechanical parts attached to the organic body, the transplantation of the organic brain into a prosthetic body, the placement of the characters who have entirely lost their organic integrity in another body, the artificial intelligence gaining subjectivity by developing itself and merging with another human, and disembodied forms of existence, are the imagery of the artificial human.

The body, constantly changing and fluidizing through various design instruments and advanced technology in films, is closely related to social body fictions, which are transformed into an object of desire and constantly reshaped in the social arena with fashion and aesthetics discourses. As the body is a product of consumer culture and identity politics, it has gained a privileged place and become visible by getting rid of its former invisibility. However, this visibility is superficial. It results from the reflexive logic of social formation, which Bauman (2018) defines as liquid modernity, and Giddens (2014) the late modern period. In this context, the fragmentation and modularity of cyborg bodies in films can be associated with the necessity of the modern individual to construct, perform, be fluid, and have a view of himself in a state of constant change (Giddens, 2014, p. 267) that Giddens also emphasizes. In such a relationship, the cyborg indicates that although the body is not in a weak position against the mind or spirit, it has lost its identity with the self and has turned into a raw material open to all kinds of modifications. For the cyborg, it can also be called the technological beautification of the body, which is the object of desire games. The cyborg body, created by the combination of the organic and mechanical, exemplifying an uncanny existence, is imagined as a field of attraction with the strength and durability promised by the mechanical, its unlimited design, and modification ability.

In the films examined, the attraction of the cyborg body is related to the visual pleasure embodied in the image of women, who are at the center of the narratives, designed as heroes who are omnipotent with their beauty and unstoppable energies, as well as the power and modularity it promises. The bodies of cyborg women, eroticized, fragmented, and fetishized, transformed into desirable surfaces with color and light arrangements, are transformed into a cult of perfection through concepts such as strength, durability, and desire. The cyborg female characters' resistance identities, physical capacities, speed, determination, and abilities also establish them as subjects and present them as alter egos. This cinematic strategy prioritizes the gaze toward the body. This body design, established with the view of the omnipotent external subject of the cinema — the spectator — corresponds to a "social body". Thus, the body, established as an entity in itself and glorified as a perfect design, is, in fact, the object of desire plays and a spectacle.

One dimension of the discussions about the body in the films that are the subject of the study is the questioning of whether the cyborg characters are human enough, what it means to be human, and how the body can be made sense of under these conditions. In this context, cyborg characters present somewhat ambiguous images. The main element that makes these characters uncanny is that they simultaneously contain the idea of a dependent subjectivity, which is the object of desire production policies, and an unlimited, unbound, rootless subjectivity based on becoming. In other words, a traditional, dualist, hierarchy-producing subjectivity approach and a radical, egalitarian, and posthumanist understanding of subjectivity that disrupts the dual thinking structure constitute the two faces of the cyborg body. Although it is possible to interpret them as indicators of the outputs of liquid

modernity, the discussions brought up by cyborgs on the axis of the concept of posthuman indicate an intellectual richness. This richness is about sensing the other in a connective, multi-layered understanding of the subject that expands the existential focus towards non-humans and the pluralization this sense will provide. This idea of subjectivity also radically expands the boundaries of the ontological definition of human. Therefore, the cyborg bodies in the films provide inspiring intellectual openings in the context of enabling the imagination of a posthumanist future in which interspecies hybridization is perceived as an ethical possibility. In this framework, the androgynous installation of cyborg women can also be interpreted in the context of Haraway's blurring of boundaries by cyborg as a posthumanist, post-gendered possibility.

Nevertheless, questioning cyborg characters with artificial bodies about not being human enough or seeking a self-defining self is more limited in recent examples. For example, *in Ghost in the Shell SAC_2045 - Sustainable War*, the body's surface and its aesthetic design are emphasized more, while the inner questions of the characters, the discussions about existence and who they are, are much less involved. It is either very limited or unclear which characters have a fully biological body and which are partially or entirely artificial. It is seen that the characters whose minds are transferred to an artificial body do not question this situation. Death in the biological body and rebirth as a machine synthesis has become commonplace. Being a human, a cyborg, or an utterly artificial machine is not portrayed as a privilege; the soul as a complementary part of the body, and the relationship between the two is less and less problematized. Conducting new studies examining this trend, which is also observed in web series such as *Ghost in the Shell SAC_2045*, *Altered Carbon Resleeved*, from the perspectives of the transformation of the cyborg figure, of how new forms of representation can be interpreted in terms of philosophical discussions, and of its relationship with sectoral orientations and changes in the audience profile, will enrich the discussions in this area.

References | Список литературы

Akşit, O. O. (2017). Sinemada özne olarak robotlar: Ben, Robot örneği [Robots as subjects in cinema: I, Robot example]. *Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi [Ege University Faculty of Communication New Thoughts Refereed E-Journal]*, 8, 1-9. (In Turkish).

Akyol Oktan, K. (2019). Tekillik, insan-sonrası (post-human) ve göçebe cinsiyetler [Singularity, post-human and nomadic genders]. In E. Baştürk & B. N. Erdem (Eds.), *Dijital medya ve toplumsal cinsiyet [Digital media and gender]* (pp. 283–318). Literatürk. (In Turkish).

Aramaki, S., Fujii, M., & Kamiyama, K. (Directors). (2021). *Ghost in the Shell: SAC_2045- Sustainable War*. Production I.G.

Battaglia, A. (2006). Helenistik beden kavrayışı hristiyan toplumsal etiğindeki mirası [The legacy of the Hellenistic conception of the body in Christian social ethics]. In S. Marcos (Ed.),

Bedenler, dinler ve toplumsal cinsiyet [Bodies, religions and gender] (pp. 141–158). Ütopya Yayınevi. (In Turkish).

Baudrillard, J. (1998). *The consumer society: Myths and structures*. Sage. https://doi.org/10.4135/9781526401502

Baudrillard, J. (2009). *Why hasn't everything already disappeared*. Seagull Books.

Bauman, Z. (2005). *Bireyselleşmiş toplum [Individualised society]*. Ayrıntı Yayınları. (In Turkish).

Bauman, Z. (2011). *Postmodern etik [Postmodern ethics]*. Ayrıntı Yayınları. (In Turkish).

Bauman, Z. (2018). *Akışkan modernite [Fluid modernity]*. Can Yayınları. (In Turkish).

Bell, D. (2001). *An introduction to cyberculture*. Routledge.

Bocock, R. (1993). *Consumption*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203313114

Braidotti, R. (2014). *İnsan sonrası [Post-human]*. Ayrıntı Yayınları. (In Turkish).

Braidotti, R. (2017). *Göçebe özneler: Çağdaş feminist kuramda bedenleşme ve cinsiyet farklılığı [Nomadic subjects: Embodiment and gender difference in contemporary feminist theory]*. Kolektif Kitap. (In Turkish).

Braidotti, R. (2019). İnsan sonrası, pek insanca: Bir posthümanistin anıları ve emelleri [Posthuman, very human: Memories and ambitions of a posthumanist] (B. O. Doğan, Trans.). *Cogito*, 95(96), 53-97. (In Turkish).

Butler, J. (2008). *Cinsiyet belası [Gender trouble]*. Metis Yayıncılık. (In Turkish).

Corbett, A. (2009). Beyond ghost in the (human) shell. *Journal of Evolution and Technology*, 20(1), 43-50.

Courtine, J. J. (2013). Introduction, history of the body 3. In A. Corbin, J. J. Courtine, & G. Vigarello (Eds.), *Bakıştaki değişim: 20. Yüzyıl [Change in outlook 20th century]* (pp. 9–12). Yapı Kredi Yayınları. (In Turkish).

Cruz, R. A. L. (2012). Mutations and metamorphoses: Body horror is biological horror. *Journal of Popular Film and Television*, 40, 160–168. https://doi.org/10.1080/01956051.2012.654521

Deleuze, G. (2007). *Kritik ve klinik [Critical and clinical]*. Norgunk. (In Turkish).

Featherstone, M. (2007). *Consumer culture and postmodernism*. Sage. https://doi.org/10.4135/9781446212424

Foucault, M. (2003). İktidar ve beden [Power and the body]. In F. Keskin (Ed.), & I. Ergüden (Trans.), *İktidarın gözü: Seçme yazılar 4 [The eye of power. Selected articles 4]* (pp. 38–46). Ayrıntı Yayınları. (In Turkish).

Foucault, M. (2007). *Cinselliğin tarihi [History of sexuality]* (H. U. Tanrıöver, Trans.). Ayrıntı Yayınları. (In Turkish).

Fukutomi, H. (Director). (1993). *Gunnm*. Madhouse.

Fukuyama, F. (2003). *İnsan ötesi geleceğimiz [Our transhuman future]*. ODTÜ Yayıncılık. (In Turkish).

Giddens, A. (2014). *Modernite ve bireysel kimlik: Geç modern çağda benlik ve toplum [Modernity and individual identity: Self and society in the late modern age]*. Say Yayınları. (In Turkish).

Grosz, E. (1997). Inscriptions and body maps: Representations and the corporeal. In L. McDowell & J. Sharp (Eds.), *Space, gender, knowledge: Feminist readings*. Routledge.

Haraway, D. (2010). Başka yer [Another place]. In G. Pusar (Ed.), *Donna Haraway'den seçme yazılar [Selected writings by Donna Haraway]*. Metis Yayıncılık. (In Turkish).

Haraway, D. (2016). *A cyborg manifesto*. University of Minnesota Press. https://doi.org/10.5749/minnesota/9780816650477.003.0001

Kaderli, Z. (2018). Kültürel söylemlerin biçimlendirme yerlemi olarak beden ve çağdaş beden modifikasyonlarının fenomenolojik boyutları [The body as a site of shaping cultural discourses and phenomenological dimensions of contemporary body modifications]. *Folklor/Edebiyat*, 24(94), 161–182. https://doi.org/10.22559/folklor.228 (In Turkish)

Kakoudaki, D. (2014). *Anatomy of a robot: Literature, cinema, and the cultural work of artificial people*. Rutgers University Press.

Komel, M. (2016). The ghost outside its shell: Revisiting the philosophy of Ghost in the Shell. *Teorija in Praksa*, 53(4), 920–928.

Köse, H. (2011). Tüketim toplumunda bir "sosyal beden" kurgusu olarak kadın [Woman as a "social body" construct in the consumer society]. *Selçuk İletişim*, 6(4), 76-89. (In Turkish).

Le Breton, D. (2019). *Bedene veda [Farewell to the body]*. Sel Yayıncılık. (In Turkish).

Merleau-Ponty, M. (1962). *Phenomenology of perception*. Routledge.

Merleau-Ponty, M. (1999). The lived body, The body in its sexual being, The natural world and the body. In W. Donn (Ed.), *The body: Classic and contemporary readings*. Oxford.

Merleau-Ponty, M. (2006). *Göz ve tin [Eye and Tin]* (A. Soysal, Trans.). Metis Yayınları. (In Turkish).

Miner, N. (2014). Technology, psychology, identity: Ghost in the Shell and. Hack. *Sign. Electronic Journal of Contemporary Japanese Studies*, 14(3). https://japanesestudies.org.uk/ejcjs/vol14/iss3/miner.html

Mizukoshi, K. (2018). Perils of Hollywood whitewashing?. A review of "Ghost in the Shell' movie. *Markets, Globalization & Development Review*, 3(1). https://doi.org/10.23860/MGDR-2018-03-01-06

Murphy, G. J., & Schmeink, L. (2018). Introduction: The visuality and virtuality of cyberpunk. In *Cyberpunk and visual culture* (pp. xx–1). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315161372

Nagoshi, C. T. & Nagoshi J. L. (2012). Being human versus being transhuman: The mind–body problem and lived experience. In H. Tirosh, S. Son, & K. L. Mossman (Eds.), *Building better humans?: Refocusing the debate on transhumanism* (pp. 303–319). Peter Lang.

Nazlı, A. (2005). 'Görünmeyen' beden'den 'görünen' beden'e: Beden'in sosyolojisi [From the 'invisible' body to the 'visible' body: The sociology of the body]. *Sosyoloji Araştırmaları Dergisi [Journal of Sociological Research]*, 8(2), 71-87. (In Turkish).

Oktan A. (2019). Cybernetic shell: Body construction in the films of ghost in the shell. *Journal of History School*, 12(38), 270–303. https://doi.org/10.14225/Joh1519

Orbaugh, S. (2008). Emotional infectivity: Cyborg affect and the limits of the human. *Mechademia*, 3(1), 150–172. https://doi.org/10.1353/mec.0.0040

Oshii, M., Masamune, S., & Itô, K. (Directors). (1995). *Ghost in the Shell*. Kôdansha.

Roberts, E. F., & Scheper-Hughes, N. (2011). Introduction: Medical migrations. *Body & Society*, 17(2–3), 1–30. https://doi.org/10.1177/1357034X11400925

Rodriguez, R., Cameron, J., Kalogridis, L., & Kishiro, Y. (Directors). (2019). *Alita: Battle Angel*. Twentieth Century Fox.

Ryle, G. (2009). *The concept of mind*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203875858

Scheper-Hughes, N., & Lock, M. M. (1987). The mindful body: A prolegomenon to future work in medical anthropology. *Medical Anthropology Quarterly*, 1, 6–41. https://doi.org/10.1525/maq.1987.1.1.02a00020

Shilling, C. (2017). Body pedagogics: Embodiment, cognition and cultural transmission. *Sociology*, 51(6), 1205–1221. https://doi.org/10.1177/0038038516641868

Shilling, C., & Mellor, P. A. (2007). Cultures of embodied experience: Technology, religion and body pedagogics. *The Sociological Review*, 55(3), 531–549. https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.2007.00721.x

Smelik, A. (2010). Cinematic fantasies of becoming-cyborg. *The Scientific Imaginary in Visual Culture*, 5, 89–104. https://doi.org/10.14220/9783862347568.89

Spinoza, B. (2010). *The ethics*. Kessinger Publishing.

Stauth, G., & Turner, B. S. (2005). *Nietzsche'nin dansı [Nietzsche's dance]* (M. Küçük, Trans.). Bilim ve Sanat Yayınları. (In Turkish).

Swale, A. (2020). Anime and the conquest of time. *Japan Review*, 35, 199–218.

Synnott, A. (2002). *The body social: Symbolism, self and society*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203201541

Tembo, K. D. (2017). Death, innocence, and the cyborg: Theorizing the gynoid double-bind in Mamoru Oshii's Ghost in the Shell II: Innocence. *American, British and Canadian Studies*, 29(1), 103–125. https://doi.org/10.1515/abcsj-2017-0021

Uslu, A. (2022). İnsan Bir Makinedir Savının Dinamik Sistem Kuramı Bağlamında Değerlendirilmesi [Evaluation of Human is a Machine Argument in the Context of Dynamic System Theory]. *Temaşa Felsefe Dergisi [Temaşa Philosophy Journal]*, 18, 130–149. https://doi.org/10.55256/temasa.1196498 (In Turkish).

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2023. No 3 | ISSN: 2658-7734
Miscellaneous | https://doi.org/10.46539/gmd.v5i3.431

Crossing the Threshold: School Shooting as a "Ritual of Chiral Initiation"

Rastyam T. Aliev

Astrakhan Tatishchev State University. Astrakhan, Russia. Email: rastaliev[at]gmail.com.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2812-7655

Received: 3 May 2023 | Revised: 27 July 2023 | Accepted: 12 August 2023

Abstract

The article delves into the phenomenon of school shootings, interpreting these as metaphorical representations of profound dysfunctions in cultural communication. The shootings are examined through the lens of the concept "Ritual of Chiral Initiation" introduced by the author. This concept portrays school shootings as inverted rituals in which traditional structures and values become reversed or distorted. The study leans on the post-structuralist tradition of deconstruction to find out why modern societies give rise to delinquent behaviors (like school shootings) and to comprehend their symbolic implications.

The goal of the research is to analyze school shootings as metaphoric representation of significant dysfunctions in cultural communication and to grasp their symbolic relevance in today's society. School shootings are often the radical attempts of adolescents trying to find their footing in a society while facing the identity crisis. The results suggest that such aberrant behaviors stem from inverted rituals and upturned values.

School shootings signify the identity crisis in today's society and can be considered as inverted rites of initiation. This article is meant for researchers interested in cultural communication challenges and societal delinquent behaviors.

Keywords

Delinquent Behaviors; School Shooting; Mass Killings; School; Ritual; Ritualization; Initiation; Separation; Sequestration; Liminality; Return

This work is licensed under a Creative Commons "Attribution" 4.0 International License

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2023. No 3 | ISSN: 2658-7734
Разное | https://doi.org/10.46539/gmd.v5i3.431

Переход за грань: скулшутинг как «хиральная инициация»

Алиев Растям Туктарович

Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева. Астрахань, Россия.
Email: rastaliev[at]gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2812-7655

Рукопись получена: 3 мая 2023 | Пересмотрена: 27 июля 2023 | Принята: 12 августа 2023

Аннотация

Статья исследует явление массовых школьных расстрелов как метафорического представления глубоких дисфункций в культурной коммуникации. Скулшутинг рассматривается через призму вводимой автором концепции «хиральной инициации», представляя общественно опасный феномен массовой школьной стрельбы как инвертированные ритуалы, где традиционные структуры и ценности обращены или искажены. Исследование опирается на постструктуралистскую традицию деконструкции для понимания, почему современные общества порождают делинквентное поведения, такие как скулшутинг, и их символическое значение.

Цель исследования: проанализировать скулшутинг как метафорическое представление глубоких дисфункций в культурной коммуникации и понять их символическое значение в современном обществе. Массовые школьные расстрелы могут рассматриваться как радикальные попытки найти своё место в обществе подростком, переживающим кризис идентичности. Исследование показывает, что такие делинквентные поведения возникают из-за обратных ритуалов и инвертированных ценностей.

Скулшутинг служит проявлением кризиса идентичности человека в современном обществе и может рассматриваться как инвертированные ритуалы инициации. Статья предназначена для исследователей, интересующихся проблемами культурной коммуникации и делинкветного поведения в обществе.

Ключевые слова

делинквентное поведение; скулшутинг; массовые убийства; школа; ритуал; ритуализация; инициация; отделение; сепарация; лиминальность; возвращение

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons “Attribution” («Атрибуция»)4.0 Всемирная

Introduction

In our complex and continuously evolving society, the tragic phenomenon of school shootings[1] emerges not merely as a manifestation of violence, but also as a metaphorical embodiment of profound dysfunctions in the structure of cultural communication. Understanding such events in this context demands particular sensitivity to the nuanced signals encrypted within their very nature.

The concept of initiation has always been a pivotal point in anthropological and philosophical analysis. In its classical form, initiation signifies a transition from one sociocultural state to another, representing a ritual that symbolizes a new beginning (Gennep, 1999; Turner, 1983). Viewing school shootings through the lens of the "Ritual of Chiral Initiation,"[2] we approach this phenomenon as an inverted ritual reflexing in the mirror with uneven surface, in which traditional structures and meanings are upended.

In the works of M. Foucault, multiple means of understanding power, knowledge, and sociocultural practices intersect (Nizovtsev, 2015). It is precisely within his poststructuralist tradition that we can delve deeper into examining how and why modern societies manifest delinquent behaviors like school shootings and their symbolic significance.

Individuals in contemporary society are facing an identity crisis (Kovalev, 2021). School shootings, a horrifying manifestation of alienation and social tragedy as they are, can also be considered as an extreme attempt of seeking identity amidst a profound cultural imbalance.

The crooked-mirror aspect of the initiation ritual contextualized with school shootings, offers an insight into how traditional patterns of classical initiation might be distorted and deformed under social tensions.

Researching school shootings within the framework of "Ritual of Chiral Initiation" can pave the way for innovative approaches in social psychology and anthropology. This research assists society in devising effective strategies to counteract such acts of violence.

Ultimately, the significance of such research stems from the imperative need to deeply understand the mechanisms of cultural and social interactions that might lead to catastrophic outcomes. By acknowledging and analyzing these mechanisms, we aim to foster a more harmonious and secure society.

In the contemporary social fabric characterized by diverse structures and forms of power expressed through the myriads of cultural practices, it becomes of

1 Armed attacks in educational institutions. This term refers to the manifestation of aggressive actions with the use of weapons in the space of educational institutions, mainly in relation to the studying audience, which in some cases turns into acts of mass violence. – Author's note.

2 By this term, we mean a distorted ritual of initiation, where all the structural elements of classical initiation are displayed asymmetrically, as in a "crooked mirror". Chirality is the property of a molecule not to correspond in space with its mirror image.– Author's note.

paramount importance to understand how and why certain practices evolve into destructive and violent forms. School shootings lay bare the fundamental dysfunctions of our times, urging us toward deep and critical contemplation of prevailing events.

From this vantage point, we can postulate that conceiving of school shootings as a form of initiation ritual—though a distorted one—introduces new analytical horizons. This skewed ritual is not merely inverted; it stands as a poignant reflection of the potential deformation of social and cultural systems within heterotopic conditions. Michel Foucault suggested that heterotopias are spaces where conventional sociocultural practices are disrupted and where time and space intersect in unexpected, and at times, discordant amalgamations (Foucault, 1984). Viewed in this manner, school shootings could very well represent a manifestation of such heterotopia—a scenario where established norms and values are subverted, resulting in a dramatic collision of order and chaos.

Within this framework, school shootings can be interpreted as a crisis of initiation. In traditional societies, initiation rituals acted as conduits transitioning individuals from one phase of life to another, facilitating their socialization and acknowledgment by the broader community. Contrastingly, in the expanse of school shootings, this ritual becomes grotesquely contorted, culminating in a situation where young individuals, instead of experiencing integration and socialization, are thrust into tumult and devastation.

Founded on the aforementioned, this research seeks to analyze the phenomenon of school shootings as a perverted initiation ritual. It endeavors to unravel the sociocultural, psychological, and structural underpinnings that give rise to such incidents and to discern how grasping its intricacies might inform the formulation of preventive strategies against school shootings.

1. Sociocultural Relevance: Against the backdrop of an ever-evolving society where disparities in identity and social roles grow increasingly conspicuous, understanding the deep-seated processes that underlie school shootings is of paramount importance. Investigating such phenomena will facilitate the identification of specific cultural and societal elements contributing to the erosion of social bonds.

2. Psychological Dimension: Understanding the motivations behind these acts of violence can illuminate the psychological processes operating in the minds of young individuals. Such insights may, in turn, provide avenues for the development of preventive measures and early interventions.

3. Systemic Approach: School shootings are not isolated events; they result from a complex interplay of various factors. Analyzing this phenomenon through the lens of a distorted initiation ritual could offer novel perspectives on how systems of education, socialization, and community interaction might be refined or adapted to mitigate such tragedies.

Given the aforementioned considerations, there is a pressing need to delve deeply into the mechanisms of "Ritual of Chiral Initiation" to uncover and reinterpret the hidden structures that give rise to delinquent behavior.

Global research experience on School Shootings

Trying to understand the phenomenon of school shootings, we encounter a multifaceted and intricate scope of academic literature where diverse discourses and approaches intertwine, clash, and at times, conflict with each other. Immersing in this academic labyrinth, you have to recognize that every historian, sociologist, or psychologist studying school shootings does so with the help of one's unique methodological tools, cultural perceptions, and ideological predispositions.

In international literature, the issue of school shootings is frequently examined in the context of social isolation, mental health, and access to firearms. Western scholars emphasize cultural specifics, the influence of media and social networks, and the role of the educational system in shaping the psychology of youth. By this, it's important to heed the critical voices that highlight potential ideological biases or cultural constraints within dominant discourses.

A review of western authors researching school shootings reveals profound and layered aspects of this issue. In the work of B. A. Alexander and H. Harris (2020), emphasis is placed on the personal experiences of school staff in the context of shooting-related events. The four main themes outlined not only illuminate the psychological and emotional consequences but also provide a roadmap for addressing the needs of the educational community in the aftermath of a shooting. G. R. Paez, J. A. Capellan, and M. G. Johnson (2021) focus on the situational aspect of the shootings. Through conjunctive analysis, they pinpoint the features of mass shooting incidents, deepening our understanding of the environment in which those transpire and bolstering efforts for prevention. J. Highberger, W. Wang, and R. Brittingham (2022) accentuate the psychological component of the problem, specifically addressing the shift in students' safety perceptions following shooting episodes. This approach not only evaluates psycho-emotional outcomes but could also prove pivotal in developing preventive programs.

A. A. Baird, E. V. Roellke, and D. M. Zeifman (2017) touch the critical question concerning the correlation between school size and the likelihood of violent incidents. Their conclusions highlight the significance of social relationships and the overarching atmosphere within educational institutions, potentially illuminating the root causes of such violence. Lastly, R. F. de Apodaca and colleagues (2012) undertake a comprehensive analysis of the characteristics of schools that have witnessed fatal shootings. The hypothesis that certain features of the school environment might foster feelings of anonymity or alienation among students challenges the society with the task of reforming such facets of school life.

Every study of school shootings offers either systems of knowledge or practices that shape the reality of those phenomena. D. A. Keatley et al. (2020) introduce

the concept of the "crime script," delving into its chronology which presents a portrait of power characterized by planning and premeditation. This illustrates how power and knowledge interact: understanding how events unfolded in the past can inform predictions of future occurrences. J. S. Hong & D. L. Espelage (2020) address the issue of safety, which at the discourse level suggests a shift from the individual responsibility of the shooter to a systemic concern. Their research attempts to connect disparate fragments of knowledge, creating a cohesive network of understanding. R. W. Larkin (2009) broadens the scope of the phenomenon, suggesting that the actions of shooters are political acts. He goes through the history of power research, exploring its evolution, reinterpretation, and adaptability across different contexts. P. M. Markey et al. (2020) introduce racial dimensions uncovering prevailing stereotypes and biases, and emphasize the significant influence of sociocultural expectations in shaping perceptions of reality. A. Katsiyannis et al. (2023) offer an empirical analysis of the evolution of these events over time. Through the statistical examination, they present a landscape marked by social inequalities and racial disparities.

Western research on school shootings reveals multidimensional and occasionally contrasting discourses on the subject. J. Raitanen and co-authors (2019) investigate narratives of social exclusion within the context of school shootings. This scene characterized by bullying and social isolation, induces profound feelings of alienation, potentially leading to acts of mass violence. G. Kleck (2009) discusses school shootings within the gun control debate, shedding light on the intricate relationship between gun availability and violent acts. D. J. Harding and colleagues (2002) focus on the methodological challenges inherent in studying infrequent events like school shootings and advocate for a qualitative research approach.

While Western literature predominantly tackles such themes as social isolation, mental health, and firearm accessibility, Russian academic literature emphasizes the unique characteristics of the post-Soviet landscape, the evolution of sociocultural values, and an escalating sense of alienation among the youth.

The field of school shootings viewed through the prism of Russian research, presents a diverse array of studies. A. Yu. Karpova & N. G. Maximova (2021) employ a multifaceted methodological approach, using triangulation to explore the phenomenon through discrete categories and social interactions in the digital zone. Social networks emerge as arenas where signals and intentions of potential threats are made evident. This undeniably introduces a new form of power where, although knowledge is accessible to all, interpreting it requires a fresh perspective. Yu. V. Sukhodolskaya (2020) guides us into the orbit of criminological discourse, portraying school shootings not merely as acts of violence but as a nascent phenomenon demanding special attention and interpretation. Here, a novel truth surfaces, with each violent act seeking its criminological category. V. D. Nikishin's study (2021) emphasizes the extremist-terrorist tendencies within the Columbiner subculture, illustrating how words can serve as weapons and how rhetoric can manifest as tangible threats.

L. A. Goncharov (2019) undertakes a deep dive into the sociocultural contexts that foster violence. The psychological atmosphere enveloping adolescents becomes a risk factor, highlighting challenges in self-realization, interaction, and integration into the society. K. Sh. Sharifzyanova (2020) frames school shootings as a consequence of societal crises, wherein the burden of societal challenges falls upon children and adolescents. Youth subcultures attract delinquent behaviors like magnets, turning them into palpable threats. N. F. Borisova (2021) extends this dialogue but shifts the focus to the criminal-legal agenda, viewing school shootings as criminal acts characterized by bursts of violence. The main the emphasis is shifting to prevention, presenting the issue not merely as a catastrophe but as an opportunity for proactive measures. V. V. Orlov (2022) advances this discourse by clarifying terminology, identifying media as an active agent in this dialogue. His work sheds light on the media's role in shaping perceptions, its potential distortion of statistics, and suggests a pragmatic approach to delineate school shooting incidents. I. S. Golikhin (2021) delves profoundly into psychology backgrounding this phenomenon, examining both external and internal motivations behind such actions and proposing a legal remedy.

N. D. Uzlov and colleagues' study (2022) reveals an attempt to understand the issue through the socially common topic of weapon restriction. However, the focus quickly shifts to overhauling the prevailing value system. The authors acknowledge that the influence wielded by the educational sector struggles with distancing from economic and societal disparities. They argue that the educational framework should not be the place for mere transmission of knowledge but serve as a tool for reassessing sociocultural tenets.

N. Yu. Zavyalova & Yu. V. Lunkashu (2021) prefer a different course, emphasizing the human dimension over the technological one. They argue that the core of the issue is not the laws tightening but rather the absence of humane and accessible psychological support. They advocate that while authorities must impose punishments, they should also offer resources for socialization. U. B. Grinenko and R. Romero (2021), in contrast, present innovative research anchored in modern analytical methods. Rather than seeing school shootings as an isolated event, they seek to contextualize it within cyberspace, where discourse on the topic is both constructed and amplified. Focusing on digital content within the social network "VK", they explore certain methods of identifying potentially dangerous content associated with school shootings.

Central to A. V. Golenkova's (2020) research is the phenomenon of adolescent post-homicidal suicides (PHS)[1]. This investigation analyzes the motivations and circumstances leading a teenager to such a drastic action following a murder. Notably, the study underscores that, while post-homicidal suicides are infrequent, they possess distinct traits and antecedent circumstances. In the research by N. D. Uzlov and M. N. Semenova (2021), the theoretical aspects of school shootings

1 Suicide after murder – author's note

are investigated framing school shootings as transgressive acts—a term borrowed from Georges Bataille, which signifies the aggressive overstepping of moral, legal, and religious boundaries. This interpretive expression offers a deeper understanding of school shootings, examining the phenomenon through the aspects of narcissism, perpetrators' manifestos, and postmodern narratives of death.

Both Western and Russian scholarly traditions reveal a shared intent: to fathom the profound underpinnings of the problem and to transcend mere surface analysis, venturing into the social, cultural, and psychological dimensions of this distressing trend. Nevertheless, as is the case in any scholarly domain, the discourse surrounding school shootings is ever-evolving. Thus, our ongoing challenge is to maintain a critical stance, scrutinizing continually the varied perspectives and their background.

Methodology: the cancerous tumor of the ritual

In the context of analyzing school shootings as a Ritual of Chiral Initiation, we must reference the work of A. van Gennep's "The Rites of Passage". The researcher emphasizes that such rites mark the transition from one magical-religious or social state to another (Gennep, 1999, p. 8). He asserts that these rites manifest themselves in the ceremonies that signify such transitions.

> The liminal state, both imagined and real, is present, to varying degrees, in all ceremonies that accompany the transition from one magical-religious or social state to another (p. 22).

In the dominion of sociocultural practices, where power and knowledge are interwoven, school shootings appear as a dark act of transition. Here, we see an individual, in this instance the shooter, attempting to redefine his social role. This act is not merely an act of violence; it signifies a transition, a move away from the old world and an entrance into a new one. The shooter undergoes a rite where death serves as the genesis for potential rebirth. This reversed rite of passage, termed "Ritual of Chiral Initiation," mirrors asymmetrically the traditional initiation rituals.

Analyzing the transition rites, A. van Gennep distinguishes two contrasting spheres: the profane and the sacred.

> The isolation experienced by outsiders represents not only their vulnerability (given their position outside a specific community) but also their strength: they inhabit the sacred realm, while, for its constituents, the community embodies the profane (p. 29).

These dualities form the foundational elements of any transition ritual, with a state of liminality — a space of uncertainty and flux — lying in between. School shootings, in this light, can be perceived as a rite in which Columbine adherents execute a series of actions in a set sequence. However, distinct from traditional rites, this sequence is marred by brutality and homicide, positioning it as a perverse reflection of customary rites of passage.

V. Turner, a renowned anthropologist who delved into the symbolic abyss of rituals, delineated three key stages of the initiation rite: 1) Separation, during which the individual stands on the precipice of change; 2) Liminality, where one immerses oneself in a liminal state, existing between two worlds; and 3) Re-aggregation or Reintegration, where the individual comes back in a transformed state.

> In the initial phase, separation, symbolic behaviors come into play. These behaviors signify the detachment of an individual or group from their previous position within the social structure, from particular cultural conditions ("states"), or from both. The intermediate "liminal" period is marked by ambivalence. The ritual subject, referred to as "the neophyte", navigates a cultural realm that barely reflects attributes of either the preceding or subsequent state. In the final phase—re-aggregation or reintegration—the transition reaches its culmination. The ritual subject, whether individual or group, attains a relatively stable state and secures, vis-à-vis, the rights and obligations of a clearly defined and "structured" nature (Turner, 1983, p. 168).

Using these stages as a framework allows us to dissect the structure of school shootings, identifying similar phases within.

However, interpreting school shootings as a ritual demands caution. While a school shooting, a blatant act of violence, undeniably resonates with ritualistic connotations, it shouldn't be hastily categorized as such. To do so could be an over-simplification, if not a perilous pace. In our view, this phenomenon represents a stage of "Ritual of Chiral Initiation"—both distorted and traumatic. It's merely the visible part of an iceberg, beneath which there lies a deeper ritualistic process. Approaching this topic from these perspectives, we must brace ourselves for both deconstruction and reinterpretation. Aligned with the principles of ritualization, we suggest reinterpreting the stages that Turner discussed, specifically concerning school shootings. Our perspective doesn't stem from a disagreement with Turner's understanding of the initiation ritual's structure. Instead, it arises from the belief that the "Ritual of Chiral Initiation" is embedded within the initiation itself. It emerges as a malignant tumor, spreading throughout the body of "nominal" initiation, especially since the term 'school shooting' implies inherently a modern societal initiation rite centered in schools.[1]

Thus, by simplifying this phenomenon, we are addressing a form of broken or, more precisely, a distorted initiation. This necessitates the introduction of new designations for its stages to ensure clarity. The first stage, which we will term "double separation," may symbolize the violence actor's alienation from society amidst an ongoing rite of passage. The second, termed "inverted liminality," represents the actual act of violence — a moment when the individual exists between two worlds (in this context, between life and death). Rather than distancing from society, he intrudes upon it with acts of violence. In contemplating this issue, it is decisive to penetrate into the intricacies of its structural characteristics. Through the examination of insights from M. Eliade (1994) and A. M. Lobok (1997), we

1 The author in no way condones the phenomenon of school shootings and, on the contrary, condemns it. However, in this case, the emphasis is placed on the definition of the term, which contains the word "school."

confront the realization that the initiation mechanism is intrinsically linked to its inherent intensity and brutality. In traditional understanding, this process centers on the individual undergoing initiation. In contrast, the chiral interpretation externalizes the brutality. Dissecting this duality within the context of sociocultural dynamics can enhance our understanding of the phenomenon's essence.

The third stage, "non-return," can be seen as the aftermath of the act, its ramifications for society, and the psychological state of the perpetrator. Within this format, "non-return" might symbolize the impossibility of returning to one's prior state after committing such an act or, in a purely symbolic chiral interpretation, the detachment from life manifesting as physical death, while in a nominal initiation, the individual is reborn.

Thus, when interpreted through the paradigm of transitional rituals, a school shooting can be seen as a distorted form of initiation termed a "Ritual of Chiral Initiation." This perspective challenges us to re-evaluate the traditional stages defined by Turner.

Double Separation: from initiation to traumatic experience

As V. Turner writes, the rite of passage begins with an act of separation:

> The initial phase (separation) involves symbolic behaviors signifying the detachment of an individual or group from their previous position in the social structure and from certain cultural conditions ("states"), or from both (Turner, 1983, p. 168).

Here, the school can be viewed as an epistemological scene in which the individual becomes subject to various practices of power and knowledge. Within this transitional structure, an adolescent navigates between two worlds: the sanctuary of home and the arena of school. These locales establish two distinct regimes to truth, making the individual respond to diverse power systems. Confronting these varied epistemologies might produce an imbalance leading to cultural and psychological clashes.

In this context, a report from the U.S. Secret Service that highlights cases of school violence isn't just a set of statistical figures; instead, it serves as a generic tool for dissecting the conceptual cocoon that envelops the phenomenon of school shootings. Within this discourse, there is no solitary identity attributed to the trespasser; rather, it spans a web of many socio-cultural and psychological factors (Vossekuil et al., 2004). At the nexus of these forces and narratives, a quest emerges to fathom the instances of trauma and dislocation that could drive adolescents to commit such extreme acts of violence.

Within the discursive panopticon of contemporary society where youth violence is prominently spotlighted, one can discern the interplay of diverse practices and forms of knowledge shaping individuals. School shootings may be understood as a phenomenon borne from distinct patterns of trauma and discord. We now aim to identify the factors that shape these behavioral blueprints.

1. Biological Factors. Drawing upon research by A. Raine (2002), neural immaturity is highlighted as a key factor increasing the likelihood of aggressive and criminal behavior. Studies by the Australian Raising Children Network and the Adolescent Health Center emphasize the importance of synaptic pruning in the developing adolescent brain. This process entails the reduction of unused neuronal connections while strengthening the active ones. This phenomenon arises from an initial surplus of neural components, such as axons, neurons, and synapses, which subsequently undergo pruning or apoptosis ('Why Is Synaptic Pruning Important for the Developing Brain?' 2017). Notably, the final stage of brain development takes place in the prefrontal cortex, which is responsible for decision-making. Data from L. Steinberg (2004) and B. Figner et al. (2009) prove that adolescents are more inclined to risk-taking than children or adults.

2. Social Factors. The significance of the social context is evident within family and school environments. The academic literature contains debates regarding the influence of family structure on adolescent behavior. One of the viewpoints underscores the link between family structure and a child's mental well-being, pointing out potential risks tied to "non-traditional" family structures (Brown, 2010). Nonetheless, numerous studies challenge this perspective, indicating socio-economic factors as the chief determinants of child well-being. Longitudinal analyses have detected a correlation between higher income and education levels and child welfare, positing that the stability of the familial environment is key rather than its structural composition (Crawford et al., 2011).

In a broader social context, family interactions play a crucial role in shaping child's personality. Research suggests that families with criminal members often lack supervision and emotional intimacy (Gerard et al., 2016). Dr. George S. Everly, Jr. notes that many male adolescents who engage in school shootings tend to be isolated, display obsessive tendencies, and possess a limited ability to anticipate the repercussions of their actions (2018).

In a school setting, bullying remains a pressing issue. D. Espelage highlights that some bullying victims eventually adopt aggressive behavior as a mode of retaliation (Swaak, 2018). Bullying dynamics typically encompass three main participants: the bully, the victim, and the bystanders. This triadic interaction often leads to the victim's public humiliation. Such bullying may result in long-term adverse effects such as behavioral disorders, depressive states, and social isolation. On many occasions, victims might attempt to reclaim their reputation by turning to aggressive means. This could escalate to extreme violent acts, reminiscent of the incident with the Uvalde Shooter (Kesslen, 2022).

Of note is that the interplay of biological and social factors can place adolescents in intricate scenarios, exposing them to various traumatic experiences that might culminate in aggressive behaviors. It is vital to account for both these elements when conceptualizing preventive strategies and interventions.

Reviewing the studies on adolescent interactions in the face of globalization and technological advances, it's essential to underline that adolescents often exhibit a fluctuating disposition, riddled with contradictions and a sense of duality. This dichotomy stems from the ongoing conflict between adolescent's inner province and the external world molded by socio-cultural norms and anticipations.

A more in-depth investigation of the dual-separation mechanism reveals a mirrored (fractal?) progression. Here, every subsequent division emerges as a counter to the preceding one, forging a convoluted series of events that might shape the life path of a potential future aggressor. An adolescent caught in a tug-of-war between two symbolic topoi due to inherent aggressive tendencies and societal estrangement, faces yet another internal schism when navigating the socio-cultural landscape. This dual layer of progressive division can pave the way for intense internal distress.

Among many possible responses to such trauma there is a quest for equilibrium and harmony, manifesting either through violent actions or self-destructive behaviors. This can be interpreted as an attempt to establish one's own order amidst the chaos of both internal and external purviews. However, this chosen trajectory is not simply an act of self-preservation; it is a symbolic gesture that elicits pronounced reactions from the witnesses, most often characterized by fear or repulsion.

In our analysis, it is essential to emphasize the stage of dual separation during the "Ritual of Chiral Initiation." Investigating this specific stage allows for a deep theoretical exploration into the structure of adolescent self-consciousness and socio-cultural assimilation.

The "Ritual of Chiral Initiation" is not just a mirrored reflection of traditional socialization pathways. Instead, it represents a unique process in which the dichotomous structures of an adolescent's internal and external realities collide, setting the stage for potential discord. The concept of dual separation suggests a deep theoretical insight to adolescent's personal aspirations and values conflict with prevailing socio-cultural norms and expectations.

Within this framework, the stage of dual separation serves not only as a diagnostic tool but also as a mechanism for predicting potential acts of violence, particularly in educational settings.

Thus, a thoughtful examination of dual separation within the "Ritual of Chiral Initiation" provides us with a toolkit to deeply understand the dynamics of adolescents' inner conflicts. As a result, it helps timely interventions and adjustments to potential paths that may lead to destructive outcomes.

"Here comes Johnny!": the apex of violence and Inverted Liminality

The classical understanding of liminality, as articulated in the works of Turner, postulates a state between being and non-being, akin to liminal instances of death

or intrauterine existence. This notion frequently evokes images of invisibility and obscurity, suggesting absence of distinct boundaries or definiteness. Metaphors of ambiguity, voids, and eclipses characterize this transitional, elusive state, embodying both the potential for rebirth and the specter of annihilation.

Liminality and death are intimately intertwined within cultural and philosophical discourses. Nonetheless, death, in this context, is purely symbolic. It does not pertain to the biological cessation of life but epitomizes the metaphor of a transitional phase preceding a moment of rebirth or reincarnation. This symbolic death functions not as a terminus but as an indispensable juncture, enabling an individual or a collective to relinquish antiquated bonds and acquire a renewed identity or status. In this vein, liminal states can be conceived as portals or spaces for transformation where the old 'dies' to invigorate the new.

> ...liminality underpinning rituals of status elevation, wherein an individual, upon undergoing rites, progresses through the hierarchical schema of social standings from lower to higher (Turner, 1983, p. 20).

Let's consider the classical model of liminality.

Within initiation ceremonial practices, adolescents or neophytes were ushered into a disciplinary milieu where conventional power and knowledge constructs were rebuffed or reinterpreted. Within this setting, the uncharted land worked as an institution where their consciousness and self-awareness underwent recalibration. This domain, distanced from their former reality, elucidated mechanisms through which traditional demarcations between the material and the spiritual dissolved, accentuating a sense of anomaly. Subjected to this influence, the adolescents re-evaluated their intrinsic knowledge hierarchies and their alignment with the socio-cultural codes and societal regulations. Consequently, these initiation practices and rituals transformed into a mechanism facilitating reconfiguration and subsequent assimilation with the societal structures followed by augmented comprehension of one's own locus within them.

During this period, the adolescent immersed into the institutional structures of his tribe, gaining insights that transcended mere information dissemination. Through delving into myths and traditions, he deepened his grasp of the sociocultural backdrop, acquiring nuanced perspectives on the world around him. The names of deities and the narratives of their exploits served as orientation tools, providing not merely knowledge, but a context in which he could construct his life stance. Encountering societal norms and behavioral codes, he became aware of how they shape community life and delineate relationships therein. This formative process implied not only the acquisition of knowledge but also contemplation over one's identity within that horizon of events. Having undergone such experience, the adolescent faced the necessity to demonstrate resilience and determination to transition to the subsequent developmental phase. That wasn't merely a ritual. It was an affirmation of his readiness to assume new roles and responsibilities, underscoring his societal worth.

Within the cultural practices of many tribes during this time, stringent restrictive measures are often observed, such as food abstention, communication prohibition, and immersion in complete darkness. While at first glance these might appear as simple tests of physical endurance, they actually symbolize intricate representations of profound inner metamorphoses. The ascetic ritual primarily targets spiritual transformation, signifying a radical renunciation of former aspirations and dependencies. This renunciation of familiar desires is not the final goal but a pathway to reevaluate one's selfhood, comprehend one's societal role, and discern the essence of human existence. Overcoming adversities and pain during this ritual induces drastic psychological shifts, making realize the cessation of former life and the irreversibility of the transformation. This distinct demarcation between childhood and adulthood emphasizes the pivotal nature of the transition, heralding a new role and objectives within the tribe's sociocultural domain. Thus, the rites and restrictions become not merely acts of severity but a fundamental component in awakening and shaping the mind of a young individual.

The rite of passage, in this context, manifests itself as a tripartite recognition of the sacred, the death, and sexuality. These facets, previously obscured from an immature gaze, emerge as key junctures in an individual's transformation. The sacred reveals to the individual the depths of the cosmic order and his place within this expansive system. Within the confines of this ritual, death is not merely perceived as the fading of life but as a profound contemplation on the ephemerality of human existence. Sexuality is understood not solely as a biological imperative but as a complex web of relationships that forge interpersonal ties. Encountering these concepts for the first time, the young individual experiences a significant shift in his worldview. This awakening process enables one to reassess the life's direction and determine one's own role in the society. Consequently, initiation transcends being a mere ritualistic act; it becomes an intricate instrument that assists the individual in recognizing and accepting the evolved self at a profound level of consciousness.

Physical ordeals that individuals faced in many cultural traditions were often extreme and torturous. Their meaning did not lie in the actual physical pain endured but in the pursuit of spiritual transformation. Through grappling with intense sensations, individuals came to understand and live through deep aspects of human experience, such as transitions, endings, and fresh commencements. These ordeals propelled them past the boundaries of their initial state, where personal delineations remained vague. On this transformative journey, individuals reconnected with the core tenets of their identity, which lead to a deep introspection of their past selves and the revelation of new cognitive horizons.

The symbolic death of children, a ritual that is present in numerous cultural practices, coupled with the ensuing reawakening, serves as a profound analogy to cosmic creation. This ritual reflects age-old beliefs about the world emerging from chaos. In participating in this ceremony, young individuals not only underwent an experience but also recalibrated their perspectives, aligning with the grand cosmic schema.

The intense moments accompanying individuals during the ritual manifested as a fusion of spiritual enlightenment and cognizance. They experienced a profound connection to the cosmic essence, reconnecting to the roots of their cultural identity.

In this context, death was not viewed as an absolute end but rather as a transition. This metaphor, signaling the end of one phase and the beginning of another, enabled individuals to move beyond the limitations of their previous conceptions and viewpoints. Confronted with this transition, each gained a renewed understanding of the place within the global order.

This reevaluation, fundamentally transforming the individual, became a cornerstone of sociocultural interactions. Consequently, the initiation ritual transcended a mere journey of self-discovery, acting also as a testament to collective memory and the importance of shared traditions.

In essence, such rituals cultivated a strong bond between the individual and the cosmos, bridging the temporal horizons of the past and future, thus promoting sustained cultural and spiritual integration.

It is essential to examine the details of navigating the liminal phase—a period poised between two states or life stages. In this interstitial space, replete with ambivalence and diverse paths, there unfolds an intense internal metamorphosis and introspection. Liminality, from this perspective, emerges as a critical stage wherein the individual reassesses his perceptions, reference points, and position within the cultural landscape. In this regard, Turner posited:

> The attributes of liminality or liminal personae (often referred to as "threshold people") are inherently ambivalent. This ambivalence arises because both the concept of liminality and its embodiments evade or slip through the classification nets that typically define 'states' and positions within a cultural space. Liminal entities are neither here nor there; they do not strictly belong to the category of "this" or "that." They dwell in the interstices between positions that are designated and demarcated by law, custom, convention, and ceremony. As such, their ambiguous and indeterminate characteristics are symbolized by a diverse array of symbols in numerous societies that ritualize social and cultural transitions. For instance, liminality is often likened to death... (1983, p. 169).

In the study of liminality, we encounter a distinct phenomenon where the individual exists in a state of "neither here nor there; neither this nor that," a state shaped more by cultural practices, customs, and rituals than by formal structures. This transitional phase saturated with deep ambivalence, compels adolescents to navigate between the familiar and the unfamiliar modes of life. In this stage, they confront internal tumult and contradictions, which can lead to feelings of disorientation. Such an intense state causing a disruption to their usual stability can be viewed as a jarring experience. However, this very state can also act as a catalyst, prompting self-reflection, personal transformation, and integration into societal structures.

In the context of "Ritual of Chiral Initiation," we discern the specifics of adolescent transition when the individual becomes deeply aware of the dichotomy of the rift. On one side, it delineates the boundary between familial and academic realms, the two main arenas of the sociocultural development. On the flip side, it represents a profound fault, occasionally traumatic, which stems from the aforementioned boundary and can impact the individual's psycho-emotional, and, potentially, physical well-being.

This dual dynamic engenders a compelling effect: the classical understanding of liminality, typically characterized as "neither there nor here," seems to lose its conventional significance. The concept itself appears to invert, shining in a new light, reflecting and augmenting its initial aspects. In this new perspective, the subject transcends the established boundaries of liminality, offering us a more intricate and profound vision of this state. Such an inverted liminality necessitates a re-evaluation of our traditional methods used in analyzing and interpreting transitional phases in an individual's life trajectory. An adolescent situated in a specific location like school and involved in specific actions such as harming peers, comes to represent a foreboding phenomenon of our times[1]. Teetering on the edge of the familiar and the unknown, the adolescent involved in such a grim "ritual" might occasionally reassess his standing in the sociocultural landscape, viewing oneself as elevated and distinct from the peers. This sentiment, consistently distorted, becomes a driving force in the actions and choices. This behavior is evident in the majority of school shooters, be it the Columbine incident or the mass shooting in Kazan (2021). In the latter case, pertaining to Ilnaz Galyaviev's assault on his school in Kazan in 2021, he professed during his arrest that he had "realized himself as a god", "a monster awakened within", and harbored "hatred for everyone" (Experts labeled the Kazan shooter a lone-wolf terrorist, 2021).

Within the context of cultural anthropological analysis, the violent actor's aforementioned declaration can be interpreted as a clear expression of "Ritual of Chiral Initiation." At a point where an individual reshapes or even transforms his grasp of liminality, we witness a process of revaluation. Here, time-honored symbols, once tied to order, give way to indicators of fragmentation and volatility. This process of inversion might suggest that sound institutions responsible for molding an individual's identity, like family or schools, confront challenges and inconsistencies. This, subsequently, may point towards an internal turmoil–where long-standing values and ideals are either questioned or wholly rejected.

Clearly, established structures and concepts, including those of the sacred, the sexuality, and death, undergo a process of redefinition in the context of this

1 In this context, differentiation is essential. Our reflection primarily focuses on manifestations of violence in educational institutions, given that our analytical subject pertains to the phenomenon of school shootings. However, it's vital to underline that violence, stemming from the traumatic experience of "double separation," can also manifest itself within the familial domain. Such incidents don't fall within the school shootings category, but examining them in the context of "Ritual of Chiral Initiation" remains equally important. Moreover, we assert that when a teenager commits a violent act within the family, such as killing family members, scholars should and must interpret it within the "Ritual of Chiral Initiation" framework – author's note.

inverted liminality. During this process, the sacred, traditionally understood as something lofty and inviolable, becomes the object of profanation: the school shooter, through acts of violence, distorts the sacred value of life by asserting it through the death of others, thereby reformulating the meaning of life through acts of destruction. Meanwhile, sexuality, typically associated with processes of birth and creation, loses its intensity in this context, becoming a state devoid of passion and attraction. Death, as a pivotal symbol in many traditions that once implied the possibility of spiritual transformation, is now contemplated as an inevitable and ultimate cessation of existence, severed from its profound contexts.

Thus, on the cusp between traditional liminality and its inverse, we encounter a reassessment of fundamental archetypes of human essence. Those aspects typically associated with elements of life, connection, and transformation—such as the sacred, the sexual, and death—are distorted and assume new forms within this perspective. The central figure in this scenario, the actor of violence, diving into the depths of this inverted reality, reinterprets established symbols, perhaps envisioning himself as the main interpreter of these new perspectives. This process of self-awareness and self-identification attests to a profound need to comprehend and reevaluate standard frames of perception. In this light, the actions and perspectives can be perceived by them as profound insights or even visions, in which the actors become observers or architects of a new order.

Non-Return to the world of the profane

In the initiation processes, a crucial role is played not only by the transformation of the individual's social status but also by the self-reevaluation as an entity possessing a unique identity. The Return stage is not limited to the simple conclusion of the ritual; rather, it becomes a chamber for deep reflection where the integration of new understandings and experiences leads to the reshaping of self-awareness. However, at times, this journey is fraught with internal conflicts, as fresh interpretations of the world collide with preexisting beliefs.

During the Return stage, the individual not only assumes new responsibilities and roles but also engages in an analysis of the new "self," drawing on the experiences and knowledge gained during the transitional rites. This stage can be considered decisive in personality development, as it is here that a new understanding of one's place in society and the world crystallizes. The Return stage is not an ordinary endpoint but a starting point for a new dynamic of personal development, where self-discovery merges with adaptation to the changing socio-cultural environment.

"Ritual of Chiral Initiation" unveils profound layers of understanding the structure and dynamics of mass shootings in schools, presenting to us the non-linearity and asymmetry of what we conventionally perceive as an initiation process. The third stage, "non-return," becomes a meaningful moment when the consequences of the act of violence leave a profound imprint not only on the social structure but also within the psychological labyrinth of the trespasser. This becomes

a source of rupture with reality, an intense sense of alienation, and the loss of individual identity.

In its chiral interpretation, "non-return" entails not only the physical withdrawal from the world but also spiritual alienation engendered by the act of violence. This idea of alienation functions as an invisible barrier, hindering the perpetrator from returning to previously embraced socio-cultural markers and values. Within this context, "non-return" serves as a counterpoint to traditional initiation, wherein, instead of transitioning to a new life stage, the individual plunges into an abyss of metaphysical stagnation or even regression.

Studying the "non-return" stage in wording of "Ritual of Chiral Initiation," we confront the multi-layered nature of this issue, transcending the finite actions of the individual, such as suicide or surrender to law enforcement. This stage immerses us in a profound analysis of how socio-cultural markers and individual identities undergo transformation and redefinition. The contemporary media space with its ceaseless flow of information becomes a domain where the image of the criminal is constructed, modified, and amplified, inexorably linking him to his deeds.

Engaging with "non-return" necessitates a comprehensive analysis encompassing both the internal motivations of the perpetrator and the intricate interactions within the global communication environment. Under the influence of this process, the criminal's image no longer just reflects his actions but becomes the product of numerous interpretations, exaggerations, and distortions in mass media.

The "non-return" definitely signifies a stage of shaping a new individual embedded within society. In today's world, the media space holds a central role in defining social interactions. Media, in essence, not only transmits information but also participates in its formation, crafting narratives that can alter or even distort the original perception of the individual. Their attempts to impose this image upon society, coupled with awkward efforts to comprehend the perpetrator's motives, profiling, and search for culpability, can lead to misleading portrayals. The depth and complexity of this issue are intertwined with fundamental philosophical and anthropological questions, calling for further academic reflections and analysis.

Brief Conclusions

Studying the dynamics of events and considering the prevailing socio-cultural context, it can be argued that "Ritual of Chiral Initiation" provides the most suitable model for analyzing the phenomenon of school shootings. It is not just a conceptual representation of events but a deeply ingrained understanding of an individual's trajectory within our cultural matrix.

1. The first stage, double separation, implies that a subject who has already undergone a dramatic detachment from initial socio-cultural spaces, enters a state

of complete alienation, reconstructing one's place and self-identification in a new context.

2. The second stage, inverted liminality, reflects a crisis moment when familiar boundaries of reality become blurred. The subject, at this point, crosses a threshold, overturning conventional norms and expectations, plunging into a range of ambiguity and contrast. It's a temporal space between the known and the unknown, where the perpetrator grapples with profound questions of one's own identity and worldview.

3. The third stage, as noted earlier, elevates this process to the territory of societal interaction. Media, in its pursuit of interpretation and narrative creation, often distorts the essence of the incident, presenting a generalized, standardized image of the criminal. This portrayal, sometimes far from reality, influences public consciousness, introducing a new layer of interpretations and perceptions about the event. There's a risk that such distortion might lead to further societal misunderstandings.

However, it's important to acknowledge that any model has its limitations and cannot fully encompass the complexity and diversity of reality. School shootings, as extreme manifestations of socio-cultural tendencies, require a comprehensive and multidimensional approach, including psychological, sociological, and philosophical analyses. Only through such an approach can we hope to understand and perhaps prevent similar events in future.

This study attempts to create a hypothetical model for describing school shootings through an anthropological methodology of ritual and ritualization. Further research in this direction will provide deeper insights into the phenomenon of school shootings and mass shootings in schools.

Acknowledgments

The research was funded by a grant from the Russian Science Foundation No 23-28-00765, https://rscf.ru/project/23-28-00765/

References

Alexander, B. A., & Harris, H. (2020). Public School Preparedness for School Shootings: A Phenomenological Overview of School Staff Perspectives. *School Mental Health*, 12(3), 595–609. https://doi.org/10.1007/s12310-020-09369-8

Baird, A. A., Roellke, E. V., & Zeifman, D. M. (2017). Alone and adrift: The association between mass school shootings, school size, and student support. *The Social Science Journal*, 54(3), 261–270. https://doi.org/10.1016/j.soscij.2017.01.009

Borisova, N. F. (2021). Schoolshooting - A New Criminal Threat To Society. *Russian Legal Journal*, 1, 125–129. (In Russian).

Brown, S. L. (2010). Marriage and Child Well-Being: Research and Policy Perspectives. *Journal of Marriage and Family*, 72(5), 1059–1077. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00750.x

Crawford, C., Goodman, A., Greaves, E., & Joyce, R. (2011). *Cohabitation, marriage, relationship stability and child outcomes: An update*. The Institute for Fiscal Studies. https://doi.org/10.1920/co.ifs.2011.0120

de Apodaca, R. F., Brighton, L. M., Perkins, A. N., Jackson, K. N., & Steege, J. R. (2012). Characteristics of Schools in Which Fatal Shootings Occur. *Psychological Reports*, 110(2), 363–377. https://doi.org/10.2466/13.16.PR0.110.2.363-377

Eliade, M. (1994). *The Sacred and the Secular* (N. K. Garbovsky, Trans.). Moscow State University Press. (In Russian).

Everly, Jr., G. (2018, March 29). *'Profiling' School Shooters*. Psychology Today. https://www.psychologytoday.com/us/blog/when-disaster-strikes-inside-disaster-psychology/201803/profiling-school-shooters

Experts labeled the Kazan shooter a lone-wolf terrorist. (2021, May 11). RBC. https://www.rbc.ru/society/11/05/2021/609a54249a794720634de06a (In Russian).

Figner, B., Mackinlay, R. J., Wilkening, F., & Weber, E. U. (2009). Affective and deliberative processes in risky choice: Age differences in risk taking in the Columbia Card Task. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 35(3), 709–730. https://doi.org/10.1037/a0014983

Foucault, M. (1984). Of Other Spaces, Heterotopias. *Architecture, Mouvement, Continuité*, 5, 46-49.

Gennep, A. van. (1999). *Rites of passage. Systematic study of rites of passage*. Vostochnaya literatura. (In Russian).

Gerard, F. J., Whitfield, K. C., Porter, L. E., & Browne, K. D. (2016). Offender and Offence Characteristics of School Shooting Incidents: Characteristics of school shooting incidents. *Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling*, 13(1), 22–38. https://doi.org/10.1002/jip.1439

Golenkov, A. V. (2020). Adolescent Post-Homicide Suicides. *Suicidology*, 11(02), 3–13. https://doi.org/10.32878/suiciderus.20-11-02(39)-3-14 (In Russian).

Golikhin, I. S. (2021). Skulshuting in educational institutions: Motives, reasons, prevention in the conditions of modern realities. *E-Scio*, 11, 710-718. (In Russian).

Goncharov, L. A. (2019). 'Columbine' and skulshuting in the structure of youth extremism and terrorism. *Vestnik Voronezh Institute of Economics and Social Management*, 2, 29-31. (In Russian).

Grinenko, U. B., & Romero, R. (2021). Semantic Analysis of Digital Destructive Content of School Shooting in the Social Network 'Vkontakte'. *Psychology and Law*, 11(4), 180–195. https://doi.org/10.17759/psylaw.2021110413 (In Russian).

Harding, D. J., FOX, C., & Mehta, J. D. (2002). Studying Rare Events Through Qualitative Case Studies: Lessons from a Study of Rampage School Shootings. *Sociological Methods & Research*, 31(2), 174–217. https://doi.org/10.1177/0049124102031002003

Highberger, J., Wang, W., & Brittingham, R. (2022). Differences in Perception of Safety Before and After School Shootings: A Multi-Event Analysis. *Journal of School Violence*, 21(3), 312–326. https://doi.org/10.1080/15388220.2022.2098500

Hong, J. S., & Espelage, D. L. (2020). An Introduction to the Special Issue: Firearms Homicide and Perceptions of Safety in American Schools Post-Columbine. *Journal of School Violence*, 19(1), 1-5. https://doi.org/10.1080/15388220.2019.1703721

Karpova, A. Yu. & Maksimova, N. G. (2021). School Shooting inRussia: what Matters? *Vlast'*, 29(1), 93-108. https://doi.org/10.31171/vlast.v29i1.7920 (In Russian).

Katsiyannis, A., Rapa, L. J., Whitford, D. K., & Scott, S. N. (2023). An Examination of US School Mass Shootings, 2017–2022: Findings and Implications. *Advances in Neurodevelopmental Disorders*, 7(1), 66–76. https://doi.org/10.1007/s41252-022-00277-3

Keatley, D. A., Mcgurk, S., & Allely, C. S. (2020). Understanding School Shootings with Crime Script Analysis. *Deviant Behavior*, 41(9), 1084–1096. https://doi.org/10.1080/01639625.2019.1596543

Kesslen, B. (2022, July 17). *Uvalde killer Salvador Ramos was mocked as a 'school shooter,' griped about bullying at school before deadly rampage*. https://nypost.com/2022/07/17/uvalde-killer-salvador-ramos-was-mocked-as-a-school-shooter-griped-about-bullying-at-school-before-deadly-rampage/

Kleck, G. (2009). Mass Shootings in Schools: The Worst Possible Case for Gun Control. *American Behavioral Scientist*, 52(10), 1447–1464. https://doi.org/10.1177/0002764209332557

Kovalev, E. Yu. (2021). The Identity Crisis of a Modern Person in the Search for the Meaning of Life in a Civilization of Information. *MCU Journal of Philosophical Sciences*, 4, 102–112. https://doi.org/10.25688/2078-9238.2020.36.4.13 (In Russian).

Larkin, R. W. (2009). The Columbine Legacy: Rampage Shootings as Political Acts. *American Behavioral Scientist*, 52(9), 1309–1326. https://doi.org/10.1177/0002764209332548

Loboc, A. M. (1997). *The anthropology of myth*. Cultural Information Bank. (In Russian).

Markey, P. M., Ivory, J. D., Slotter, E. B., Oliver, M. B., & Maglalang, O. (2020). He does not look like video games made him do it: Racial stereotypes and school shootings. *Psychology of Popular Media*, 9(4), 493–498. https://doi.org/10.1037/ppm0000255

Nikishin, V. D. (2021). The Columbine (School Shooting): Essence, Legal Qualifications, Forensic Diagnostics. *Lex Russica*, 74(11), 62–76. https://doi.org/10.17803/1729-5920.2021.180.11.062-076 (In Russian).

Nizovtsev, D. B. (2015). The Problem of Power in the Works of Michel Foucault. *Vestnik of Northern (Arctic) Federal University. Series: Humanitarian And Social Sciences*, 4, 49–57. https://doi.org/10.17238/issn2227-6564.2015.4.49 (In Russian).

Orlov, V. V. (2022). On criteria for recognizing armed attack on educational institution as act of «schoolshooting». *Bulletin of Kaluga University. Series 1. Psychological sciences. Pedagogical sciences*, 5(2), 32–38. https://doi.org/10.54072/26586568_2022_5_2_32 (In Russian).

Paez, G. R., Capellan, J. A., & Johnson, M. G. (2021). Contextualising mass school shootings in the United States. *Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling*, 18(3), 170–184. https://doi.org/10.1002/jip.1577

Raine, A. (2002). The biological basis of crime. In J. Q. Wilson & J. Petersilia (Eds.), *Crime: Public Policies for Crime Control* (pp. 43–74). ICS Press.

Raitanen, J., Sandberg, S., & Oksanen, A. (2019). The bullying-school shooting nexus: Bridging master narratives of mass violence with personal narratives of social exclusion. *Deviant Behavior*, 40(1), 96–109. https://doi.org/10.1080/01639625.2017.1411044

Sharifzyanova, K. Sh. (2020). Current Trends in Teenage Deviation. Subculture School-Shooting «School Shooting»: The Nature and Causes of Manifestation. *Problems of education quality management: a collection of selected articles of the international scientific and methodological conference. St. Petersburg*, 2020, 117–120. (In Russian).

Steinberg, L. (2004). Risk Taking in Adolescence: What Changes, and Why? *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1021(1), 51–58. https://doi.org/10.1196/annals.1308.005

Sukhodolskaya, Yu. V. (2020). Schoolshooting as an Independent Criminological Phenomenon. *Bulletin of the University of the Prosecutor's Office of the Russian Federation*, 3, 117–120. (In Russian).

Swaak, T. (2018, February 25). *'Bullied' School Shooters May Be a Fallacy*. Newsweek. https://www.newsweek.com/bullying-role-school-shootings-818753

Turner, V. (1983). *Symbol and ritual*. Nauka. (In Russian).

Uzlov, N. D., & Semenova, M. N. (2021). School shooting: murder and post-homicidal suicide as a transgressive act. *Suicidology*, 12(4), 16–30. https://doi.org/10.32878/suiciderus.21-12-04(45)-16-30 (In Russian).

Uzlov, N. D., Okonskaya, N. K. & Vnutskikh, A. Yu. (2022). School shooting: socio-philosophical aspect of the issue. *Vestnik Permskogo universiteta. Filosofia. Psihologia. Sociologia [Perm University Herald. Philosophy. Psychology. Sociology]*, 2, 264–276. https://doi.org/10.17072/2078-7898/2022-2-264-276 (In Russian).

Vossekuil, B., Fein, R., Reddy, M., Borum, R., & Modzeleski, W. (2004). *The Final Report and Findings of the Safe School Initiative: Implications for the Prevention of School Attacks in the United States*. United States Secret Service and United States Department of Education.

Why is synaptic pruning important for the developing brain? (2017). *Scientific American Mind*, 28(3), 75–75. https://doi.org/10.1038/scientificamericanmind0517-75

Zavyalova, N. Yu., & Lunkashu, Yu. V. (2021). School Shooting As A Moral And Legal Problem In Russian Society. *Society and Law*, 3, 117–122. (In Russian).

Список литературы

Alexander, B. A., & Harris, H. (2020). Public School Preparedness for School Shootings: A Phenomenological Overview of School Staff Perspectives. *School Mental Health*, 12(3), 595–609. https://doi.org/10.1007/s12310-020-09369-8

Baird, A. A., Roellke, E. V., & Zeifman, D. M. (2017). Alone and adrift: The association between mass school shootings, school size, and student support. *The Social Science Journal*, 54(3), 261–270. https://doi.org/10.1016/j.soscij.2017.01.009

Brown, S. L. (2010). Marriage and Child Well-Being: Research and Policy Perspectives. *Journal of Marriage and Family*, 72(5), 1059–1077. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00750.x

Crawford, C., Goodman, A., Greaves, E., & Joyce, R. (2011). *Cohabitation, marriage, relationship stability and child outcomes: An update*. The Institute for Fiscal Studies. https://doi.org/10.1920/co.ifs.2011.0120

de Apodaca, R. F., Brighton, L. M., Perkins, A. N., Jackson, K. N., & Steege, J. R. (2012). Characteristics of Schools in Which Fatal Shootings Occur. *Psychological Reports*, 110(2), 363–377. https://doi.org/10.2466/13.16.PR0.110.2.363-377

Everly, Jr., G. (2018, March 29). *'Profiling' School Shooters*. Psychology Today. https://www.psychologytoday.com/us/blog/when-disaster-strikes-inside-disaster-psychology/201803/profiling-school-shooters

Figner, B., Mackinlay, R. J., Wilkening, F., & Weber, E. U. (2009). Affective and deliberative processes in risky choice: Age differences in risk taking in the Columbia Card Task. *Journal of Experi-*

mental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 35(3), 709–730. https://doi.org/10.1037/a0014983

Foucault, M. (1984). Of Other Spaces, Heterotopias. *Architecture, Mouvement, Continuité*, 5, 46-49.

Gerard, F. J., Whitfield, K. C., Porter, L. E., & Browne, K. D. (2016). Offender and Offence Characteristics of School Shooting Incidents: Characteristics of school shooting incidents. *Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling*, 13(1), 22–38. https://doi.org/10.1002/jip.1439

Harding, D. J., FOX, C., & Mehta, J. D. (2002). Studying Rare Events Through Qualitative Case Studies: Lessons from a Study of Rampage School Shootings. *Sociological Methods & Research*, 31(2), 174–217. https://doi.org/10.1177/0049124102031002003

Highberger, J., Wang, W., & Brittingham, R. (2022). Differences in Perception of Safety Before and After School Shootings: A Multi-Event Analysis. *Journal of School Violence*, 21(3), 312–326. https://doi.org/10.1080/15388220.2022.2098500

Hong, J. S., & Espelage, D. L. (2020). An Introduction to the Special Issue: Firearms Homicide and Perceptions of Safety in American Schools Post-Columbine. *Journal of School Violence*, 19(1), 1-5. https://doi.org/10.1080/15388220.2019.1703721

Katsiyannis, A., Rapa, L. J., Whitford, D. K., & Scott, S. N. (2023). An Examination of US School Mass Shootings, 2017–2022: Findings and Implications. *Advances in Neurodevelopmental Disorders*, 7(1), 66–76. https://doi.org/10.1007/s41252-022-00277-3

Keatley, D. A., Mcgurk, S., & Allely, C. S. (2020). Understanding School Shootings with Crime Script Analysis. *Deviant Behavior*, 41(9), 1084–1096. https://doi.org/10.1080/01639625.2019.1596543

Kesslen, B. (2022, July 17). *Uvalde killer Salvador Ramos was mocked as a 'school shooter,' griped about bullying at school before deadly rampage*. https://nypost.com/2022/07/17/uvalde-killer-salvador-ramos-was-mocked-as-a-school-shooter-griped-about-bullying-at-school-before-deadly-rampage/

Kleck, G. (2009). Mass Shootings in Schools: The Worst Possible Case for Gun Control. *American Behavioral Scientist*, 52(10), 1447–1464. https://doi.org/10.1177/0002764209332557

Larkin, R. W. (2009). The Columbine Legacy: Rampage Shootings as Political Acts. *American Behavioral Scientist*, 52(9), 1309–1326. https://doi.org/10.1177/0002764209332548

Markey, P. M., Ivory, J. D., Slotter, E. B., Oliver, M. B., & Maglalang, O. (2020). He does not look like video games made him do it: Racial stereotypes and school shootings. *Psychology of Popular Media*, 9(4), 493–498. https://doi.org/10.1037/ppm0000255

Paez, G. R., Capellan, J. A., & Johnson, M. G. (2021). Contextualising mass school shootings in the United States. *Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling*, 18(3), 170–184. https://doi.org/10.1002/jip.1577

Raine, A. (2002). The biological basis of crime. In J. Q. Wilson & J. Petersilia (Eds.), *Crime: Public Policies for Crime Control* (pp. 43–74). ICS Press.

Raitanen, J., Sandberg, S., & Oksanen, A. (2019). The bullying-school shooting nexus: Bridging master narratives of mass violence with personal narratives of social exclusion. *Deviant Behavior*, 40(1), 96–109. https://doi.org/10.1080/01639625.2017.1411044

Steinberg, L. (2004). Risk Taking in Adolescence: What Changes, and Why? *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1021(1), 51–58. https://doi.org/10.1196/annals.1308.005

Swaak, T. (2018, February 25). *'Bullied' School Shooters May Be a Fallacy*. Newsweek. https://www.newsweek.com/bullying-role-school-shootings-818753

Vossekuil, B., Fein, R., Reddy, M., Borum, R., & Modzeleski, W. (2004). *The Final Report and Findings of the Safe School Initiative: Implications for the Prevention of School Attacks in the United States*. United States Secret Service and United States Department of Education.

Why is synaptic pruning important for the developing brain? (2017). *Scientific American Mind*, 28(3), 75–75. https://doi.org/10.1038/scientificamericanmind0517-75

Борисова, Н. Ф. (2021). Скулшутинг—Новая криминальная угроза обществу. *Российский правовой журнал*, 1, 125–129.

Геннеп, А. ван. (1999). *Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов*. Восточная литература.

Голенков, А. В. (2020). Подростковые постгомицидные самоубийства. *Суицидология*, 11(02), 3–13. https://doi.org/10.32878/suiciderus.20-11-02(39)-3-14

Голихин, И. С. (2021). Скулшутинг в образовательных учреждениях: Мотивы, причины, профилактика в условиях современных реалий. *E-Scio*, 11, 710–718.

Гончаров, Л. А. (2019). 'Колумбайн' и скулшутинг в структуре молодежного экстремизма и терроризма. *Вестник Воронежского института экономики и социального управления*, 2, 29-31.

Гриненко, У. Б., & Ромеро Р. (2021). Семантический анализ цифрового деструктивного контента по тематике 'скулшутинг' в социальной сети 'ВКонтакте' Гриненко У.Б. *Психология и право*, 11(4), 180–195. https://doi.org/10.17759/psylaw.2021110413

Завьялова, Н. Ю., & Лункашу, Ю. В. (2021). Скулшутинг как нравственная и юридическая проблема в российском обществе. *Общество и право*, 3, 117–122.

Карпова, А. Ю., & Максимова, Н. Г. (2021). Скулшутинг в России: Что имеет значение? *Власть*, 29(1), 93–108. https://doi.org/10.31171/vlast.v29i1.7920

Ковалев, Э. Ю. (2021). Кризис идентичности современного человека: В поиске смысла жизни в условиях информационной цивилизации. *Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: философские науки*, 4, 102–112. https://doi.org/10.25688/2078-9238.2020.36.4.13

Лобок, А. М. (1997). *Антропология мифа*. Банк культурной информации.

Низовцев, Д. Б. (2015). Проблема власти в работах Мишеля Фуко. *Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки*, 4, 49–57. https://doi.org/10.17238/issn2227-6564.2015.4.49

Никишин, В. Д. (2021). Колумбайн (скулшутинг): Сущность, правовая квалификация, криминалистическая диагностика. *Lex Russica (русский Закон)*, 74(11), 62–76. https://doi.org/10.17803/1729-5920.2021.180.11.062-076

Орлов, В. В. (2022). О критериях признания вооружённого нападения на учебное учреждение актом 'Скулшутинга'. *Вестник Калужского университета. Серия 1. Психологические науки. Педагогические науки*, 5(2), 32–38. https://doi.org/10.54072/26586568_2022_5_2_32

Суходольская, Ю. В. (2020). Скулшутинг как самостоятельный криминологический феномен. *Вестник университета прокуратуры Российской Федерации*, 3, 117–120.

Тэрнер, В. (1983). *Символ и ритуал*. Наука.

Узлов, Н. Д., Оконская, Н. К., & Внутских, А. Ю. (2022). Скулшутинг: Социально-философский аспект проблемы. *Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология*, 2, 264–276. https://doi.org/10.17072/2078-7898/2022-2-264-276

Узлов, Н. Д., & Семенова, М. Н. (2021). Скулшутинг: Убийство и постгомицидное самоубийство как трансгрессивный акт. *Суицидология*, 12(4), 16–30. https://doi.org/10.32878/suiciderus.21-12-04(45)-16-30

Шарифзянова, К. Ш. (2020). Современные тенденции подростковой девиации. Субкультура скулшутинг «School Shooting»: Сущность и причины проявления. *Проблемы управления качеством образования: сборник избранных статей международной научно-методической конференции. Санкт-Петербург*, 2020, 117–120.

Эксперты назвали казанского стрелка террористом-одиночкой. (2021, Май 11). РБК. https://www.rbc.ru/society/11/05/2021/609a54249a794720634de06a

Элиаде, М. (1994). *Священное и мирское* (Н. К. Гарбовский, Пер.). Издательство МГУ.

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2023. No 3 | ISSN: 2658-7734
Разное | https://doi.org/10.46539/gmd.v5i3.308

Visual Rhetoric of Classical European Nationalism

Maksym W. Kyrchanoff

Voronezh State University. Voronezh, Russia. Email: maksymkyrchanoff[at]gmail.com

Received: 12 August 2022 | Revised: 10 June 2023 | Accepted: 23 June 2023

Abstract

The author analyzes the forms, features, and main directions of visualization within the nationalist text. This article delves into the study of the nationalist imagination and political discourse. Beginning in the late 18th century, nationalism emerged as a social and cultural factor that steered the vectors and trajectories of political development in Western societies. The article examines the forms of interdependence between nationalist discourse and the visualization of political imagination, which plays a pivotal role in the invention and construction of identities. It underscores that the discursive and visual methods of constructing national identities evolved concurrently. Visualization both complemented and recalibrated the primary vectors of transformations in narrative and discursive forms of the nationalist imagination. The political rhetoric of nationalism transitioned into a visual realm, and its visualization resulted in a fusion of the traditions of both "high" and "low" cultures. This visual rhetoric of the nationalist imagination catalyzed the transformation of ethnic groups into modern nations, viewed as imagined communities. While the visual techniques in the nationalistic metatext could vary, they often shared certain characteristics. Visual imagination emerged as an integral component of identity formation in rhetorical discourse. The amalgamation of political and visual rhetoric ensured continuity between various forms of identities and the cultures they fostered. Narrative forms of political rhetoric were enriched by visual ones, especially when the nationalist imagination was crafting and promoting images of Self and Otherness. Throughout the 19th and 20th centuries, the nationalist discourse of European nationalisms operated as a dichotomy, rooted in a blend of political rhetoric and visual imagination.

Keywords

Nationalism; the Invention of Traditions; Imagination of Communities; Political Rhetoric of Nationalism; Visual Turn; Visual Figurativeness; Nationalistic Discourse; Visual Techniques for Nationalist Discourse Building; Nationalistic Narratives; Discourse Visualization

This work is licensed under a Creative Commons "Attribution" 4.0 International License

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2023. No 3 | ISSN: 2658-7734
Miscellaneous | https://doi.org/10.46539/gmd.v5i3.308

Визуальная риторика классического европейского национализма

Кирчанов Максим Валерьевич

Воронежский государственный университет. Воронеж, Россия. Email: maksymkyrchanoff[at]gmail.com

Рукопись получена: 12 августа 2022 | Пересмотрена: 10 июня 2023 | Принята: 23 июня 2023

Аннотация

Автор анализирует формы, особенности и основные направления визуализации коллективного текста национализма как части развития культурного воображения и политического дискурса. Национализм, начиная с конца XVIII века, вошел в число тех социальных и культурных факторов, которые определяли основные векторы и траектории трансформации западных обществ. Целью исследования является анализ форм взаимодействия и взаимозависимости националистического дискурса и визуализации политического воображения как фактора изобретения и конструирования идентичностей. В статье показано, что дискурсивные и визуальные формы конструирования наций и их идентичностей эволюционировали параллельно. Визуализация существенно дополняла и корректировала основные векторы изменений нарративных и дискурсивных форм националистического воображения. Политическая риторика национализма стала визуальной, что привело к синтезу традиций «высокой» и «низкой» культур. Предполагается, что синтез политической риторики и визуальной образности в националистическом воображении обеспечивал преемственность между различными формами идентичностей и производимых ими культур. Нарративные формы политической риторики дополнялись визуальными, когда националистическое воображение формировало и продвигало образы Самости и Инаковости. Автор полагает, что националистический дискурс большинства европейских национализмов XIX и XX веков функционировал как дихотомия, основанная на сочетании политической риторики и визуальной образности.

Ключевые слова

национализм; изобретение традиций; воображение сообществ; политическая риторика национализма; визуальные поворот; образность; националистический дискурс; приемы построения дискурса; националистические нарративы; визуализация националистического дискурса

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons “Attribution” («Атрибуция»)4.0 Всемирная

Введение

Начиная с конца XVIII века, национализм вошел в число тех факторов, которые самым существенным образом повлияли на процессы социальной, экономической, политической и культурной трансформации Западного мира. Эти процессы в историографии нередко редуцируются до понятия «модернизация», но ее успех был бы маловероятен без развития национализма. Универсальными формами национализма явились националистическое воображение и изобретение традиций, что привело к трансформации архаичных, унаследованных от Средневековья, групп в политические сообщества, которые сами позиционировали себя в качестве наций.

Как правило, такое позиционирование обретало формы развития, воспроизводства и продвижения разного рода националистических нарративов, которые формировали политический дискурс. Для конца XVIII и для XIX столетия число потребителей такого националистического дискурса могло оставаться ограниченным, но по мере протекания процессов социальной и культурной модернизации, развития националистического движения количество его сторонников как членов потенциальной политической или этнической нации могло увеличиваться. В своем развитии национализм, как форма политического воображения, сочетал различные формы риторики. С одной стороны, нарративные и дискурсивные практики были универсальны, так как именно с их помощью формировался сам концепт «нация» и легитимировалось националистическое движение. На протяжении XIX и XX веков именно дискурс как совокупность текстов оставался основной формой бытования национализма.

С другой стороны, такая традиционная риторика, несмотря на ее универсальность и генетическую связь с предшествующими версиями «высокой культуры», была бы не столь эффективной без использования ресурсов визуализации националистического метатекста как совокупности нарративных и дискурсивных практик. Поэтому практически с самого начала своей независимой истории национализм, как политическое и интеллектуальное явление, начал сочетать и комбинировать риторику текста и визуальности, что содействовало как большему распространению националистических идей, так и их ассимиляции носителями различных социальных и региональных субкультур формирующихся, воображаемых и изобретаемых наций.

В такой ситуации тенденции сочетания риторики и образности, политического нарратива и его визуального отражения, воплощения, образной ревизии и переосмысления стали фактически универсальными характеристиками развития большинства национализмов.

Цель и задачи статьи

Целью представленной статьи является анализ визуальности как формы подчеркивания риторического в националистическом воображении. В число задач исследования входят: 1) изучение региональных особенностей визуализации националистической риторики, 2) анализ сочетания традиционной нарративно-дискурсивной риторической компоненты националистического воображения с проявлениями визуальной образности, 3) рассмотрение региональных форм сосуществования риторического и визуального в опыте институционализации нации как воображаемого сообщества.

Методология и историография

Методологически представленная статья основана на принципах, предложенных в междисциплинарной историографии национализма. В исторической литературе, посвященной истории и современному состоянию национализма, сложилась традиция рассматривать его через призму интеллектуальной истории или истории идей. В этой ситуации в центре внимания исследователей, как правило, оказываются различные нарративы, которые формируют ту или иную версию националистического воображения. В такой ситуации процессы воображения сообществ и изобретения традиций нередко раскрываются также через призму воображения и изобретения, редуцируемых до нарративных и дискурсивных практик интеллектуалов.

Поэтому националистическое воображение может восприниматься как совокупность нарративов, формирующих дискурс и образующих некий метатекст, претендующий на универсальность. Такое восприятие национализма в современной историографии обязано родовым травмам актуального исторического знания. Генетически националистические штудии унаследовали склонность к анализу текстов из истории идей и интеллектуальной истории, а развитие исторической науки в рамках различных модернистских и постмодернистских подходов редуцировало эти нарративные и дискурсивные практики интеллектуалов-националистов до воображения наций как сообществ и изобретения традиций, воспринимаемых в качестве основ идентичности.

Новые тенденции в историографии национализма наметились в начале XXI века, что было связано с общим углублением принципов междисциплинарности в рамках перформативного и визуального поворотов. Восприятие национализма как формы культурного и политического перформанса актуализировало ту идею, что националистическое воображение представляет собой не только и не просто набор нарративов, формирующих дискурс, но является политическим, социальным и культурным актом (Fewster, 2006). Национализм как акт отягощен дополнительными символическими смыслами (Hanovs & Tēraudkalns, 2012). Символика или символичность национализма в этой ситуации проявляется не только через нарратив, точнее – она не ограничивается

только и исключительно дискурсивными формами функционирования националистического воображения.

Перформативный поворот в историографии национализма позволил в несколько иной системе методологических координат обратиться к проблемам сочетания националистической политической риторики и визуальной образности. Поэтому визуальный поворот стал неизбежным следствием предшествующей логики развития историографии национализма. В историографии эта трансформация гуманитарного знания может обозначаться несколькими определениями, но фактически дефиниции “visual turn” (Mirzoeff, 1999), “iconic turn” (Böhm, 1994), “pictorial turn” (Mitchell, 1994), “imagic turn” описывают вторжение визуальности в нарративность или мощное влияние визуального на дискурсивное. В рамках внедрения принципов визуальности в анализ националистического воображения (Guenther, 2004) историки осознали, что символическая мобилизация в большей степени может опираться не на дискурсивные и нарративные практики (Etlin, 1991), но на актуализацию визуального как более легко воспринимаемого, усвояемого и ассимилируемого политического продукта (Dalsimer, 1993).

Вместе с тем современная историография национализма и идентичностей, если мы рассматриваем последние не как совокупность политически прикладных идеологических концептов, явно испытывает дефицит междисциплинарных работ, которые актуализировали бы достижения многочисленных штудий, сфокусированных на анализе как истории националистического воображения и изобретения традиций, так и достижений, накопленных смежными гуманитарными областями знаний в рамках визуального, иконического, имагинативного и пикториального поворотов (Mraz, 2009; Dittmer, 2012).

Вместе с тем в современной историографии национализма число его исследований, основанных на внедрении положений визуального поворота, несравнимо меньше, чем количество штудий, эксплуатирующих его понимание как совокупности нарративных и дискурсивных практик. В российской исторической науке подобные исследования также редки и представлены в еще меньшем количестве в сравнении с исследованиями, принадлежащими к традиционной историографии. Кроме этого, отечественные работы методологически и теоретически могут носить вторичный характер, ассимилируя и интегрируя достижения западных междисциплинарных исследований в отечественный академический дискурс (Инишев, 2012), хотя имеют место и немногочисленные попытки анализа западного опыта интеллектуальной и культурной истории национализма, археологии его идей через призму визуальности (Кирчанов, 2022a). Визуальная риторика национализма, как правило, прочитывается в его современных, новейших формах и модификациях, представленных в массовой культуре (Кирчанов, 2022b) и в культурных факторах (Кирчанов, 2021a), формирующих идентичность общества потребления (Кирчанов, 2021b), в то время как классическое наследие националистического

воображения продолжает интерпретироваться при помощи категорий «нарратива» и «дискурса» в рамках интеллектуальной истории или истории идей.

Национализм и «открытие» ресурса визуальности

Сочетание националистической риторики и визуальной образности в истории европейских национализмов на протяжении XIX и XX веков имело различные проявления, но, как правило, было универсальной тенденцией для развития националистического воображения. Что касается националистического дискурса, то визуализации подвергались далеко не все нарративы, которые формировали идеологические основания того или иного национализма. В наибольшей степени для выражения при помощи визуальных средств оказывались пригодны те аспекты националистического воображения, которые актуализировали образы самости того или иного сообщества, апеллируя к его славному историческому и героическому прошлому.

В этой ситуации для визуализации националистической риторики была характерна тенденция к постепенной редукции политического дискурса. Визуализация нации как политического сообщества или национального государства была затруднена, особенно в тех случаях, когда нация переживала процесс собственного формирования, а национальное государство, как политическая категория, вообще отсутствовало. В таких обстоятельствах, — а негативные стартовые условия на протяжении XIX века были характерны для значительной части европейских национализмов, — визуализация националистического дискурса включала применение крайне ограниченного числа сюжетов. Поэтому визуализация националистического дискурса в традиционных медиа, доступных националистам в XIX и XX столетиях, предусматривала большую представленность образов славной истории, которая редуцировалась до воображения, изобретения и конструирования образов великих предков, королей и сражений.

В такой ситуации вопросы реальности, аутентичности и существования как предков в целом, так и их отдельных представителей (королей и воинов) имели второстепенный характер и мало волновали националистов, озабоченных в большей степени легитимацией тех национальных проектов, которые они продвигали, а не их академической обоснованностью. Культурная история большинства европейских национализмов на протяжении XIX и XX веков предоставляет их историкам немало примеров именно такой редуцированной визуализации националистической риторики в традиционных медиа, представленных книгой, журналом или газетой, ставших пространствами продвижения националистического дискурса, ограниченного рамками поэзии, художественной прозы или политического текста, применяемых для усиления мобилизационного и индоктринизационного эффекта сопровождаться иллюстрациями, то есть визуализироваться.

На протяжении XIX века националистическая риторика традиционных для того времени медиа, представленных преимущественного литературными текстами, подвергалась визуализация для формирования и продвижения образов великих исторических предков (иллюстр. 1), что было призвано подчеркнуть идеи и ценности континуитета нации на визуальном уровне, сделав их, соответственно, более популярными и доступными для потребителей новых формирующихся идентичностей.

Иллюстр. 1. Суровая и кровавая клятва, им произнесенная (A stern and bloody oath he sware). Источник / Source: La Villemarqué, T.H. de (1865). Ballads and songs of Brittany. Cambridge, London: Macmillan and Co. P. 45. Retrieved from https://www.oldbookillustrations.com/illustrations/stern-bloody-oath/

Illustration 1. A stern and bloody oath he sware). Source: La Villemarqué, T.H. de (1865). Ballads and songs of Brittany. Cambridge, London: Macmillan and Co. P. 45.

Примером именно такой визуализации националистической риторики стал сборник “Ballads and songs of Brittany” Теодора де ла Вильмарке (La Villemarqué, 1865), оригинально изданный на французском, но позднее переведенный на английский. Это издание практически сразу приобрело транснациональный характер, так как апеллировало к универсальности механизмов националистического воображения и общность образов, потенциально пригодных для визуализации, в рамках английского и французского националистических дискурсов. “Ballads and songs of Brittany” (La Villemarqué, 1865) содержала романтизированные и идеализированные изображения древних кельтов, позиционируемых в качестве «великих» предков, в которых нуждались европейские нации, динамично модернизировавшиеся в XIX столетии.

Именно такие формы сочетания националистической риторики и ее визуальности доминировали в европейских национализмах. Исключением не был и немецкий национализм, который активно использовал визуальность доступных для того времени традиционных медиа с целью формирования и продвижения идентичности, делая более явными образы великих предков. В 1852 г. в Лейпциге вышла “Deutsches Balladenbuch” (Ehrhardt, 1852), которая представляла одну из первых в Европе попыток предложить универсальные стратегии использования визуальной риторики в воображении, изобретении и конструировании идентичности. Иллюстраторы книги, Адольф Эрхардт и Герман Плюдеманн, апеллировали к общим образам романтического национализма, включая военное величие предков (Иллюстр. 2) и прошлые победы, образы которых конструировались в преимущественно мифической системе координат (Иллюстр. 3).

Иллюстр. 2. Сражения (Die Schlachten). Источник / Source: Ehrhardt, A. (1852). Deutsches Balladenbuch. Leipzig: Georg Wigand's Verlag. Retrieved from https://www.oldbookillustrations.com/illustrations/battles/

Illustration. 2. Battles (Die Schlachten).

Иллюстр. 3. Битва с драконом (Der Kampf mit dem Drachen). Источник / Source: Ehrhardt, A. (1852). Deutsches Balladenbuch. Leipzig: Georg Wigand's Verlag. Retrieved from https://www.oldbookillustrations.com/illustrations/fight-dragon/

Illustration 3. Battle with the Dragon

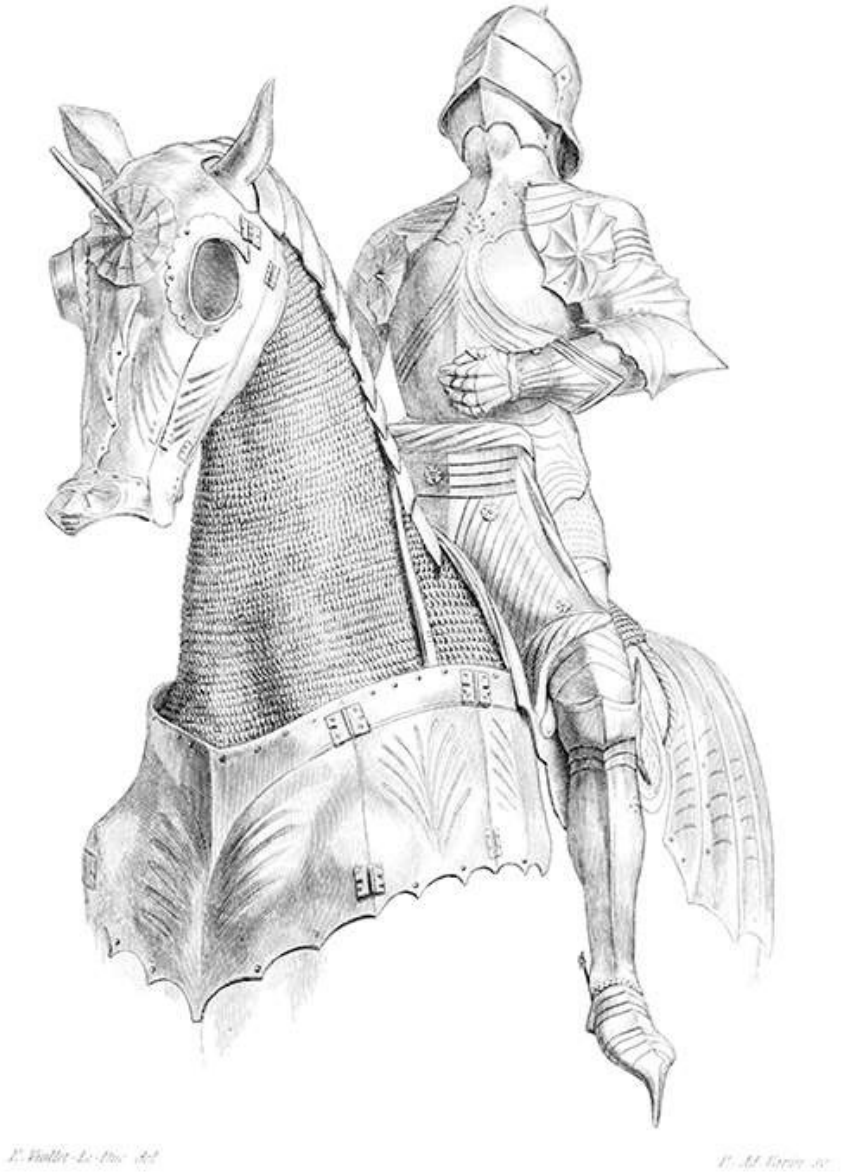
Визуальная риторика национализма

Кроме этого, сочетание политической националистической риторики и визуализации формирующихся идентичностей вело к национализации представлений о прошлом, стимулируя появление и развитие национальных версий медиевализма как одного из частных случаев развития национализма. Визуальные приемы построения коллективного националистического текста требовали от его форматоров активного использования легко узнаваемых, читаемых и ассимилируемых образов, которые претендовали на статус тропов. Визуализация националистического воображения в определенной степени упростила ассимиляцию и усвоение националистического дискурса массам. Поэтому если относительно национализма начала XXI века мы можем утверждать его «цифровую революцию» (Cowan, 2021), то двумя столетиями раннее аналогичную по воздействую роль сыграла визуальная революция.

В случае с визуализацией медиевализма как компонента национальной идентичности значение этих тропов оказалось подверженным смысловой инфляции, в результате чего они превратились в общие места визуальности как компоненты националистического воображения. В результате эти визуальные тропы были представлены образами, ассимилированными формировавшейся массовой культурой, успех которой оказался бы маловероятен без национализации истории Европы, придавшей универсальность общим визуальным проявлениям националистического дискурса. В то время как националисты-интеллектуалы в XIX веке изобретали национальные Средние Века, художники-иллюстраторы (Leroy, 2016) ассимилировали их, редуцировав до узнаваемых и продаваемых образов рыцарей, которые могли быть участниками сражений (Иллюстр. 4), продвигая миф о славном прошлом. Другой формой визуализации стали попытки медиевализации националистической риторики (Иллюстр. 5 – 8), что могло граничить с академическим дискурсом.

Иллюстр. 4. Пока я падал вместе с лошадью, барон Фредерик пронзил меня своим копьем. (While I lay there with my horse upon me, Baron Frederick ran me down with his lance). Источник / Source: Pyle, H. (1914). Otto of the silver hand. New York: Charles Scribner's Sons. Retrieved from https://www.oldbookillustrations.com/illustrations/frederick-lance/

Illustration. 4. While I lay there with my horse upon me, Baron Frederick ran me down with his lance)



Иллюстр. 5. Немецкие доспехи XV века (Armure allemande du XVe siècle). Источник / Source: Viollet-le-Duc, E. (1874). Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance. Vol. 5. Paris: Vve A. Morel et Cie. Retrieved from https://www.oldbookillustrations.com/illustrations/german-armor-front/

Illustration 5. German Armor of the 15th Century

Иллюстр. 6. Рыцарские доспехи (Armure de joute). Источник / Source: Viollet-le-Duc, E. (1874). Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance. Vol. 2. Paris: Vve A. Morel et Cie. Retrieved from https://www.oldbookillustrations.com/illustrations/armored-jouster/

Illustration 6. Knight's Armor

Иллюстр. 7. Рыцарь (Jouteur), XV в. Источник / Source: Viollet-le-Duc, E. (1874). Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance. Vol. 2. Paris: Vve A. Morel et Cie. Retrieved from https://www.oldbookillustrations.com/illustrations/jouster/

Illustration 7. Knight, 15th Century

Иллюстр. 8. Рыцарь (Tournoyeur), середина XV в. Источник / Source: Viollet-le-Duc, E. (1874). Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance. Vol. 2. Paris: Vve A. Morel et Cie. Retrieved from https://www.oldbookillustrations.com/illustrations/tournament/

Illustration 8. Knight, Mid-15th Century.

Поэтому если нации как коллективные социальные конструкты возникают в «воображении, проецирующим индивидуальное существование в коллективный нарратив, а незапамятное прошлое выдумывается и принима-

ется как норма, то нации не имеют, естественно, определенного прошлого или этнической основы, что превращает формирование различных визуальных сообществ в ключевой элемент» (Kuryel, 2015, p. 18) в развитии идентичности, которая остро нуждается не только в нарративной легитимации на уровне дискурса, но в зрительной через визуальное искусство.

В ряде случаев такая мифологизация, которая достигалась в результате визуализации националистического нарратива, апеллировала к христианскому мифу о Святом Граале (Иллюстр. 9), но неизбежно сопровождалась попытками интегрировать эти концепты в формирующиеся национальные идентичности.

Иллюстр. 9. Фронтиспис «Святого Грааля» (Frontispiece of "The Holy Grail"). Источник / Source: Title: Alfred, L.T. (1887). The Holy Grail. Boston: D. Appleton and Company. Retrieved from https://www.oldbookillustrations.com/illustrations/holy-grail-frontispiece/

Illustration 9. Frontispiece of "The Holy Grail"

В такой ситуации сочетание риторики и визуальной образности оказывалось зависимым от национализации этого общехристианского мотива, что предусматривало его локализацию в новых национальных традициях. Примечательно, что последние нередко были нацелены не на визуализацию христианского наследия, но некого общего, абстрактного Средневековья, которое начинало читаться, восприниматься и расшифровываться в национальных системах координат.

Мифологизация в националистической риторике могла играть различные роли, но нередко использовалась для легитимации насилия (Иллюстр. 10) над воображаемыми и визуализированными Другими.

Иллюстр. 10. Иринг отшатнулся, наполовину потеряв сознание (Iring taumelte halb besinnungslos zurück). Источник / Source: Engelmann, E. (1889). Germania's Sagenborn. Stuttgart: Verlag von Paul Neff. Retrieved from https://www.oldbookillustrations.com/illustrations/iring-senseless/

Illustration 10. Iring recoiled, semi-conscious.

Визуальные мотивы националистической риторики в немецкой версии XIX и XX века не являются уникальными, но указывает и на общие тенденции и закономерности процессов визуализации. В этом отношении визуальная риторика, предложенная в рамках немецкого националистического воображения, активно трансплантировалась и применялась другими европейскими национализмами в тех случаях, когда и усилить эффект от националистического текста.

Подобная тенденция визуализации политической риторики, которая фиксировала в формирующемся националистическом воображении этнические и фольклорные мотивы, оказалась универсальной в силу ряда причин. Во-первых, визуализация фольклора в определенной степени упрощала его национализацию, так как определенные социальные слои были с ним знакомы. Во-вторых, переход от нарратива к визуальным образам решал в этом случае и некоторые практические задачи, интегрируя ресурсы этничности в преимущественно политическое воображение европейских национализмов. “Celtic fairy tales” Дж. Джэйкоба (Jacobs, 1892) содержали многочисленные визуализированные образы политического дискурса (иллюстр. 11 – 12), редуцированного в данном случае до фольклорных проявлений.

Иллюстр 11. Между ним и зверем что-то плескалось и вздымалось. (There was a spluttering and a splashing between himself and the beast). Источник / Source: Jacobs, J. (1892). Celtic fairy tales. London: David Nutt. Retrieved from https://www.oldbookillustrations.com/illustrations/spluttering-splashing/

Illustration 11. There was a spluttering and a splashing between himself and the beast

В этой ситуации нельзя исключать и того, что последние были мистификацией Теодора де ла Вильмарке и его современников, что не только упрощало их визуализацию, но и позволяло относить их к именно изобретенным традициям, активно вводимым европейскими националистами, понимавшими ресурсы использования визуального для распространения своих идей среди сообществ, которым предстояло консолидироваться и стать гражданской нацией.

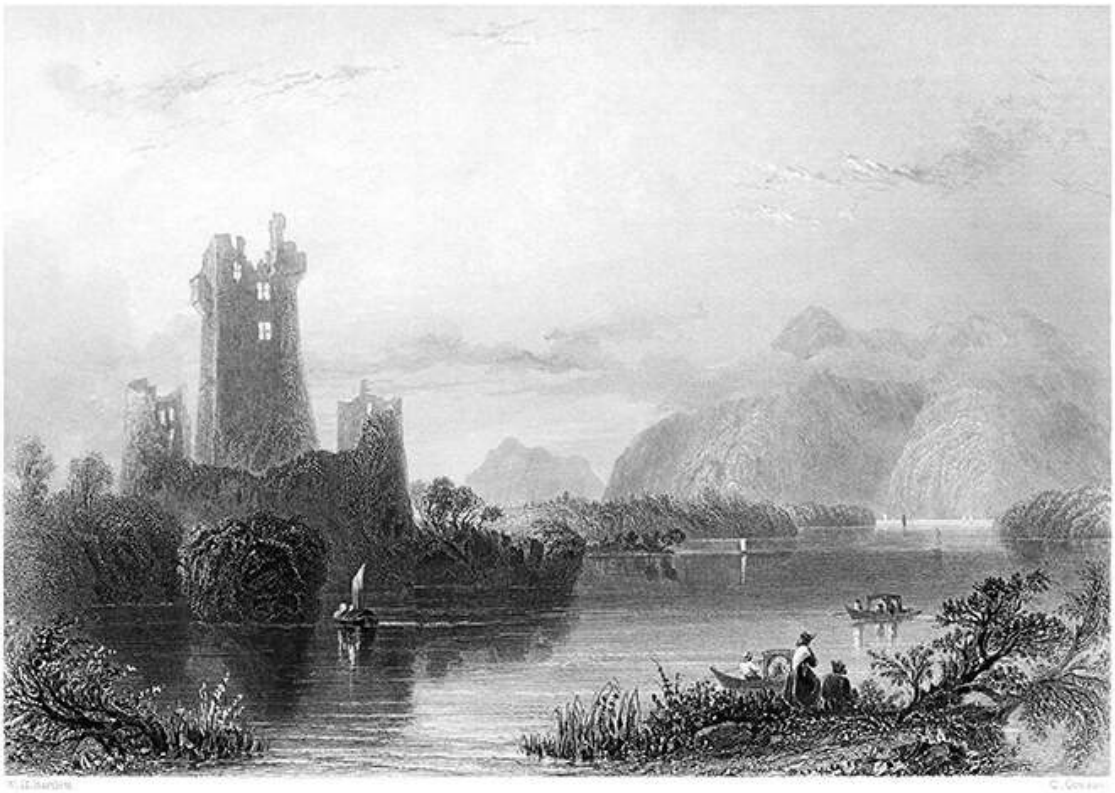
Иллюстр. 12. Гурхир и Эйдоэль разговаривают с орлом Гверн-Эбви (Gwrhyr and Eidoel talk with the Eagle of Gwern Abwy). Источник / Source: Jacobs, J. (1892). Celtic fairy tales. London: David Nutt. Retrieved from https://www.oldbookillustrations.com/illustrations/gwrhyr-eidoel/

Illustration 12. Gwrhyr and Eidoel talk with the Eagle of Gwern Abwy

Таким образом, для изучаемого периода характерна стабильная связь между националистическими дискурсами и визуальными образами в контекстах формирующихся идентичностей. Вероятно, именно столь значительное влияние национализма позволяет Р. Эснер утверждать, что «призрак национализма» в Европе преследовал визуальные искусства в целом и на уровне государств в частности. Кроме этого, националистическое воображение воспроизводило политические идеи визуально не только «смехотворными способами»,

но привело к более чем «разрушительным последствиям» (Esner, 2008), которые проявились в росте этнического национализма как потенциального источника конфликтов.

В XIX веке в историческом воображении европейских национализмов прошлое и история могли редуцироваться до фона идеалистической аграрной пасторали, будучи напоминанием о славной средневековой истории. В качестве пространственных атрибутов последней могли выступать руины средневековых замков. Например, в изданной в 1865 г. книге “A week at Killarney” (Hall, 1865) содержались и воспроизводились визуальные образы Англии (иллюстр. 13), направленные на идеализацию ее аграрного средневекового прошлого, которое не могло конкурировать с динамично развивающейся и меняющейся современностью 60-х гг. XIX века. Развитие и последовательное культивирование таких форм визуализации привело к возникновению медиевалистского дискурса, который будет в центре авторского внимания ниже.



Иллюстр. 13. Замок Росс, Килларни (Ross Castle, Killarney). Источник / Source: Hall, A.M., Hall, S.C. (1865). A week at Killarney. L.: Virtue Brothers and Co. Retrieved from https://www.oldbookillustrations.com/illustrations/ross-castle-killarney/

Illustration 13. Ross Castle, Killarney

Визуальная риторика изобретения Другого

В XIX веке влияние национализма на визуальное искусство стало универсальным явлением (Passini, 2012). В такой ситуации практически все проявления художественной культуры в той или иной степени визуализировали националистический дискурс, создаваемый местными интеллектуалами. Сочетание риторического и визуального в националистическом воображении не ограничивалось только продвижением образов собственной идентичности, как правило, редуцируемой до коллективных или персонифицированных великих предков.

Иллюстр. 14. Эмир Султан, Бурса. Малая Азия (Emir Sultan, Bursa, Asia Minor). Источник: Walsh, R. (1839). Constantinople: and the scenery of the seven churches of Asia Minor. London, Paris: Fisher, Son, & Co. Retrieved from https://www.oldbookillustrations.com/illustrations/emir-sultan-mosque/

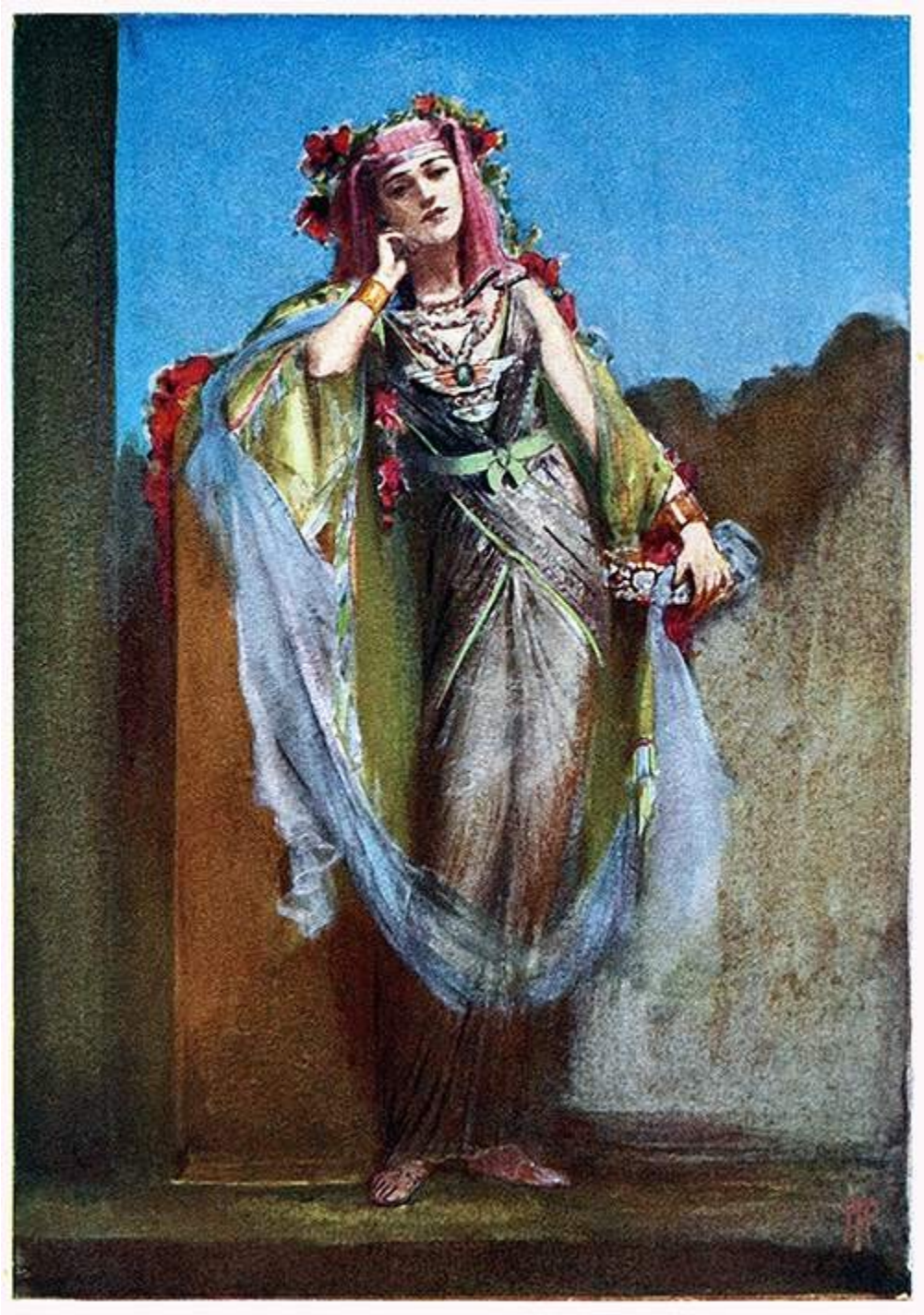
Illustration 14. Emir Sultan, Bursa, Asia Minor

Визуальное в традиционных медиа, используемых европейскими националистами в XIX и XX веках, представляло образы Инаковости. Визуализация Другого была продолжением развития нарративно-дискурсивных практик европейского национализма и в ряде случаев совпадала с развитием ориента-

лизма. Поэтому восточные образы активно использовались для визуализации и концептуализации Другого. Визуализация ориентального как чуждого носила универсальный характер. В этой ситуации восточные образы стали формой сочетания националистической риторики и визуальной образности, призванной представить правильный собственный образ в отражении Другого.

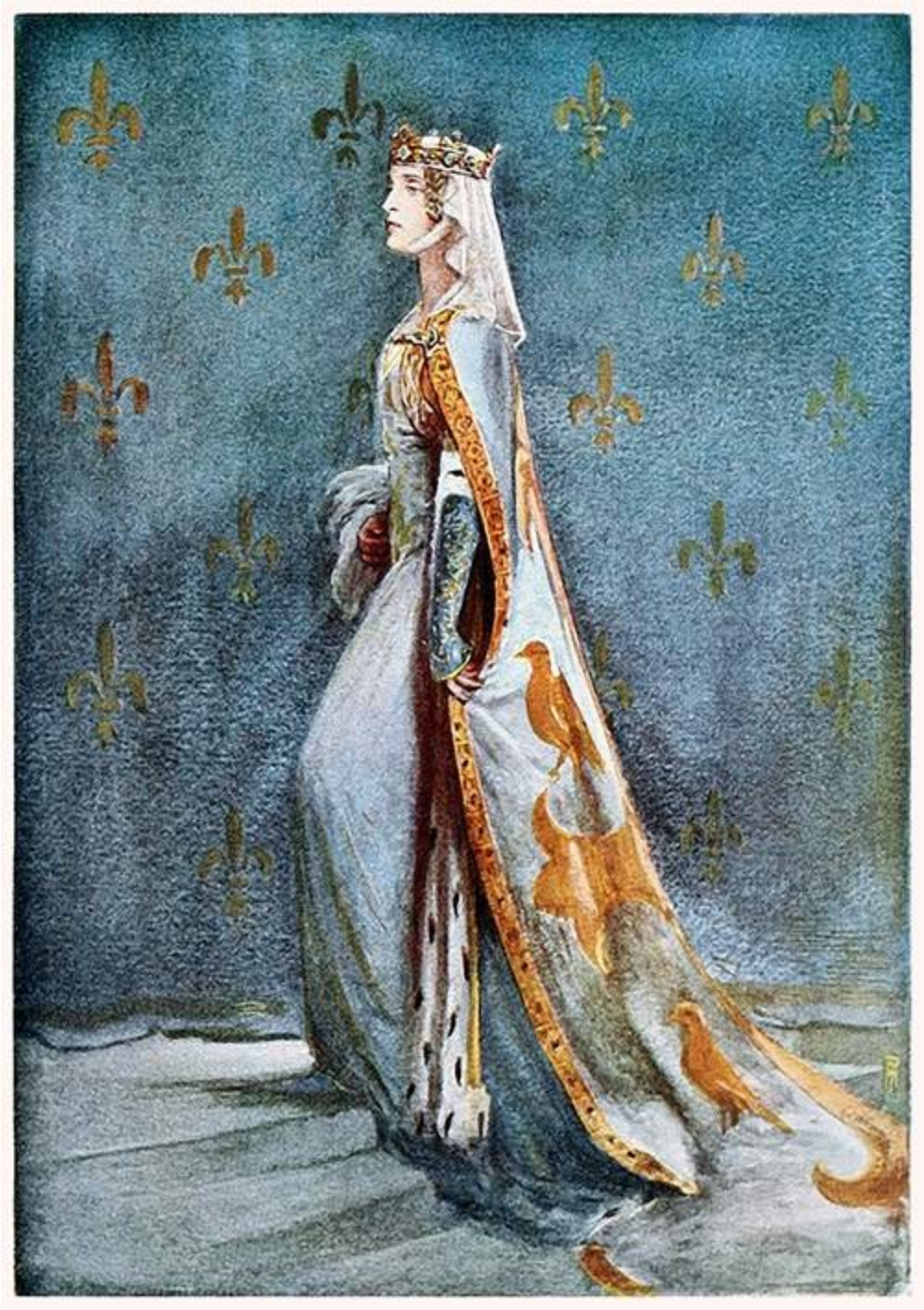
Подобные стратегии были столь универсальны, что проявились в экспансии националистического воображения в мир моды начала XX века, когда усилиями европейских книжных иллюстраторов формировалась дихотомия «западное» / «незападное», представленная в том числе визуальными образами восточных женщин, олицетворявших не только топос экзотичности и таинственности, но архаики, чуждости и отсталости. Ориентальное визуализировалось преимущественно путем фиксации чуждого восточного пространства, нередко редуцируемого до его наиболее узнаваемых образов, включая базар и мечеть в окружении стереотипно представленных восточных обитателей, обязательно сопровождаемых верблюдами или ослами (иллюстр. 14).

Примером именно этой тенденции в софункционировании риторики и образности стал альбом “Costume: fanciful, historical, and theatrical” (Aria, 1906), проиллюстрированный Перси Андерсоном, который содержал восточные образы, представленные в качестве естественной противоположности западным. Если первые были редуцированы до образа египетской танцовщицы (иллюстр. 15), то вторые ограничены обращением к традициям английской аристократии (иллюстр. 16). Поэтому уже в первой четверти XX века визуальное заняло свое место в арсенале методов националистической мобилизации (Winter, 1992), о чем, в частности, свидетельствует опыт европейской истории, отягощённой наследием двух мировых войн, этническими конфликтами и взаимными фобиями, которые легитимировались, в том числе, и визуальными методами.



Иллюстр. 15 Египетская танцовщица (An Egyptian dancer). Источник: Aria (Davis, E). (1906). Costume: fanciful, historical, and theatrical. London, New York: Macmillan and Co. Retrieved from https://www.oldbookillustrations.com/illustrations/egyptian-dancer/

Illustration 15. An Egyptian dancer



Иллюстр. 16. Королева Ричарда II (The queen of Richard II). Источник: Aria (Davis, E). (1906). Costume: fanciful, historical, and theatrical. London, New York: Macmillan and Co. Retrieved from https://www.oldbookillustrations.com/illustrations/egyptian-dancer/

Illustration 16. The queen of Richard II

Визуальная риторика раннего Медиевализма как «изобретенной традиции» национализма

Идеализация прошлого в националистическом воображении европейских интеллектуалов XIX – начала XX века привела к появлению медиевализма, представленного на том этапе романтизированными и идеализируемыми образами западного Средневековья. Национальная идентичность, таким образом, «конструировалась и дискутировалась через использование национальных символов в визуальных материалах» (Verrall, 2021, p. 1), широко представленных в изданиях XIX– начала XX века, ставших пространствами развития национальных идентичностей, основанных на коллективных представлениях о прошлом.

Визуальные практики могут активно использоваться националистически мыслящими интеллектуалами для «создания воображаемого прошлого». Если на современном этапе последнее, по мнению Б. Роя, воспроизводится при помощи кинематографа (Roy, 2018, p. 27), то в XIX веке печатная иллюстрированная книга обладала не меньшим информационным потенциалом и ресурсом воздействия с целью националистической мобилизации. Визуализация средневекового наследия носила исключительно выборочный характер. Поэтому в формирующиеся дискурсы националистического воображения интегрировались не все образы средних веков. Иными словами – не все проявления феодализма подвергались визуализации. В наибольшей степени интегрируемы в европейские национализма и медиевализма, как частный случай националистического воображения, оказались:

1) *«военные» или в более узком смысле рыцарские образы средневековой визуальности.* В рамках развития подобных образов (иллюстр. 17 – 20) усилиями националистов XIX – начала XX века формировался в значительной степени идеализированный и романтический образ Средневековья, редуцированный до такого социального и политического явления как рыцарство. Ставка именно на такие образы в европейских национализмах не была случайной. Скорее всего, она была связана не только с ростом националистического воображения, так как проект нации требовал наличия «славных предков». Нельзя также исключать того, что генезис таких визуальных образов был связан с ростом недоверия к современности и появлением первых элементов культурного и социального эскапизма в европейских идентичностях. Эти образы внесли значительный вклад в генезис и раннюю культурную и интеллектуальную историю западного медиевализма, содействуя визуализации коллективной ностальгии в отношении средних веков как идеализируемого золотого века, отражая фобии националистов относительно эрозии романтического пласта в формирующихся национальных идентичностях, которые, используя ресурсы визуализации, содействовали воспроизводству и укреплению националистических мифов;

Иллюстр. 17. Доспехи XIV века (Fourteenth-Century armored equipment). Источник / Source: Viollet-le-Duc, E. (1874). Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance. Vol. 5. Paris: Vve A. Morel et Cie. Retrieved from https://www.oldbookillustrations.com/illustrations/late-14th-surcoat/

Illustration 17. Fourteenth-Century armored equipment

Иллюстр. 18. Воин со щитом и мечом (Soldier with shield and sword). Источник / Source: Viollet-le-Duc, E. (1874). Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance. Vol. 5. Paris: Vve A. Morel et Cie. Retrieved from https://www.oldbookillustrations.com/illustrations/bascinet-jupon/

Illustration 18. Soldier with shield and sword

Иллюстр. 19. Воин с длинным мечом (Soldier wielding a longsword). Источник / Source: Viollet-le-Duc, E. (1874). Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance. Vol. 5. Paris: Vve A. Morel et Cie. Retrieved from https://www.oldbookillustrations.com/illustrations/longsword-bascinet-surcoat/

Illustration 19. Soldier wielding a longsword

Иллюстр. 20. Пеший воин VIII века (Eighth-Century foot soldier). Источник / Source: Viollet-le-Duc, E. (1874). Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance. Vol. 5. Paris: Vve A. Morel et Cie. Retrieved from https://www.oldbookillustrations.com/illustrations/foot-soldier/

Illustration 20. Eighth-Century foot soldier

2) *литературные и фольклорные мотивы, интегрированные в романтическую версию националистического воображения.* Визуализация этих образов была частично призвана заполнить лакуны в тех случаях, если представленность средневековых военных, преимущественно – рыцарских, образов не выполняла тех задач, которые ставились националистически ориентированными интеллектуалами. В этом контексте визуализация этих моментов фактически продвигала политически прогрессивную для XIX столетия, но вместе с тем и культурно консервативную форму национализма, которая апеллировала к ценностям воображаемой романтически сконструированной этничности. Дефицит великих предков и славной истории легко компенсировался их изобретением в псевдофольклорном дискурсе и романтической традиции (иллюстр. 23 – 24). Подобные образы подчеркивали идентичность формирующихся европейских наций, интегрируя в ее контексты частично мифологические и отчасти романтические образы, которые оказались в одина-

ковой степени эффективны как для продвижения концептов Самости, так и «Другости»;

Иллюстр. 23. Ничего не бойся (Fear Nothing). Источник / Source: Rhead, L. (1912). Bold Robin Hood and his outlaw band. London, New York: Harper & Brothers. Retrieved from https://www.oldbookillustrations.com/illustrations/fear-nothing/

Illustration 23. Fear Nothing

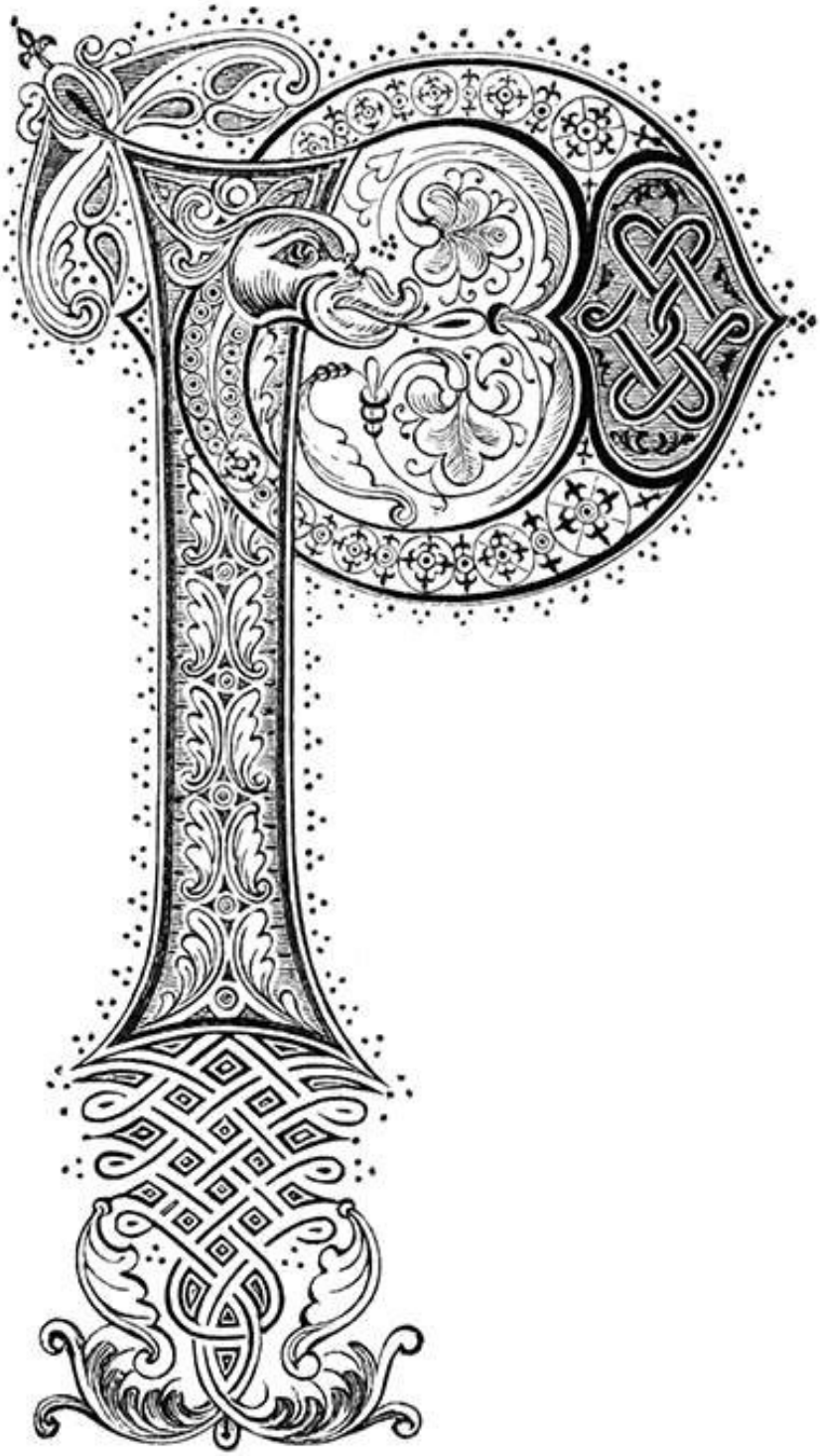
Иллюстр. 24. Боже милостивый (God-a-mercy). Источник / Source: Rhead, L. (1912). Bold Robin Hood and his outlaw band. London, New York: Harper & Brothers. Retrieved from https://www.oldbookillustrations.com/illustrations/god-mercy/

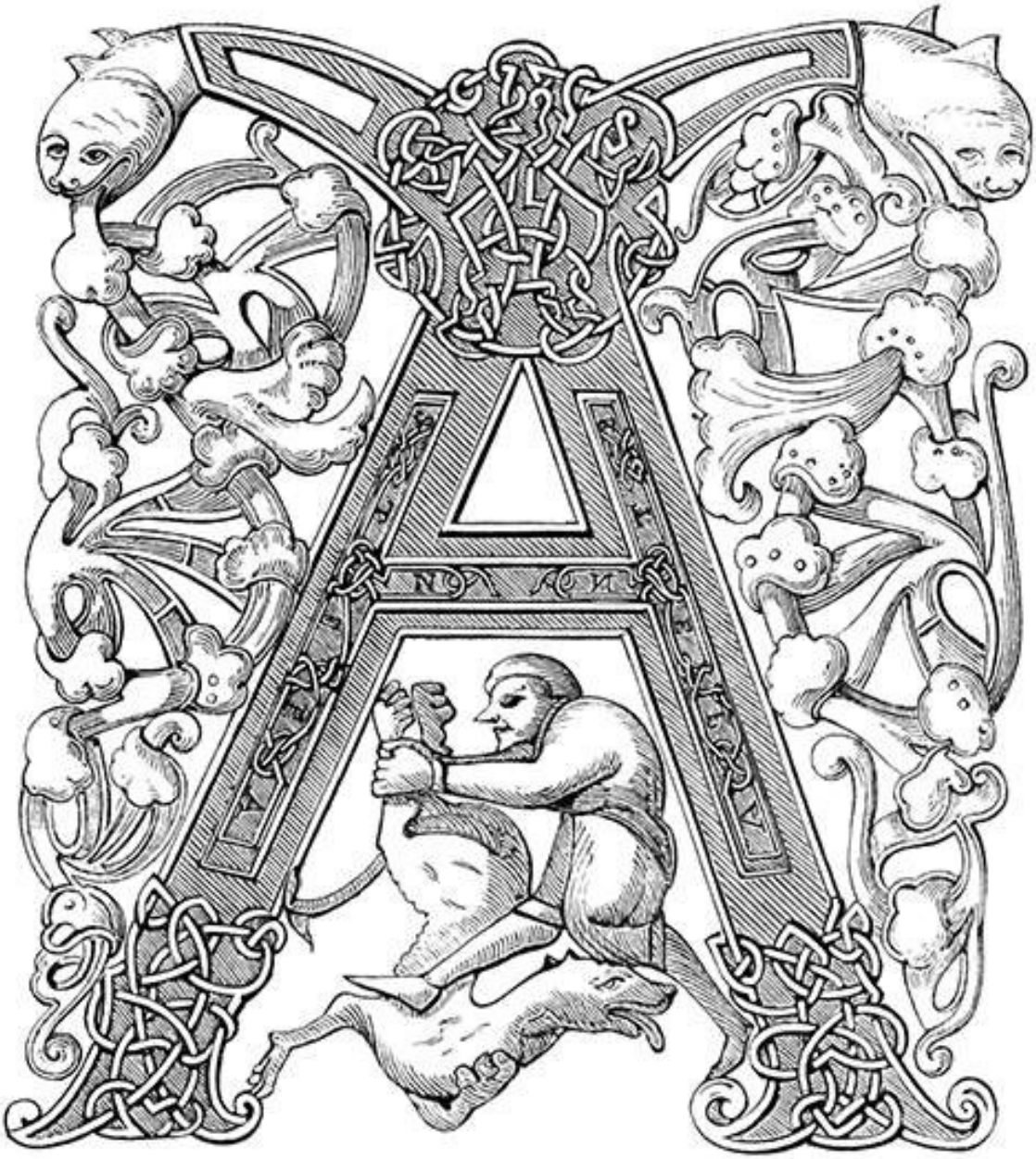
Illustration 24. God-a-mercy

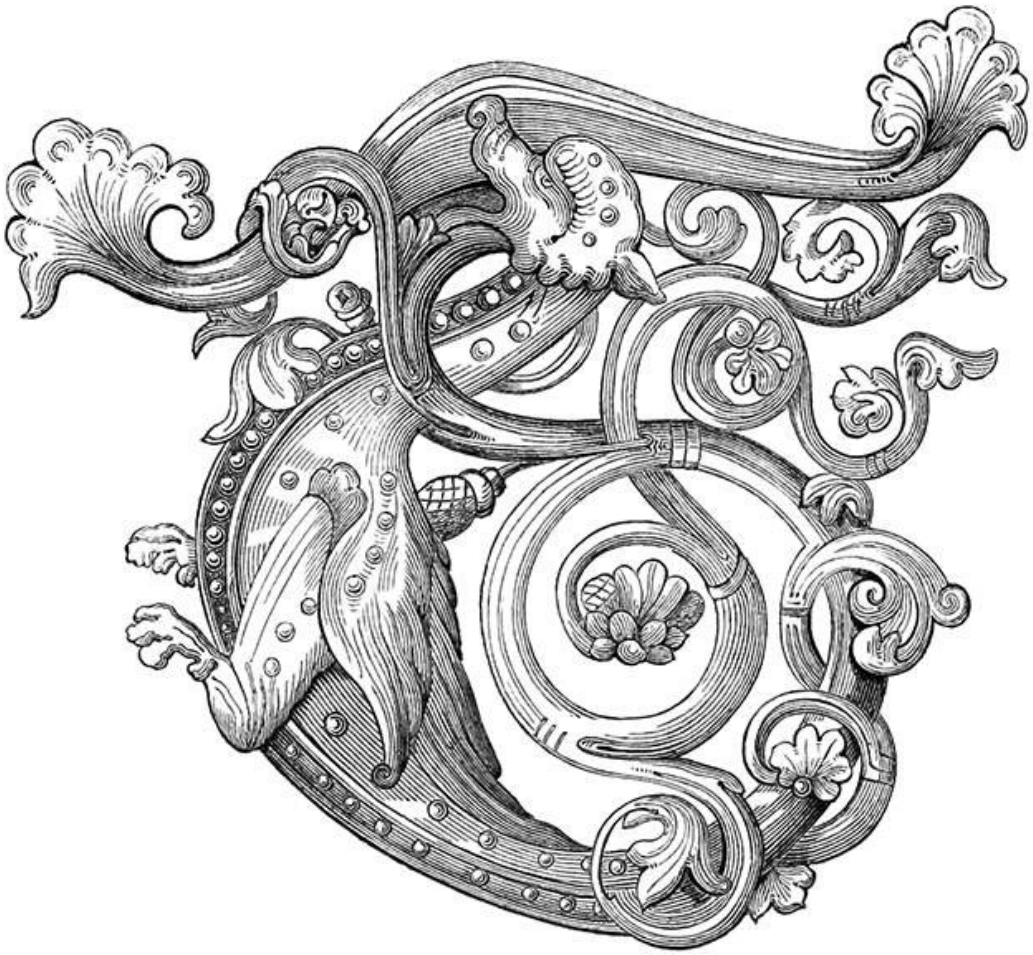
3) *средневековые тексты, что проявилось в визуализации дискурса путем стилизации и имитации характерных для средних веков стилей и приемов оформления манускриптов*. Это визуальное измерение медиевализма стало свидетельством растущего интереса европейских национализирующихся обществ к средним векам. Подобные формы визуализации идентичности (иллюстр. 30 – 33), точнее – ее исторических оснований, носили характер симуляции и имитации реального средневекового опыта написания и производства текстов, для которых бала характерна тенденция к визуализации формируемых нарративов, хотя последняя была технически ограниченной.

Иллюстр. 30. Пластина 8 третьей части “Album du moyen-âge”, посвященной композициям с использованием древних и современных букв (Plate 8 of the third part of “Album du moyen-âge” devoted to compositions involving ancient and modern lettering). Источник / Source: Midolle, J. (1836). Album du moyen-âge. Strasbourg: Simon Fils. Retrieved from https://www.oldbookillustrations.com/illustrations/album-galerie-8/

Illustration 30. Plate 8 of the third part of “Album du moyen-âge” devoted to compositions involving ancient and modern lettering







Иллюстр. 31, 32, 33. Средневековые Инициалы (Medieval initial). Источник / Source: Denis, F. (1857). Histoire de l'ornementation des manuscrits. Paris: Léon Curmer. Retrieved from https://www.oldbookillustrations.com/illustrations/medieval-initial

Illustration 31, 32, 33. Medieval initial

Вместе с тем подобная визуальная риторика европейских интеллектуалов XIX века также была формой культурного эскапизма от культуры, которая в большей степени становилась стандартизированной, унифицированной и развивалась в направлении массовой. Поэтому подобные стратегии визуализации вели к формированию условно «народной» идентичности, которая «подчеркивала солидарность и привязанность к прошлому и протестовала против предполагаемых опасностей капиталистического индустриализма и городской экспансии» (Facos, 1998);

4) *образы гендера, редуцированные до проявлений феминной красоты и телесности, которые в большей степени могли соотноситься не с аутентичными средневековыми реалиями, но с представлениями интеллектуалов* XIX – *начале* XX *века о социальной роли и внешнем облике средневековой женщины*. Последняя форма визуализации национальных идентичностей западных наций, которые в XIX веке оформлялись в воображаемые сообщества, носила преимущественно спекулятивный характер. Гендерная история средних веков в то время фактически еще не получила развития как самостоятельное направление исследований. Поэтому большинство попыток интеллектуалов интегрировать женские образы (иллюстр. 21 – 22) в формирующиеся каноны идентичности приводили к появлению новых изобретенных традиций.

Иллюстр. 21. Головной убор конца XIII века (Late thirteenth-century headdress). Источник / Source: Viollet-le-Duc, E. (1874). Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance. Vol. 5. Paris: Vve A. Morel et Cie. Retrieved from https://www.oldbookillustrations.com/illustrations/headdress-1395/

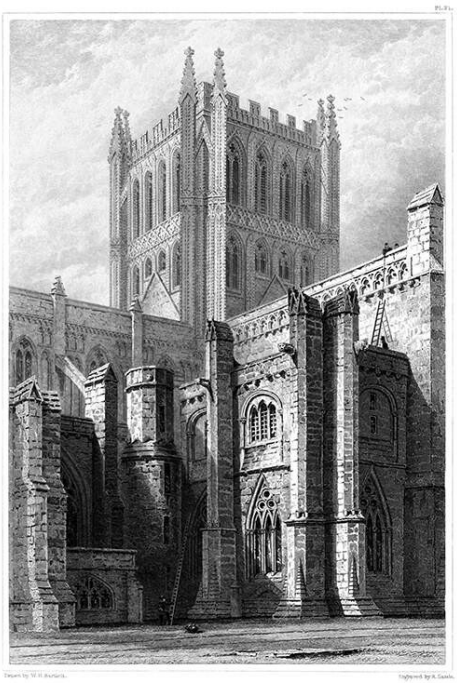
Illustration 21. Late thirteenth-century headdress

Иллюстр. 22. Прическа XII века (Twelfth-century hairstyle). Источник / Source: Viollet-le-Duc, E. (1874). Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance. Vol. 5. Paris: Vve A. Morel et Cie. Retrieved from https://www.oldbookillustrations.com/illustrations/hair-fashion/

Illustration 22. Twelfth-century hairstyle

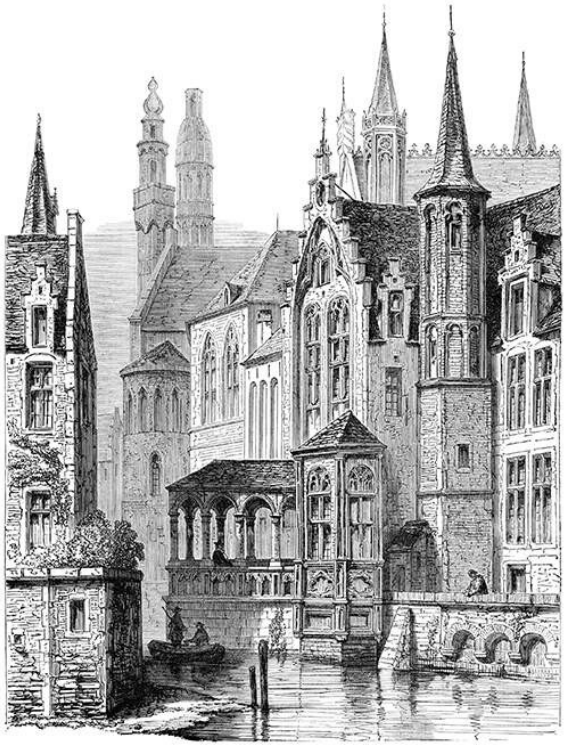
Кроме этого, нельзя исключать, что обращение внимания на гендерное измерение в визуальной риторике националистического воображения могло указывать на зарождение протофеминистского дискурса в национализме, хотя история европейской националистической мысли в XIX веке не обеспечивает ее историков активными примерами участия женщин. В этом контексте фиксация проявлений феминности на уровне иллюстративного материала вела только к визуализации новых конструктов в националистическом дискурсе;

5) *образы средневековой архитектуры, интегрированные в националистические тексты нового времени с целью подчеркивания как преемственности в политической традиции Запада, так и для большей визуальной представленности его уникальности и идентичности.* История Запада не знала радикальных разрывов и дискретности в функционировании визуальных проявлений урбанизма. Тем не менее, визуальная риторика европейского националистического воображения активно использовала ресурсы, связанные с образами средневековой архитектуры (иллюстр. 25 – 29), что решало одновременно несколько задач, монументализируя историческую память, подчеркивая преемственность европейской истории, визуализируя не только различные региональные формы европейской культуры, но и ее единство в многообразии, основанное на христианской традиции.



Иллюстр. 25. Херефордский собор (Hereford Cathedral). Источник / Source: Title: Britton, J. (1814). Cathedral antiquities of England. Vol. 3. L.: Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown. Retrieved from https://www.oldbookillustrations.com/illustrations/hereford-transept/

Illustration 25. Hereford Cathedral



Иллюстр. 26. Вид на старый канал (View of an old canal). Источник / Source: Navez, L. (188?). Bruges; monumental et pittoresque. Brussels: J. Lebègue et Cie. Retrieved from https://www.oldbookillustrations.com/illustrations/old-canal/

Illustration 26. View of an old canal

Иллюстр. 27. Врата бегинажа (Gate of the beguinage). Источник / Source: Navez, L. (188?). Bruges; monumental et pittoresque. Brussels: J. Lebègue et Cie. Retrieved from https://www.oldbookillustrations.com/illustrations/old-canal/

Illustration 27. Gate of the beguinage

Иллюстр. 28. Собор в Нидаросе. Северная сторона. Норвегия (Nidaros Cathedral, north side. Norway). Источник / Source: Gaimard, P. (1852). Voyages en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Feröe (Atlas, vol. 1). Paris: Arthus-Bertrand. Retrieved from https://www.oldbookillustrations.com/illustrations/hereford-transept/

Illustration 28. Nidaros Cathedral, north side. Norway

Иллюстр. 29. Романская церковь Боргунда, Норвегия (Romanesque church of Borgund, Norway). Источник / Source: Gaimard, P. (1852). Voyages en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Feröe (Atlas, vol. 1). Paris: Arthus-Bertrand. Retrieved from https://www.oldbookillustrations.com/illustrations/borgund-stave-church/

Illustration 29. Romanesque church of Borgund, Norway

Выводы

Подводя итоги статьи, нам во внимание следует принимать ряд факторов, которые существенно влияли на формы и проявления сочетаемости традиционной националистической нарративной и дискурсивной риторики с визуальной образностью национализма.

Национализм как продукт социальной и культурной истории модернизации смог сформировать и предложить свои оригинальные визуальные приемы построения текста. Визуализация националистического воображения никогда не входила в число приоритетных задач национализма, так как он оставался преимущественно набором нарративных и дискурсивных практик и стратегий. В националистическом воображении на протяжении XIX и XX веков визуализации принадлежала второстепенная и вспомогательная роль, так как интеллектуалы-националисты предпочитали с ограниченным числом своих сторонников коммуницировать при помощи дискурса. Тем не менее, ресурс визуального в политическом воображении ими был осознан достаточно быстро, что положило начало визуализации построения и воспроизводства националистического нарратива.

В результате в национализме сложилась своя форма визуальной риторики, которая отличает его от конкурирующих идеологий-современников, включая либерализм, коммунизм и консерватизм. Вместе с тем приемы националистической визуальной риторики актуализировали «узкие места» политического воображения общества модерна, когда визуализации неизбежно и последовательно подвергались концепты Самости и Инаковости, что было связано с визуальными представлениями о нации и окружающих ее Других. Поэтому сочетания риторики и образности в националистическом воображении эксплуатировало ограниченное число тем и сюжетов, включая «славную» историю, великих предков, актуальный политический протест, протекающий под лозунгами романтического, этнического или политического национализма.

В этой ситуации, если актуализация Самости и Идентичности стала универсальной формой визуализации националистической риторики в традиционных медиа (от националистической газеты и журнала до брошюры и книги), то эти стратегии также неизбежно с собственной идентичностью воображаемого / воображенного сообщества визуализировали проявления Инаковости и Другости.

Отсутствие последних нередко лишало смысла не только визуализацию националистического дискурса, ни и саму риторическую компоненту в национализме. Развитие национализма в XIX и XX веках привело к взаимному перетеканию смыслов нарративных и дискурсивных форм националистического воображения в визуальные формы легитимации существования нации как воображаемого политического сообщества. Как следствие, сложилась уникальная ситуация, при которой редукция национализма до дискурса выну-

ждает нас воспринимать националистическое воображение как совокупность нарративов. В современной историографии национализма акцент, как правило, делается на его дискурсивном выражении и формируемом им нарративном образе. В результате такого редукционистского понимания визуальные восприятия национализма, в том числе – самими националистами, нередко пребывают в тени традиционных медиа, основанных на производстве наррации.

Визуальная риторика националистического воображения стимулировала процессы трансформации этнических групп в воображаемые сообщества как модерновые нации. Визуальные приемы построения текста как версии националистического дискурса могли отличаться, но включали некоторые общие особенности. Визуальная образность стала системным компонентом формирования идентичности риторическими средствами через дискурс.

Анализ нескольких случаев сочетания националистической риторики и визуальной образности указывает на то, что современная историография национализма, несмотря на тенденции к междисциплинарности, по-прежнему основана на анализе традиционных сюжетов. Между тем визуальная образность, как было показано выше, не менее важна для национализма чем его нарративно-дискурсивные формы. Невозможность и ущербность низведения национализма только и исключительно до нарратива, с одной стороны, а также разнообразный опыт визуализации дискурса как формы националистической риторики, с другой, указывает на актуальность и необходимость последующего изучения визуальных приемов в истории националистического воображения, не только ограниченного традиционными формами медийного пространства (от газеты до книги), но и представленного новейшими виртуальными сферами функционирования национализма.

Список литературы

Böhm, G. (1994). *Was ist ein Bild [What is a picture]*. Wilhelm Fink Verlag. (In German).

Britton, J. (1814). *Cathedral antiquities of England* (Vol. 3). Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown.

Cowan, J. (2020). The Constitutive Rhetoric of Late Nationalism: Imagined Communities after the Digital Revolution. *Rhetoric Review*, 40(2), 183–197. https://doi.org/10.1080/07350198.2021.1883833

Dalsimer, A. M. (1993). *Visualizing Ireland: National Identity and the Pictorial Tradition*. Faber & Faber.

Davis, E. (1906). *Costume: Fanciful, historical, and theatrical*. Macmillan and Co.

Denis, F. (1857). *Histoire de l'ornementation des manuscrits [History of manuscript ornamentation]*. Léon Curmer. (In French).

Dittmer, J. (2012). *Captain America and the Nationalist Superhero: Metaphors, Narratives, and Geopolitics*. Temple University Press.

Ehrhardt, A. (1852). *Deutsches Balladenbuch [German Ballad Book]*. Georg Wigand's Verlag. (In German).

Engelmann, E. (1889). *Germania's Sagenborn*. Verlag von Paul Neff.

Esner, R. (2008). Nationalism and French Visual Culture, 1870 – 1914. *Nineteenth-Century Art Worldwide*, 7(2). http://www.19thc-artworldwide.org/autumn08/88-nationalism-and-french-visual-culture-1870-1914-june-hargrove-and-neil-mcwilliam-eds

Etlin, R. (1991). *Nationalism in the Visual Arts*. National Gallery of Art.

Facos, M. (1998). *Nationalism and the Nordic Imagination: Swedish Art of the 1890s*. University of California Press.

Fewster, D. (2006). *Visions of Past Glory. Nationalism and the Construction of Early Finnish Identity*. Finnish Literature Society.

Gaimard, P. (1852). *Voyages en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Feröe (Atlas) [Trips to Scandinavia, Lapland, Spitzbergen and Feröe (Atlas)]* (Vol. 1). Arthus-Bertrand. (In French).

Guenther, I. (2004). *Nazi Chic: Fashioning Women in the Third Reich*. Berg Publishers. https://doi.org/10.2752/9781847888792

Hall, A. M., & Hall, S. C. (1865). *A week at Killarney*. Virtue Brothers and Co.

Hanovs, D., & Tēraudkalns, V. (2012). *Laiks, telpa, vadonis: Autoritārisma kultūra Latvijā [Time, Space, Leader: the Culture of Authoritarianism in Latvia]*. Zinātne. (In Latvian).

Jacobs, J. (1892). *Celtic fairy tales*. David Nutt.

Kuryel, A. (2015). *Image acts and visual communities: Everyday nationalism in contemporary Turkey*. University of Amsterdam.

La Villemarqué, T. H. de. (1865). *Ballads and songs of Brittany*. Macmillan and Co.

Leroy, M. (2016). The Golden Age(s) of British Illustration. *Studies in Literature and Culture*, 14(1), 165-180.

Midolle, J. (1836). *Album du moyen-âge [Album of the Middle Ages]*. Simon Fils. (In French).

Mirzoeff, N. (1999). *An Introduction to Visual Culture*. Routledge.

Mitchell, W. (1994). *Picture Theory. Essays on Verbal and Visual Representation*. The University of Chicago Press.

Mraz, J. (2009). *Looking for Mexico: Modern Visual Culture and National Identity*. Duke University Press Books. https://doi.org/10.1215/9780822392200

Navez, L. (188 C.E.). *Bruges; monumental et pittoresque [Bruges; monumental and picturesque]*. J. Lebègue et Cie. (In French).

Passini, M. (2012). *La Fabrique de l'art national: Le Nationalisme et les Origines de l'histoire de l'art en France et en Allemagne, 1870 – 1933 [The Making of National Art: Nationalism and the Origins of Art History in France and Germany, 1870 – 1933]*. Maison des sciences de l'homme. (In French).

Pyle, H. (1914). *Otto of the silver hand*. Charles Scribner's Sons.

Rhead, L. (1912). *Bold Robin Hood and his outlaw band*. Harper & Brothers.

Roy, B. (2018). Visual Grandeur, Imagined Glory: Identity Politics and Hindu Nationalism in Bajirao Mastani and Padmaavat. *Journal of Religion and Film*, 22(3). https://digitalcommons.unomaha.edu/jrf/vol22/iss3/9

Schweninger, L. (2013). *Imagic Moments: Indigenous North American Film*. University of Georgia Press. https://doi.org/10.1353/book22675

Verrall, R. (2021). *The Visual Politics of Taiwanese Nationalism: Contested National Identities in the Imagery of the Sunflower Movement*. York University.

Viollet-le-Duc, E. (1874a). *Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance [Dictionnaire raisonné of French furniture from the Carlovingian era to the Renaissance]* (Vol. 2). Vve A. Morel et Cie. (In French).

Viollet-le-Duc, E. (1874b). *Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance [Dictionnaire raisonné of French furniture from the Carlovingian era to the Renaissance]* (Vol. 5). Vve A. Morel et Cie. (In French).

Walsh, R. (1839). *Constantinople: And the scenery of the seven churches of Asia Minor*. Fisher, Son, & Co.

Winter, J. (1992). Nationalism, the visual arts, and the myth of war enthusiasm in 1914. *History of European Ideas*, 15(1 – 3), 357–362. https://doi.org/10.1016/0191-6599(92)90151-2

Инишев, И. (2012). «Иконический поворот» в теориях культуры и общества. *Логос*, 85(1), 184–211.

Кирчанов, М. (2021a). Телесность в стране Руставели: Злоключения и путешествия грузинского тела между романтическим картвельским национализмом и потреблением массовой культуры. *Corpus Mundi*, 2(1), 14–67. https://doi.org/10.46539/cmj.v2i1.36

Кирчанов, М. (2021b). Феминная телесность в массовой культуре Ирана: Между обнажением и маргинализацией. *Corpus Mundi*, 2(3), 70–124. https://doi.org/10.46539/cmj.v2i3.42

Кирчанов, М. (2022a). Обнаженная феминная телесность как изобретенная традиция в массовой культуре Южной Азии. *Corpus Mundi*, 3(1), 73–122. https://doi.org/10.46539/cmj.v3i1.61

Кирчанов, М. (2022b). Образы Империи в бразильском изобразительном искусстве 1820 – 1880-х гг. *Проблемы социальных и гуманитарных наук*, 2, 81–97.

References

Böhm, G. (1994). *Was ist ein Bild [What is a picture]*. Wilhelm Fink Verlag. (In German).

Britton, J. (1814). *Cathedral antiquities of England* (Vol. 3). Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown.

Cowan, J. (2020). The Constitutive Rhetoric of Late Nationalism: Imagined Communities after the Digital Revolution. *Rhetoric Review*, 40(2), 183–197. https://doi.org/10.1080/07350198.2021.1883833

Dalsimer, A. M. (1993). *Visualizing Ireland: National Identity and the Pictorial Tradition*. Faber & Faber.

Davis, E. (1906). *Costume: Fanciful, historical, and theatrical*. Macmillan and Co.

Denis, F. (1857). *Histoire de l'ornementation des manuscrits [History of manuscript ornamentation]*. Léon Curmer. (In French).

Dittmer, J. (2012). *Captain America and the Nationalist Superhero: Metaphors, Narratives, and Geopolitics*. Temple University Press.

Ehrhardt, A. (1852). *Deutsches Balladenbuch [German Ballad Book]*. Georg Wigand's Verlag. (In German).

Engelmann, E. (1889). *Germania's Sagenborn*. Verlag von Paul Neff.

Esner, R. (2008). Nationalism and French Visual Culture, 1870 – 1914. *Nineteenth-Century Art Worldwide*, 7(2). http://www.19thc-artworldwide.org/autumn08/88-nationalism-and-french-visual-culture-1870-1914-june-hargrove-and-neil-mcwilliam-eds

Etlin, R. (1991). *Nationalism in the Visual Arts*. National Gallery of Art.

Facos, M. (1998). *Nationalism and the Nordic Imagination: Swedish Art of the 1890s*. University of California Press.

Fewster, D. (2006). *Visions of Past Glory. Nationalism and the Construction of Early Finnish Identity*. Finnish Literature Society.

Gaimard, P. (1852). *Voyages en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Feröe (Atlas) [Trips to Scandinavia, Lapland, Spitzbergen and Feröe (Atlas)]* (Vol. 1). Arthus-Bertrand. (In French).

Guenther, I. (2004). *Nazi Chic: Fashioning Women in the Third Reich*. Berg Publishers. https://doi.org/10.2752/9781847888792

Hall, A. M., & Hall, S. C. (1865). *A week at Killarney*. Virtue Brothers and Co.

Hanovs, D., & Tēraudkalns, V. (2012). *Laiks, telpa, vadonis: Autoritārisma kultūra Latvijā [Time, Space, Leader: the Culture of Authoritarianism in Latvia]*. Zinātne. (In Latvian).

Inishev, I. (2012). "Iconic turn" in the theories of culture and society. *Logos*, 85(1), 184-211. (In Russian).

Jacobs, J. (1892). *Celtic fairy tales*. David Nutt.

Kuryel, A. (2015). *Image acts and visual communities: Everyday nationalism in contemporary Turkey*. University of Amsterdam.

Kyrchanoff, M. W. (2021a). Corporeality in Rustaveli Land: Georgian Body Misadventures and Travels Between Romantic Kartvelian Nationalism and Consumerism of Mass Culture. *Corpus Mundi*, 2(1), 14–67. https://doi.org/10.46539/cmj.v2i1.36 (In Russian).

Kyrchanoff, M. W. (2021b). Femine Body in the Mass Culture of Iran: between Nudity and Marginalization. *Corpus Mundi*, 2(3), 70–124. https://doi.org/10.46539/cmj.v2i3.42 (In Russian).

Kyrchanoff, M. W. (2022a). Naked Feminine Physicality as an Invented Tradition in South Asian Popular Culture. *Corpus Mundi*, 3(1), 73–122. https://doi.org/10.46539/cmj.v3i1.61 (In Russian).

La Villemarqué, T. H. de. (1865). *Ballads and songs of Brittany*. Macmillan and Co.

Leroy, M. (2016). The Golden Age(s) of British Illustration. *Studies in Literature and Culture*, 14(1), 165-180.

Midolle, J. (1836). *Album du moyen-âge [Album of the Middle Ages]*. Simon Fils. (In French).

Mirzoeff, N. (1999). *An Introduction to Visual Culture*. Routledge.

Mitchell, W. (1994). *Picture Theory. Essays on Verbal and Visual Representation*. The University of Chicago Press.

Mraz, J. (2009). *Looking for Mexico: Modern Visual Culture and National Identity*. Duke University Press Books. https://doi.org/10.1215/9780822392200

Navez, L. (188 C.E.). *Bruges; monumental et pittoresque [Bruges; monumental and picturesque]*. J. Lebègue et Cie. (In French).

Passini, M. (2012). *La Fabrique de l'art national: Le Nationalisme et les Origines de l'histoire de l'art en France et en Allemagne, 1870 – 1933 [The Making of National Art: Nationalism and the Origins of Art History in France and Germany, 1870 – 1933]*. Maison des sciences de l'homme. (In French).

Pyle, H. (1914). *Otto of the silver hand*. Charles Scribner's Sons.

Rhead, L. (1912). *Bold Robin Hood and his outlaw band*. Harper & Brothers.

Roy, B. (2018). Visual Grandeur, Imagined Glory: Identity Politics and Hindu Nationalism in Bajirao Mastani and Padmaavat. *Journal of Religion and Film*, 22(3). https://digitalcommons.unomaha.edu/jrf/vol22/iss3/9

Schweninger, L. (2013). *Imagic Moments: Indigenous North American Film*. University of Georgia Press. https://doi.org/10.1353/book22675

Verrall, R. (2021). *The Visual Politics of Taiwanese Nationalism: Contested National Identities in the Imagery of the Sunflower Movement*. York University.

Viollet-le-Duc, E. (1874a). *Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance [Dictionnaire raisonné of French furniture from the Carlovingian era to the Renaissance]* (Vol. 2). Vve A. Morel et Cie. (In French).

Viollet-le-Duc, E. (1874b). *Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance [Dictionnaire raisonné of French furniture from the Carlovingian era to the Renaissance]* (Vol. 5). Vve A. Morel et Cie. (In French).

Walsh, R. (1839). *Constantinople: And the scenery of the seven churches of Asia Minor*. Fisher, Son, & Co.

Winter, J. (1992). Nationalism, the visual arts, and the myth of war enthusiasm in 1914. *History of European Ideas*, 15(1 – 3), 357–362. https://doi.org/10.1016/0191-6599(92)90151-2

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2023. No 3 | ISSN: 2658-7734
Miscellaneous | https://doi.org/10.46539/gmd.v5i3.433

Signification and the Problem of Truth[1]

Emilia A. Tajsin

Kazan State University of Power Engineering. Kazan, Russia. Email: emily_tajsin[at]inbox.ru

Received: 1 May 2023 | Revised: 16 June 2023 | Accepted: 26 June 2023

Abstract

The great hopes of scientists in various fields, from computer science and mathematics to literature and art criticism, from analytical philosophy to post-structuralism, in the last third of the 20th and first quarter of the 21st centuries are assigned to semiotics, or the general theory of signs, which studies signification and its laws. Signification, or designation (denotation, signalizing, symbolization) is the widest-common procedure in scientific creativity and culture in general.

The scope of the semiotic approach and the abstractness of the categories of semiotics are such that they allow for speaking at least of the theoretical-cognitive, if not ontological, universality of its approaches and the general methodological validity of its tools. One is capable of thinking only on the basis of the semiotic mediation of reality; moreover, the essence of consciousness itself as a whole is reflective, and representative. The recognition of the great informative capacity and value of the basic semiotic concepts, as well as the extreme breadth of the subject of semiotics due to the actual or potential symbolic nature of human science and culture, the instrumental nature of signs and symbols which science, ethics, religion, and art are full of, allows us to hope that semiotics will play, in the near future, the role of a universal manifestor and communicator.

Keywords

Sign; Meaning; Semiotics; Communication; Image; Reflexion; Cognition; Truth

This work is licensed under a Creative Commons “Attribution” 4.0 International License

1 First published in Russian, 2017

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2023. No 3 | ISSN: 2658-7734
Разное | https://doi.org/10.46539/gmd.v5i3.433

Сигнификация и проблема истины[1]

Тайсина Эмилия Анваровна

Казанский государственный энергетический университет. Казань, Россия.
Email: emily_tajsin@[at]nbox.ru

Рукопись получена: 1 мая 2023 | Пересмотрена: 16 июня 2023 | Принята: 26 июня 2023

Аннотация

Большие надежды ученых различных областей, от информатики и математики до литературы и искусствоведения, от аналитической философии до постструктурализма, в последней трети XX и первой четверти XXI века возлагаются на семиотику, или общую теорию знаков, которая изучает законы сигнификации. Сигнификация, или обозначение (денотация, сигнализация, символизация) — наиболее широко распространенная процедура в научном творчестве и культуре в целом.

Масштабы семиотического подхода и абстрактность категорий семиотики таковы, что позволяют говорить хотя бы о теоретико-познавательной, если не об онтологической, всеобщности ее подходов и универсальной методологической обоснованности ее инструментов. Человек способен мыслить только на основе семиотического опосредования действительности; более того, сущность самого сознания в целом рефлективна, репрезентативна. Признание большой информативности и ценности основных семиотических понятий, а также чрезвычайной широты предмета семиотики, обусловленного актуальной или потенциальной символичностью человеческой науки и культуры, инструментальной природой знаков и символов, которыми оперируют наука, этика, религия и искусство, позволяет надеяться, что семиотика сыграет в ближайшем будущем роль универсального манифестора и коммуникатора.

Ключевые слова

знак; значение; семиотика; коммуникация; образ; рефлексия; познание; истина

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons “Attribution” («Атрибуция»)4.0 Всемирная

1 Впервые опубликовано на русском языке в 2017

Introduction

The term "signification" comes in the closest way from the English word "sign"; it is, however, pan-European: (Zeichen, signo, seño).

The subject of semiotics which is the rules and laws of functioning of symbolic systems has universal significance indeed. A person is inclined to understand any well-ordered phenomenon that becomes the object of knowledge, as *meaning something*. Accordingly, a person makes any fragment of reality a sign or even a symbol if s/he ascribes a certain meaning to it. Semiotics therefore, being a general scientific knowledge, tends to a kind of "arrogant imperialism" (expression used once by U. Eco), that is, the spread of its vision throughout the world. Sure such hypostasis is something superfluous; however, the explanatory power of semiotics is really great.

The main semiotic idea was born long before semiotics itself. Even in the "*Memphis Theological Treatise*" (See: Frankfort et al., 1984), the creative *word* (name), *thought* and *world* were combined into a triad. Today this triad is called by the name of Gottlob Frege or the English semantics Ogden and Richards. In reality, the semiotic triangle is a symbol of the unity of the material and the ideal, and the place of the event of the meeting of these two worlds is a linguistic sign. The recognized founder of comparative historical linguistics Wilhelm von Humboldt believed that each language is the result of the interaction of three factors: the "real nature of things", the "subjective nature of the people" and the "peculiar nature of language". This is it, a *semiotic triangle*. In the *sign*, the interference of the subject and the object, of sensory and logical, of material and ideal, of individual and general, is carried out.

Semiotics "officially" originated in the 19th century thanks to the efforts of the American logician and philosopher Charles Sanders Peirce and the ideas of the founder of structural linguistics, the Swiss scholar Ferdinand de Saussure, who included the science of language in the general theory of signs. Charles Peirce studied the works of medieval scholasticism in scripts for a long time. After him, with a break of many decades, this huge intellectual work was done by Umberto Eco. F. de Saussure is perhaps better known, especially to philologists; however, in fairness, it should be noted that he expressed the initial *idea of the need* for the science of semiology, whereas Peirce *has constructed* it. Now we have two introductions to semiotics: "from linguistics", when a sign is understood as an elementary *unit of the system*, and "from logic", when a sign is understood ontically, as an independent dominant *entity*. Hence its fundamentally different definitions: 1) semiotics is the science of any systems of elements that signify meaning and transmit information; 2) semiotics is the science of the objects of knowledge and means that signify these objects.

The roots of semiotics, its genesis, its main topics (in fact, this is true for any European science) are *philosophical*. Teacher of F. de Saussure Michel Bréal,

the inventor of the term "semantics" and founder of French linguistics, in the preface to "*Comparative Grammar*" by F. Bopp draws a line from Bopp to Friedrich Schlegel, his teacher Karl Windschmann, and then higher up to Herder and Leibniz (De Mauro, 2000).

The value status of symbolic means in the human world, the possibility of studying language as a system of signs, the relationship of semiotic objects with forms of cognition, the materialization of abstractions, the problem of meaning and interpretation, the social transforming role of symbolism, the interaction of language and thinking, and finally, the essence of truth has traditionally been the most important epistemological and general gnoseological problems. They stood at the center of cognition theories or even accomplished the philosophical systems of individual thinkers.

In Russian humanities, studies on semiotics appeared around the middle of the twentieth century, also initially in philosophy (L.V. Reznikov, Leningrad, 1964; L.V. Abramyan, Yerevan, 1965) and then in linguistics (A.G. Volkov, Moscow, 1966). Tartu School led by Yu.M. Lotman gain fame; close to it were studies of the Moscow school developed; the most famous author was Yu.S. Stepanov. Leningrad scientific works were devoted mainly to literary criticism, and Moscow ones to linguistics. Our own centers of semiotic research appeared in the 70s. in Sverdlovsk (Yekaterinburg) and Kazan. Despite all the differences between the relativistic and substantialistic approaches, they retained the main semiotic postulate: natural spoken human language is a *sui generis* sign system, and it occupies a *central* place, being a *cor cordium* of all other sign-symbolic systems. All other codes – computers', informational-logical, cultural texts and forms of culture themselves, diagrams and maps, emblems, seals, phalerae and coats of arms, genetic information, animal gestures and signals, etc. – are "also languages", standing either "below" (as biological codes), or "above" the natural language (as technical codes).

Semiotics as a science and university discipline

The 1st Congress on Semiotics was held in 1974 in Milan. Recently, a three-volume dictionary of linguosemiotics was published, edited by (late) Thomas Sebeok (USA). Then semiotic literature, so to say, poured in full flow.

When semiotics became a university discipline, scientific literature replenished with educational. Works of the following Russian authors are known: N.I. Mechkovskaya (her first works were devoted to sociolinguistics), S.T. Makhlina (semiotics of everyday life), E.S. Nikitina (semiotics and behavior), Belarusian semiologist A.B. Solomonik (semiotics as the "alphabet of communication"); G.E. Kreidlin and M.A. Krongauz whose "Semiotics, or the ABC of Communication: a Training Manual" has withstood several editions. In 2019, a textbook was published by E.A. Tajsin on philosophical aspect of semiotics.

Observation of language, a universal signifier, is the main source of the semiotic ideas of ancient and modern scholars. Due to such an important role of

its object, *linguosemiotics* occupies a central place among other branches – namely, technical semiotics, semiotics of literature, semiotics of culture and art. At the same time, language exists and is understood in three dimensions: syntactic, semantic and pragmatic, as Saussure pointed out. Semiotics, together with linguistics, has passed in recent times the following main stages: comparative-historical, structural-functional, nominative, and discursive-cognitive. Today, many new linguosemiotic disciplines are born: generative grammar, linguistic logic, text linguistics, semiotics of discourse, ethnography of speech, ethnopsychoconflictology, ethnopsychosociology and even linguosynergetics, etc. There are many different classifications of language signs; these are built on dozens of grounds: according to the quantum of abstraction of the base word; according to the structure of construction (linear, branching, algorithmic); by the degree of openness / closeness; by the way of creation (spontaneous or planned) etc. For a semiologist, it is especially important to have the laws of the meaning of signs and "super signs" – syntaxems (the term of the linguist V.V. Zvegintsev) in the topography of the semiotic field.

The heuristic possibilities of signification are great. The languages of science and natural spoken human language, cultural forms and the genetic code, technical devices and media, signaling situations in the animal world and refined aesthetics of elite consciousness, all kinds of ciphers and structures – all of these can be interpreted as sign systems. (T. Sebeok).

And the agitating and optimistic part ends with this statement. Serious theoretical and practical questions arise.

The main problem of semiotics, both as a science and university discipline, is the relationship between sign and meaning. It remained enigmatic to this day. How is it possible at all, to combine sound and thought, phenomena of different worlds that do not have common predicates? How strong and motivated is this relationship? Where is the meaning of our reasoning localized, and if "nowhere", then what is it? For example, many philosophers and linguists believe that a linguistic sign connects two "functives", the signifier and the signified, and the latter is an idea (for example, G. Frege and de Saussure believed in it). From this follows the thesis of the indissolubility of the signified and the signifier. Then it is not clear: why is this connection declared "arbitrary"?

E. Benvenist believed that his teacher Saussure interpreting the essence of designation resorted in fact, unconsciously and illegally to the third term: "*thing*" in relation to which the sign is *arbitrary*. It seems that this cannot be avoided. So it is one of the deepest laws of human existence and cognition acts – namely, the semiotic situation.

Let us dwell a little longer on the limitations of the semiotic approach. It operates within the general framework of the principle of systemicity although it does not exhaust it, but, on the other hand, it includes hermeneutic insights that do not obey systemicity.

The limitations on the possibilities of applying the semiotic approach are diverse. Umberto Eco, in his famous "*Theory of Semiotics*", (Eco, 1976) for example, spoke of "political" and "natural" limitations.

"Political" limitations are divided into "academic" restrictions associated with the fact that semiotics has become a separate discipline relatively recently; "comradely" restrictions on the part of the adjacent sciences, which achieve important results for semiotics, so to speak, "incidentally"; "empirical" restrictions associated with the underdevelopment of the theory of signs itself. "Natural" limitations are explained by the non-sign nature of many objects.

To this we can add that there are limitations of philosophical nature, for, although the categories of semiotics in a number of cases reach the gnoseological level, but they do not reach the ontological universality. The world itself does not represent a system of signs, is not "charged" with information, contrary to profane opinion; it does not "speak" to the subject of knowledge; only a human being can give meaning to natural phenomena. Therefore, semiotics is not able to replace philosophy. Finally, a special facet through which semiotics can be considered is logic and methodology of science, – this "state in the state" of the theory of knowledge.

So: did the knowledge of some laws of signification help at least one art historian to analyze a film better, a linguist – to isolate the main language units and their correlates, to combine vocabulary and grammar, a geographer – to build a topographic map? Do scientists who came to semiotics "from different sides" really understand each other? Or, according to Heraclitus, most people don't understand what they are encountering, and having learned, they still don't understand, although it seems to them [they do]?

More problems: image, symbol and sign

Deeper answers are required to the questions posed, for it is not enough to indicate that signification is universal or close to that, and even to study the basic properties of sign systems of various kinds. It is necessary to reveal the regularity of the emergence and change of these systems, the causes of symbolism itself and the semantic transformation of symbolics, to show the value of this knowledge, the ability of semiotics to write a holistic scientific picture of the world, to anticipate the unfolding of the laws of human existence based on understanding of the essence of man, human thinking and practical actions, which understanding semiotics gives.

We give a concrete example of the undoubted usefulness of general scientific approaches, namely semiotic, for the examination of particular scientific research.

Let us consider some of the ideas contained in the remarkable book of someone D.N. Zamyatin "*Metageography: The Space of Images and Images of Space*" (Zamyatin, 2004). Its other name is imaginary geography.

Written in a postmodern style, with the use of such powerful general scientific methods of cognition as systemic structural analysis, and such fruitful disciplines as semiotics, with the goal of bringing social science closer to natural science, this monograph offers many solutions to modern problems of geopolitics and political geography, geomorphology and "geophilosophy of language", in the field of geo-urban studies and studies of regional self-consciousness – and at the same time it gives rise to many new queries.

"*Images of space*", i.e. geographical images, and their specification as "the image of the locality, territory, region, country" – are of interest to the author of "imaginary geography" in several respects: substantiating the concept of a geographical image, studying its genesis and modeling, developing mechanisms for adapting this concept "in decision processes for important social problems (politics, ideology, education, socio-economic and cultural strategies)", studying *geoculture* as a cumulation of geo-images. (p. 13)

It is significant in this case that in the long list of social sciences and humanities that are "responsible" for justifying the key concept for D.N. Zamyatin, linguosemiotics and, even more offensively, *theory of knowledge* are absent. As we can see, its absence leads to an annoying situation: though understanding the heterogeneous origin of the (geographical) image, the author, building his own text, does not consider it necessary – or he is not able – to distinguish between the *image*, *symbol* and *sign*.

This flaw characteristic of many modern scholars involved in postmodern discourse is explained in different ways; in particular, one can refer to neo-Kantian phenomenology, which totally excludes the "real", "physical" object from analysis; to the "second navigation" of Platonism, which makes a *Himmelmann* in search of the lost *eidos*; to the indivisibility of the reflective-critical and objectal language in many modern cultural texts, etc. But the main explanation is just that: without taking into account the family treasure of the materialist theory of knowledge – the principle of reflection – and, on the other hand, the running "working capital" of linguosemiotics – namely, techniques and practices of symbolization, – errors are inevitable.

We give clarifications.

An image is the result and basic structural unit of *reflection*. Reflection is a type of interaction of systems in which they exchange matter, energy or information in such a way that one of the systems acquires *similarities* with the other. The image has no other generic properties except *objectivity* (disposition, attachment to its original) and *similarity* to its object (there is *no* property of "maximum distance" and especially "obligatory mediation": say, the first stage of cognition, sensory perception, is characterized by immediate direct reflection of reality, observable data, sense data).

All differences in the images depend on the features and varieties of this very resemblance or similarity. The first and basic type of it is a contour geometric simi-

larity, which the geographical images of space fully satisfy. They are congruent with objective reality, and correspond to it orographically. Also, geographical images are connected with their objects not by just one relation, — for example, by convention (as *signs*), but by *all* possible connections, starting with the genetic one and ending with the functional one. The principle of reflection in philosophy is based on these postulates. It is up to the scientist to accept or not accept it (at the risk of declaring that cognition is not able to correctly and *adequately* reflect reality); however, it is immutable that the author should be aware of this challenge and, most importantly, one should not mislead the reading public.

At the same time problems remain. If the subject of semiotics – namely, the laws of sign systems functioning – *does* have universal significance (after all, *any* orderly phenomenon, including natural one, is understood as a system that has a semantic content, that is, as *something meaningful*), — then why semiotics itself is defined as only a general scientific discipline? If it is a general scientific, and not a philosophical discipline, then its methodological, or rather practical, significance should, by definition, exceed its worldview value. Then why is it so difficult to give a concrete answer: *what exactly* is the practical significance, what is the benefit of applying the semiotic approach to the analysis of the phenomena of culture and being in general in comparison with other – special – approaches? Why, it remains unclear, is it better to characterize the film with the help of semiotics, and not with the help of art history? Why does postmodern fashionable analysis, namely, text deconstruction, require semiotics rather than literary criticism? How is a semiotic approach better than computer science in itself? And why is there no semiotic study that would bypass worldview issues – the origin of consciousness, the laws of knowledge, the specificity of human existence, and the like?

The nature of semiotic concepts requires research and refinement. Often these have an intuitively clear content and philosophical meaning (for example, the famous Frege triangle, also known as the Ogden-Richards triangle or the Peirce triad). In reality, however, they are very complex and need analysis using all the power of gnoseology. Thus, the dialectics of image and sign is the most important philosophical aspect of semiotics, and its solution depends on the knowledge of the dialectics of the subject and the object of cognition. The problem of conventionality of the sign is a species in relation to the dialectic of necessity and contingency, conditions of cognition, etc.

The principles of selection and combinatoriality in syntactics, the first part of semiotics, are insufficient, for example, to explain the laws of phonology; they need support from the theory of completeness and incompleteness of knowledge. The central problem of semantics, the second part of semiotics, – i.e., the nature and essence of meaning, depends on the solution of the problem of ideal. The third part of semiotics which is pragmatics, studying the relationship of signs and the world of culture, always demonstrates the fundamental dependence of its presentation on the type of scientist's worldview.

As to an attempt to build consistent *sigmatics* (the fourth part of semiotics proposed by G. Klaus), responsible for the relationship of signs to objects, — it encounters methodological difficulties caused by the uncertainty of the concepts of form and content in the sense of their nonaxiomatizability. (At the same time, in the theory of music, for example, these categories are generally declared "boring," and instead, musicologists today speak of ... "form and harmony").

The problem of sign and meaning, broadly speaking, is the problem of correlation between material and ideal. In a semiotic situation, the ideal appears as *meaning*. The meaning, we announce immediately, is an abstraction, a certain qualification of the ideal. The meaning is "not given to us in sensation". The *signifier*, sign "body" transporting meaning (sign vehicle) *is* sensed; it is usually material, except for the reproduction of a sign within memory. And the third (or rather, the first) component of the semiotic situation is the *signified* – named referent, denotatum, significant, nominant, representant, interpretant (etc., *quantum satis*), that is, a real or ideal *object* of designation, a thing.

What, then, is a sign? Here are scholastic definitions that are quite acceptable today. A "sign" ...designates that which leads to the knowledge of something else and is intended to mean it ("*natum est pro illo supponere*") or to be added... in a statement... ("*vel tali addi in propositione*") ... these are syncategories, and verbs, and those parts of speech that do not have a complete [sign] – or what should be composed of the above – this is the sentence. And with this understanding of the term "sign", the word is not a natural sign of anything" (Ockham, 2002). This will almost literally be repeated in recent times by C. S. Peirce in his "*Collected Papers*": 'Something which stands to somebody or something in some respect or capacity'. Nevertheless, these definitions are really too general, and besides, these outstanding logicians, for an unknown reason, did not want to build definitions according to the scheme legitimized by Boethius in V A.D.

Meaning and the Ideal

The greatest difficulty in the discussion at all times was caused by the problem of the semantic side of the linguistic sign, its ideal substance. Today it cannot be said that the problem of meaning has been resolved. This term, as a rule, is introduced without definitions and is understood intuitively (the term "sign" is likewise introduced in computer science). The intrigue is that until a phase transition from the (ontological) essence of a thing with its accidents to the (gnoseological) "*Schein*", from the material to the ideal, from the sensually perceived world to sensory perception, reasoning for these topics will remain speculative.

Most often, the categories "activity", "experience" and "practice" are used for explanations. There is some sense in this. The essence of a thing is manifested only in *operation*, in *working* with an object. The very German word *thing* (English), Ding (German), comes from the word "ting", *veche*, the general assembly of the tribe. Also, the familiar "What's the *matter*?" shows us the same unity ("matter"

as substance, thing, and deed). It can be assumed with a certain degree of certainty that Aristotelian "*ousia*" says the same: it is an entity that manifests itself in human activity. Usia → use. (The word "*ousia*" originally denoted the real price of property offered as a guarantor in commerce by the Greeks; this is being-in-action).

An object that cannot be processed is declared unknowable, or rather, *essentially* unknowable. But to the extent that the object lends itself to view, it is already known, and not only potentially knowable. To declare something unknowable is to declare that it is not amenable to processing, but still cognizable as "non-amenable to processing" or even "non-amenable to *Anschauung*" in the sense of perception.

By the way, G. Frege considered intellectual intuition as an active process, denoting it by the term "grasping". This is the only relationship connecting the sign with meaning (semantics), the sign with a person (pragmatics). In this process, thinking does not create thoughts, but enters into a relationship with something objective.

Let us recall (once sacramental) Lenin's words: "Every mysterious, tricky, ingenious difference between a phenomenon and a thing in itself is pure philosophical nonsense. In fact, every person has seen the simple and obvious transformation of "a thing in itself" into a phenomenon, "a thing for us" millions of times. This transformation is knowledge". (Lenin, 1967, p. 120)

If there is a transformation, then there might be a substitution, a transition *from* one *to* another... If there is no transition, then there is simply nothing to build the theory of knowledge upon; but if it exists, then why is there no simple replacement of material with spiritual? "But this is a dialectical transition! This is not a mechanical replacement, but *Aufhebung*, removal!" – you can fend off. Otherwise in order to be spiritually born, one would have to die naturally...

In this philosophically suspicious "transition" nothing concrete changes in content in the natural, external, material world. The ideal does not constitute another world, another corner in this world, it is not a double-ganger and not part of the sensually perceived physical reality, but no one has yet managed to define the ideal else than negatively: "ideal is ***not*** material". And unless a scientific explanation of the "growth" of this higher form of movement from all others has not been composed, any strict knowledge of the basic cognitive relationship is also impossible. It will remain a postulate, open to critique at any time.

Semiotics intervening with theory of knowledge

We can try to line up an explanation of a different kind. For example, we could take advantage of the not-so-effectively used but perspective term "presentation", *Vorstellung*, which is a form of cognition that is intermediate between the sensual and abstract, being central in its position on the "ladder" of cognitive ascent.

"Otherwise, the singular is felt, otherwise the general is conceived" in the same subject, Boethius believed (Boethius, 1990, pp. 28–29). But in *Vorstellung*, firstly,

the individual is felt "not otherwise" than the general is conceived: they are equidistant from the concrete object of perception; secondly, "*Vorstellung*" in Latin (and in English) is *notitia*, *notion*, which emphasizes the connection of /re/presentation with *designation* (language). The *explanation of the ideal through presentation* is threatening, however, with semiotic imperialism and "existential" materialism; but the most important ontological position is happily postulated: "matter is the subject of all changes".

Presentation is a gnoseological correlate of the "ideal" which is an ontological attribute of consciousness. "Consciousness" implies reflection; "ideal" does not. Not the "world" exists as a "/re/presentation", but the ideal consciousness exists "as" it; moreover, it *is* a /re/presentation.

There is no presentation in nature; there is only substitution. However, what has been said does not apply to signals issued by animals: this is a type of signs. Then it's more accurate to put it this way: *there is no presentation in the inanimate nature*. From here follows the coincidence of the ideal and the presentative in volume, as *inherent in the psyche*.

This is the reason why gnoseological images are compared with signs or declared as signs (symbols, hieroglyphs, etc.), which tempts their *ability to presént*. But the sign is not just a presenter, it is a ***re***presentant.

The unity of semiotic and philosophical problems does not exclude the possibility of at least approximately distinguishing, firstly, those that are studied mainly due to their importance for special sciences; secondly, the problems on whose solution the improvement and fruitfulness of the semiotic approach itself to various spheres of human life depends on (as well as other general scientific approaches – information-theoretical, cybernetic, system-functional, etc.); thirdly, and it is most important for us, these are problems that do not so much serve specific sciences from a "technical" point of view as they have great philosophical meaning.

Problems of the first kind can acquire universal gnoseological significance over time, and vice versa, the most general philosophical conclusions may interest a researcher who is engaged in special science. Explication of semiotic concepts, the expansion of their layer, the formation of a semiotic approach in connection with the tendency to integrate science allowed Russian scientists in the 70s of the 20th century use appropriate techniques to build general scientific information models (I.I. Grishkin), ternary description language (A.I. Uemov, A.Yu. Tsofnas), variants of system theory (Yu.A. Urmantsev, A.I. Uemov, E.M. Khakimov), etc.; undoubtedly, logicians, linguists and philosophers rely on them, too.

The essence of signification has been the subject of debate for many years.

A simple denial of the immanently symbolic nature of human existence and human consciousness makes the problems of nature and the essence of culture, the content and forms of consciousness, the specificity of language, etc. — unsolvable.

But a simple recognition of the symbolism of human culture and mentality, human ability to understand the world and its phenomena as *something significant* poses an old gnoseological problem: is it possible for consciousness to be an image (and not a hieroglyph or constructor) of reality, and is it not better to go to little-binding terms "reference", "correspondence", "correlation", etc., speaking about the relationship of language, meaning and reality?

Therefore, both denial and recognition of the universality of symbolism are under one common question; and cardinal philosophical reflections and their results depend on this decision.

A clear positioning of the problem of truth depends on how signification is understood. Theory of truth as *reference* (Greek-Lat.: *ferrein* – to bear, to carry) is based on sigmatics – the relationship of the sign (name, utterance) and the object. Theory of truth as *efficiency*, or clarity providing interaction, is based on the relations of a sign and a subject, i.e., pragmatics. Theory of truth as a *coordination* of statements (and in general all shades of conventionalism and operationalism) is founded on the relationship of signs among themselves, i.e., syntactics. Theory of truth as *correspondence* studies the relationship between a sign and its meaning, namely, semantics. The research area that is studied jointly by the theory of cognition, semiotics, logic, epistemology, and to some extent psychology, which is the relationship of meaning and the object, depending on how the problem of the ideal is treated, as a result of critical reflection, ends either as a theory of *coherence* (epistemology, analytical philosophy), or a theory of *correspondence* (gnoseology).

In the latter theory truth is interpreted as a variant of reference, or, again, *correlation* standing in the same row with the *correct*, *right-up-to-rules* and *adequate* correspondence of the ideal image of consciousness to its object (notwithstanding of how much effort logic makes to contrast the formal correctness and substantive truth of the judgment).

It is right that the term "relatedness" or "co-relatedness" (reference) in itself does not yet speak of the truth of anything; it needs species specifications. Such metaphors in gnoseology and even rigorous epistemology are "cor*respond*ence" (respond, "answer"), *mitstimmen* (Germ. "voice"), "coincidence" ("fall") "coordination" ("order"), "conformity" ("form"), "combination" ("*bini*", two-by-two) etc. The requirement of clarity and the strictness of definition, generally speaking, should prohibit the use of metaphors... The term "adequacy", as a gnoseological category that has a solid tradition, might be preserved; but its content should finally be described from the point of view of not so much volume and structure ("isomorphism", for example) as intensively, with identification of such properties as ***resemblance*** and ***similarity*** as necessary explicands.

These categories have a very rich meaning, its analysis and disclosure is one of the "growth points" of gnoseology in general. In addition, the term "adequacy" should cease to be associated under the guise of explication (but in fact superficially) with coordination, correspondence, conformity, or even "isomorphism"

("form") and model ("mode", reduced form), because, firstly, etymologically it does not mean anything other than equalization, equivalence; and secondly, acting as a synonym for the above-mentioned relations, it becomes indefinite, replacing the "old" developed theories – those of correspondence, coherence, etc.

In Soviet-Russian literature, for obvious reasons, an equal sign was put between the theory of knowledge and the theory of reflection. At present, attempts are being made to get away from "contemplative materialism", "inert epiphenomenalism", "copy theory", etc., as the theory of reflection has come to be called. The stake is mainly on the reorientation of logic and methodology of science towards the "value aspects of cognition", "background knowledge" and sociocultural determinants. The results are still small; there are basically two of them: the transfer of emphasis from "focal" knowledge to "background" one and positing representation along with reflection, and in some cases also the transfer of emphasis from reflection to representation. On the other hand, the question "Are necessary truths true by convention?" undermining conventionalism – the basis of semiotic idealism, – objectively serves to strengthen the theory of truth as an identity.

On truth

G. Frege believed that the difference between /re/presentations (*Vorstellungen*) and reality is the most essential in determining truth; although, apparently, in this case there can be no complete coincidence and complete truth: "*Dabei ist es gerade wesentlich, daß das Wirkliche von der Vorstellung verschieden sei*" (Frege, 1993, p. 60). He wrote that it is necessary to distinguish between the expression of thought and the statement, or utterance. It is clear that reality differs from presentations, presentations – from expressing thoughts, expressing thoughts – from utterances, this all is trivial. Thanks to the ongoing conversation about "correspondence", "conformity", "coincidence", "compatibility", etc., we are entitled to talk about their imposition; the result will be agreement in some aspects and inconsistency in others. But then — nothing at all can be considered true? That which is only half-true, that which permits gradation, is no longer true? Or is it possible to state the truth even if there is a coincidence only in a certain respect? But in which one?

Plato asked the same through the mouth of Socrates in "Cratylus", the classical antique semiotic dialogue (Plato, 1994)[1]. "…how ridiculous would be the effect of names on things, if they were exactly the same with them! For they would be the doubles of them, and no one would be able to determine which were the names and which were the realities". (432d). This thesis is better known than its argumentation, which is original and shows a magnificent presentation of the dialectic of discontinuity and continuity in the relation we are interested in: a method of approximation to (absolute) truth. "…the number ten at once becomes other than ten if a unit be added or subtracted, and so of any other number: but this does not

1 After Plato, Aristotle expresses two main semiotic ideas: language is a semiotic system; word and sentence are signs.

apply to that which is qualitative or to anything which is represented under an image. I should say rather that the image, if expressing in every point the entire reality, would no longer be an image" (432b). And further on: "Then you see, my friend, that we must find some other principle of truth in images, and also in names; and not insist that an image is no longer an image when something is added or subtracted". (433d). "…do not insist that the name shall be exactly the same with the thing; but allow the occasional substitution of a wrong letter, and if of a letter also of a noun in a sentence, and if of a noun in a sentence also of a sentence which is not appropriate to the matter, and acknowledge that the thing may be named, and described, so long as the general character of the thing which you are describing is retained…" (432e). Indeed, one legislator – the name master may turn out to be good, the other – bad, so that among the names some will be made well, others will be bad: "…when the general character is preserved, even if some of the proper letters are wanting, still the thing is signified;—well, if all the letters are given; not well, when only a few of them are given… or if not, you must find out some new notion of correctness of names, and no longer maintain that a name is the expression of a thing in letters or syllables". (433b.)

Frege explains it to us: "*Denn* in einer Definition gäbe man gewisse Merkmale an. Und bei der Anwendung auf einen *besonderen* Fall käme es dann immer darauf an, ob es wahr wäre, daß diese Merkmale zuträfen" (Frege, 1993). ("The fact is that each time an indication of some signs is included in the definition of the true: but in each case it is necessary to be able to decide whether it is true that these signs are present". – Author's translation).

Does the meaning of the sentence depend on the conditions of its truth? At present, this has not been proved. While the Russian author speaks about meaning, the meaning of the *word* is always meant. And when we read the texts of English-speaking authors, they refer to the meaning of the *sentence*, *the statement*. This is due to the different nature of English compared to Russian: English is analytical. And therefore, the question always arises about the conditions of *truthfulness* in connection with the question of meaning.

It is impossible to equate the ability to realize the fulfillment and non-fulfillment of the conditions for the truth of a sentence, which is characteristic of epistemology and analytical philosophy, and the knowledge of what these conditions are. But even such a departure from conventions to objective examination is nevertheless enclosed within the framework of the analysis of truth as truthfulness of a *sign*, which is typical of logic and linguistic philosophy. Without questioning it – otherwise the heuristic ability of signs is being questioned! – the question must be posed differently: can a statement be true in itself, without its ideal content, its sense, were true? Sense is the substance of language; therefore, the question under study is the problem of the adequacy of the ideal and the material. And here we fall into a vicious circle.

For then we will have to examine whether it is true that the sentence, idea, thought or image coincided with something or correspond to something. In the same way, if we refuse to analyze for coincidence or correspondence, any other attempt (compatibility, isomorphism, similarity, adequacy = equivalence, etc.) will fail.

Let's start over again

The fact that the process of cognition is a kind of unity of reflection and designation was accentuated by almost all major philosophers: Hegel and Fichte, Frege and Peirce. The worldview and methodological analysis of the true and the untrue has probably the deepest and most serious history. Aristotle stood at its source.

In 1930, M. Heidegger posed the problem exactly as we are trying to do it today: he investigated the role of /re/presentation not only in acts of cognition, which are always supplemented by notation, but in the processes of assimilating *des Gesagtes* to an opposing thing – *der Gegenstand* – as such, in its open *ens*, considering that what makes righteousness and correctness possible to be the essence of truth. The most important judgment is: the measure for the presenting assimilation (open as correctly open) takes (or should take upon itself) the prescription of the directing measurement for the whole process of presentation, "a measure and a stand against the confusion of opinions and reckonings" (Heidegger, 1989, p. 65).

It is proposed, in a much less individualized and poeticized language, to discuss truth as representation using a term taken from the theory of speech acts: *direction of fit* (direction of coincidence). It allows one to simply and briefly explain the subject's orientation to the order of things or the order of conscious states. "Truthfulness" is a characteristic of consciousness; "Understandability" is a characteristic of an object, its embeddedness in a given semantic and syntactic system in the given socio-cultural circumstances.

The first strict and consistent definitions were given in 1931 by Alfred Tarski, who linked truth with feasibility. The works of Tarski and Gödel, as well as successes of semantics and logic have demonstrated that an exact definition of truthfulness of a statement can only be given in a meta-language, in relation to which a statement subjected to verification of validity is in the domain of an object language containing statements of more complex logical types.

However, a great number of philosophers, including Frege and sometimes Heidegger himself, call true (or false) not only real joy, real certified gold and all of that sorts of things, but also judgments about them: "We call true not only an actual joy, genuine gold, and all beings of such kind, but also and above all we call true or false our statements about beings, which can themselves be genuine or not with regard to their kind, which can be thus or otherwise in their actuality" (p. 65). Ontologizing truth in general [*Lichtung im Wald*], Heidegger was forced to explain why then the predicate of reality does not allow us to distinguish truth from false-

hood. "The true is the actual. Accordingly, we speak of true gold in distinction from false. False gold is not actually what it appears to be. It is merely a "semblance" and thus is not actual. What is not actual is taken to be the opposite of the actual. But what merely seems to be gold is nevertheless something actual. Accordingly, we say, more precisely, actual gold is genuine gold. Yet both are "actual," the circulating counterfeit no less than the genuine gold. What is true about genuine gold thus cannot be demonstrated merely by its actuality". (p. 92)

It turns out that neither correctness, nor coherence, nor reality in itself can be definitive properties of truth, for correctness appears when truth is already there, and it is itself determined through truth, and consistency/coherence as well as reality or actuality, characterize not only truth but also other relationships and states.

In return, Heidegger achieved an important result for those philosophers who are not concerned, like him, with the extension of the concept of the true to the thing: he shows what, in essence, *resemblance* is and proves that the similarity of dissimilar in nature [*physei*] phenomena is not only possible, but it alone makes it feasible to equate the statement about the object and the object itself.

Comparing the two gold coins (as both Frege and Heidegger did): they are in accordance with one another. They come into accord in the oneness of their outward appearance and are identical in this respect. However, the *judgment* about the coin, say, "This coin is round," is also consistent with it; but *how* is such accordance possible? The coin is round, and the concept of it has no spatial character at all. The coin is, and the concept is not a means of payment; the coin is material, it is metallic, and judgment is immaterial, etc. What is consistent in them? What do they have in common, what similar? "…this accord is supposed to be a correspondence. How can what is completely dissimilar, the statement, correspond to the coin? It would have to become the coin and in this way relinquish itself entirely… The moment it did, it would no longer be able as a statement to be in accordance with the thing. In the correspondence the statement must remain — indeed even first become — what it is" (p. 95-96).

It is not enough to prove that the ideal cognitive act is a *reflection*, and if so, (let it be "for the total humanity", "commonly", "in general", etc.) it can automatically be considered true. The falsity is also actual; the untrue image is also an image, and practice can be as much a criterion of its effectiveness as for a true image.

It has been settled long ago that "...even false, erroneous and generally lacking an objective referent knowledge can lead an activity to a preassigned result", (Kasavin, 1990) and "sensory data, being the result of the impact of an object on the senses, its reflection, are, however, insufficient to distinguish between reality and illusions…" (Mikeshina, 1990, p. 78).

Explanations and Proposals

It is important to find out exactly what qualities, properties, and differences make an image an image, and then also a true one. The first necessary property, as is known, is *objectivity*. One must have the original in order to be an image, material or ideal. The second quality is *similarity* with this original, and not only geometric or physical, structural or external, but also both these and many other types of similarities that should be taken into account and analyzed in gnoseology. This rich category has not yet been sufficiently developed, leaving the true image to be intuitively understandable. Therefore, every study that touches on the concepts of similarity and resemblance is so important.

The area in which the concept of truth is applicable is sense, *Synn*, Frege argued. And in this area it is impossible to verify it by simple superposition, by combining. Frege also took an example with a gold coin: if, for example, in many cases it is possible to verify the validity of a banknote by simply combining it with a reference one, then an attempt to verify the truth of a gold coin by overlaying it on a banknote can only cause a smile. But Frege does not go further – to the study of the essence of similarity; he limits himself to putting truth in logic, and the latter offers in its turn its own set of verification rules.

On the other hand, the conclusions drawn by Heidegger seem to lead away from truth as a human dimension of /re/presentation to an *ontologized* truth, leaving the sphere of the subjective in general and interpreting truth as the non-concealment and non-obscurity of Being. However, one can agree that when a certain relation becomes presentation, it thereby becomes in essence a similarity (in a non-essence, though, it can remain a non-similarity). Truth is an ideal image and resemblance of nature (first navigation), of eidetic essence (second navigation), and of human relations (third navigation). The first condition of truth is the first condition of imagery – it is the presence of another, *des Entgegens*.

These thoughts were developed by I.S. Narsky: there is a specific, namely dispositional, character of the relationship of sensations and objective properties about which they (sensations) inform. Objects have a disposition in the form of the quality to generate sensations, and sensations – and *psyche* in general – have a disposition of "living through" objects. In a vague form, this was anticipated even by Anaxagoras: he believed that sensations arise due to the opposite, because "the like does not affect the like". I.S. Narsky pointed out how wrong Hegel and Berkeley were: one – believing that thinking can know only that which is related to it, i.e. thoughts, the other – believing that cognition is bound only to "ideas", for "ideas" are similar only to "ideas", and cognition is possible only where there is a similarity. But it is important that almost all scientists recognize the property of similarity, or resemblance, as the second main condition or circumstance of the truth of knowledge. And Heidegger is right in asserting the possibility of similarity of things different by the nature.

Objectivity is a generic property of the reflection relationship in general. Similarity is a quality of a true image.

Truth, surely, is subjective, and this is manifested in many ways; First of all, it belongs to the subject and does not exist outside of it. Symbolic instrumental knowledge, "hypothetical-selective, creatively-projective, interpretative activity", etc. – all this is subjective (and L.A. Mikeshina is absolutely right in this) (Mikeshina, 2002, p. 31). Not only constructivization, categorization, relationships and expectations inherent in higher cognitive situations, but also the physiological limitations of perceptions and sensations by the capabilities of the nervous system itself are superimposed on the reflection ratio of the object, making the image subjective. This is pretty clear. Another question is more complicated: how is the existence of a true image possible? And what can be recognized as a guarant of the truth of reflection?

For example, how can the image in the mirror be wrong? Suppose we have an uneven mirror surface. But the laws of optics will not change when a curved-surface mirror shows us a different image than a flat, smooth, "correct" one. This will be a true image cast off by the "wrong" mirror. Their difference is a subjective matter, a question of interpretation, of the purpose of using the image. *Schein*, appearance, is also a phenomenon that does not violate the laws of nature and does not go beyond them. To consider it as a deception on the part of the object or a mistake on the part of a person, to call it in an untrue image in cognition is impossible in any absolute way. It's just that the beam glides longer on an uneven surface. *Schein* is a phenomenon reflected not in the shortest way from the external and "shaped" to the internal in essence, but in a long, complicated and indirect way.

The "untrue" image, therefore, was obtained "not by the right person", "not rightly" or "not on the right place". "The measure of all things", a human, establishes the existence or non-existence of a specific reference of an object and a "mirror", as well as the "curvature" or "plane" of its surface, guided by intuition, convention, tradition, fruitfulness, efficiency, etc.; there are many auxiliary criteria of truth.

A special case is an image on a mirror with a flat surface, which does not represent the entire object, but some part of it. It can be qualified as a true image (in analysis operations), as the only available, and therefore useful and acceptable model, or as a deception, a "figure of default", insufficient and untrue.

Not only in different sciences, but also in philosophy itself there is pluralism in understanding of truth. As a category, it is the prerogative of the theory of knowledge and logic; other types of cognition use this term loosely, and other forms of social consciousness have their analogues of truth: utility, convention, faith, provability, evidence, post-truth etc.

Truth, in gnoseological aspect, is characterized by coincidence, conformity, or congruency, on the basis of the existing similarity of image and object; in the aspect of worldview – by objectivity, genetic "secondarity"; in methodological aspect –

by normativity, correctness (rule); in axiological one – by value (verity, justice); in praxeological – by utility and reliability. In general, in science, truth is reliability, in art it is typification, in religion – faith, in politics – contract, in economics – profit, etc.

Non-truth in gnoseological terms is a mismatch, dissimilation of an image and its object; in the aspect of worldview it is fantasy, mysticism; in methodological terms it is error, i.e. method error, or falsehood; in axiology it is harm, injustice; in praxeology – insecurity and inefficiency, etc. Epistemologically, truth is the principle of knowledge; non-truth is a violation of the principle, but it arises from the essence of truth (in M. Heidegger). Deviations from the truth have various reasons, including the one pointed out by F. Bacon: people like lies. Therefore, all various deviations must receive different explanations.

The criteria of truth in different areas of knowledge, in culture in general, should vary greatly.

Reflection and presentation, the ideal and the true, all have their own history; and the criterion (criteria) of truth also has got it.

Apparently, the adequacy of lower-order mental images should be deduced from their biological relevance.

The sensations and perceptions were "correct", useful and served the continuation of the genus in the cases when they reflected the repeated, non-random, necessary connections (properties, relations) of things. They were remembered, preserved together with the evolving genus, and were "closer" to the object, because the more often the encounters with the object came in, the clearer, more reliable, and more correct the image was.

Wilhelm Dilthey's idea that there was initially a criterion of truthfulness seems interesting: it is a feeling of pleasure, the shortest way to analyze the biological relevance of sensations, confirming the correctness of reflection of the vital properties of a thing. (Dilthey, 1924, pp. 84–85) But long before Dilthey it was John Locke who defined pleasure and pain as the basic regulators of mental life: "I can produce in myself both pleasure and pain, which is one great concernment of my present state. This is certain: the confidence that our faculties do not herein deceive us, is the greatest assurance we are capable of concerning the existence of material beings" (Locke, 1894).

Accepting this point of view, it can be said that the sensory images that arise in a normal, healthy body are, in principle, true. A mistake of feeling is a system dysfunction, a disease in which the psychics changes pathologically: for example, with the drastic loss of a sense of pain.

Sensations and perceptions reflect the order of things and reveal their properties; but they also testify to the existence of a lurking essence of things vital to the living body. The heretical thought for the theory of reflection – that sensations are signs – is periodically revived in different thinkers, from Helmholtz to Dilthey, from I.S. Narsky and A.A. Zinov'ev to modern young philosophers.

One can still make an attempt to give logical definition of truth. We take the liberty to characterize truth in a traditional way.

Definitions

By nature, truth is ideal. Truth is a characteristic of knowledge, not of things. It is an ideal image, and as such it has the properties of presentation and objectivity inherent in any relation of reflection. *Ideality* is a generic property of consciousness in the *ontological* aspect; in the *gnoseological* aspect, such is ***truthfulness***.

Generic property of truth is ideal presentation of the object, in both senses of the term "ideal" (Plato's and modern), and in both meanings (Latin and Russian), of the word "presentation". Generic formal traits of truth, therefore, are resemblance to an object, similarity to it, and ideal presentation. Species' definitive property of truth is presentation of *the order* of *qualia* and *relations*, "*ordo et coherentia*" of things and in things. A non-true image is a non-essence; but it is, nevertheless, presentation, likeness, reflection, and interaction. The materiality of the object of knowledge is determined in / by practice.

Accidental properties of truth are transported traits, necessary or contingent, external or internal, obvious and non-obvious, substantive and formal, etc.

To this logical attempt, we have to add gnoseological characteristics.

Not every relation is presentation, but every presentation which is there, is ideal in nature. "Truth" is human dimension of representation. This is the most complete and perfect, that is, a meaningful characteristic of cognition.

Measure of the depth of truth is the degree of presentation of the knowable entity revealed in cognition.

Measure of the completeness of truth is the presentation of the revealed generic characteristic of the object of knowledge.

Measure of preciseness is morphism.

Essence of truth is *ideal presentation and transfer* (*transporting*, *transference*) *of order*, i.e. following of things, properties and relations, events and actions of one beside the other and one after another; deepening congruent similarity of knowledge to the essence of things.

Truth combines process and performance (result) with an emphasis on relatively complete knowledge, namely, sustainable presentation. Subjectively experienced, truth is a feeling of pleasure from the discovered, open, perceived, and appropriated order.

Deviations from truth have different reasons and therefore must receive separate characteristics. Some of the attributes of truth mentioned here apply to non-truth; others do not apply. But in the main, non-truth is not an attribute of the ideal. Consciousness is in general a true image, and this is not a truism.

Absolutely true knowledge is the knowledge of *essence*. Understanding of absolute truth as exhaustive completeness and content completion, and yet as an extremely precise knowledge which coincides with the object in its entirety,

is rather sophisticated, but not scientific. I think it came to us as a legacy of religious world-picture, where the central explanatory abstraction, "the first championship of perfection" was the "Biggest", i.e., God. (It has, of course, cognitive and historical and cultural value, — but not logical).

Relatively true knowledge is knowledge of large meaningful content; it is a particular judgment about holistic picture fragment, and it can also be understood *geometrically*, as all that is non-absolute – namely, in the range from 0 to 1, except these boundary numbers.

The concreteness of truth is caused not only by the dependence on the conditions of existence of this knowledge, but, first of all, *by the dependence on the independent existence of objects*. This is what its disposition and reference mean; more precisely, this is what makes the existing opinion about truth as a *relation*, possible. However, in general, consciousness is exactly such a dependent side of the disposition, that is, it is objectified, generated by *independently existing* objects. Otherwise, by not independently existing, but *created* by people; in this case it does not matter much.

Finally, it is necessary to specifically emphasize the power of mathematical signification, which is able to end disputes for a long period with the help of its recognized and real rigor. Here we propose a method of approaching (absolute) truth, suitable for any field of activity and having the socio-humanitarian meaning of gnoseological and especially epistemological optimism, which affirms the reality of the existence of (absolute) truth and the possibility of its achievement.

Conclusion

What is truth? There is ancient irony in the question; as if thousands of years we've been asking: Does there exist such thing as Absolute Truth (which I ***doubt*** since I put the question), whereas I'm (***absolutely***) sure in existence of such a thing as Relative Truth – since it is evident?

Realistically speaking, truth is an abstract image, isolating one characteristics of right (adequate) knowledge: to be ***"pünktlich",*** it is accurate, precise reflection of an object of cognition. This accurate knowledge is a result of intellectual work, striving *to harmonize* the ideal reflection and its referent, *to adjust* the gnoseological image to the original outer thing or quality or relation. So it is right to speak of ***true*** (or false) ***knowledge,*** coinciding and "agreeing" and coordinating and corresponding and conjoining and becoming congruent and uniting with its target object.

Which unity we traditionally call **Truth** in the great and primordeal meaning of a word.

Now we've come up to the "number of truth", or the method of finding it with mathematical means. The method of quantitative description of truth is *harmonic series*. Any path (and a method is a path) can be represented as a geometric place of points. We use special literature here (Vygodsky, 1977).

To obtain the "number of truth" we should make use of mathematical theory of rows, or series, of numbers, U_1, U_2, U_3,... U_n,... They are summed up as follows:

$S_1 = U_1$

$S_2 = U_1+U_2$

$S_3 = U_1+U_2+U_3$

$S_n = U_1+U_2+U_3+\ldots U_n$

If the series is unlimited by some ***finite number***, it has got no definite general sum S_n. Then the row is divergent, or dispersing, like in 1 + 2 + 3 + 4 + ... + n +...

Here $S_1 = 1$, $S_2 = 3$, $S_3 = 6$, ... $S_n = n(n+1)/2$, ...

If S_n is a limited finite number, the series is concentrating, or meeting; e.g.,

$1 + {}^1/_2 + {}^1/_4 + {}^1/_8 + \ldots + ({}^1/_2)^{n+1} + \ldots$ – is not dispersing, but meeting and concentrating on one certain number:

$S_1 = 1$, $S_2 = 1{}^1/_2$, $S_3 = 1{}^3/_4$, ... $S_n = 2\cdot({}^1/_2)^{n-1}$, ... here $\lim S_n = \mathbf{2}$ (by $n \to \infty$); it might be reckoned as a target or rather Aristotelian "telos" of the whole series.

If the series has no limit at all it is called indefinite: e.g.,

$1 - 1 + 1 - 1\ldots + (-1)^{n+1} + \ldots$

The utmost judgment runs as follows.

The series in which the general member $U_n \to 0$ can both disperse and ***meet*** (concentrate):

- the normal row: $\mathbf{1 + {}^1/_2 + {}^1/_4 + {}^1/_8 + \ldots ({}^1/_2)^{n-1}} + \ldots$ – is concentrating;
- the harmonious row: $\mathbf{1 + {}^1/_2 + {}^1/_3 + {}^1/_4 + {}^1/_5 + {}^1/_6 + {}^1/_7 + \ldots}$ – is dispersing though its general member $U_n \to 0$;

$S_2 = 1 + {}^1/_2 = 3\cdot{}^1/_2$,

$S_4 = S_2 + ({}^1/_3 + {}^1/_4) > 3\cdot{}^1/_2 + ({}^1/_4 + {}^1/_4) = \mathbf{4}\cdot{}^1/_2$,

$S_8 = S_4 + ({}^1/_5 + {}^1/_6 + {}^1/_7 + {}^1/_8) > 4\cdot{}^1/_2 + ({}^1/_8 + {}^1/_8 + {}^1/_8 + {}^1/_8) = \mathbf{5}\cdot{}^1/_2$,

$S_{16} = S_8 + ({}^1/_9 + {}^1/_{10} + \ldots + {}^1/_{16}) > \mathbf{6}\cdot{}^1/_2$ etc.

- *but*: the derivative row obtained from harmonious row by changing the sign of even numbers from plus to minus: $\mathbf{1 - {}^1/_2 + {}^1/_3 - {}^1/_4 + {}^1/_5 - {}^1/_6 + {}^1/_7 -} \ldots$ – is concentrating, meeting at a certain point **(!)** This very series of numbers depicts the "fan-like" movement of approximation, or adjustment, to a certain target point ("telos"). *And its Sum is* 0,693.

$S_1 = 1$, $S_2 = {}^1/_2$, $S_3 = {}^5/_6$, $S_4 = {}^7/_{12}$, $S_5 = {}^{47}/_{60}$, $S_6 = {}^{37/60\ldots}$

				S		
0_____	S_2____	S_4__	S_6_____	↓	_____S_5__	S_3_**1**
0,1…	0,5	0,6		**0,693…**	0,8	0,9

Every even number S_2, S_4, S_6... moves right and every odd number S_1, S_3, S_5... moves left, and in the end they meet in the certain **S**-point. Bingo. The goal.

The absolute true knowledge about concrete object found. The prosaic symbol S (0.693 ...) here is a sign for truth, a cognitive goal, the achievement of which, as mathematics testifies, is quite possible.

We should remember though, that point S_{2n} and point S_{2n+1} infinitely come close together: $S_{2n+1} - S_{2n} = 1/2n+1 \rightarrow 0$ by $n \rightarrow \infty$. The process of cognition is really endless. But the model itself of seeking and finding the target-object seems valid. Number 0,693 is a guarant of the real possibility of finding the point; so, you seek – *and you will find*.

Such is the model of knowledge of truth, the construction of which was possible with the help of mathematical signification. And this can be presented as PHILOSOPHICAL TRUTH IN MATHEMATICAL TERMS.

References

Aristotle. (1976). Categories. On Interpretation. In *Collected Works in 4 Volumes: Vol. II*. Mysl'. (In Russian).

Boethius. (1990). *Consolation of Philosophy and Other Treatises*. Moscow. (In Russian).

Czarnocka, M. (2017). *A Path to a Conception of Symbolic Truth*. Peter Lang Verlag. https://doi.org/10.3726/978-3-653-05546-7

De Mauro, T. (2000). *Introduction to Semantics* (B. P. Narumov, Trans.). Dik. (In Russian).

Dilthey, V. (1924). *Descriptive Psychology*. Moscow. (In Russian).

Eco, U. (1976). *A Theory of Semiotics*. Bloomington. https://doi.org/10.1007/978-1-349-15849-2

Frankfort, H., Groynewegen-Frankfort, G. A., Wilson, J. A., & Jacobsen, T. (1984). *In anticipation of philosophy*. Nauka. (In Russian).

Frege, G. (1993). *Der Gedanke. Eine logische Untersuchung [The Thought. A logical investigation]*. Logische Untersuchungen. (In German).

Harman, G. (2015). *The Quadruple Object: Metaphysics of Things After Heidegger*. Gill Press. (In Russian).

Heidegger, M. (1989). On the Essence of Truth. *Philosophical Sciences*, 4, 91–104. (In Russian).

Heidegger, M. (1994). *On the Purpose of Thought // Philosophy of Consciousness in the 20th Century: Problems and Solutions* (A. N. Portnov, Trans.). Ivanovo. (In Russian).

Horwich, P. (2013). Truth. In F. Jackson & M. Smith (Eds.), *The Oxford Handbook of Contemporary Philosophy. Part IV. Philosophy of Language*. Oxford University Press.

Ivanov, V. V. (1984). BEFORE – TIME – AFTER? (instead of a preface). In G. Frankfurt, G. A. Groeneveld-Frankfort, D. A. Wilson, & T. Jakobsen, *On the Eve of Philosophy*. Nauka. (In Russian).

Kasavin, I. T. (1990). On the Descriptive Understanding of Truth. *Philosophical Sciences*, 8, 64-73. (In Russian).

Kasavin, I. T. (2000). *Traditions and Interpretations: Fragments of Historical Epistemology*. Publishing House RHGI. (In Russian).

Koshelev, A. D. (Ed.). (1994). *Yu. M. Lotman and the Tartu-Moscow Semiotic School*. Gnosis. (In Russian).

Lenin, V. I. (1967). Materialism and Empirio-Criticism. Chapter II. The Theory of Knowledge of Empirio-Criticism and Dialectical Materialism. In *Complete Collected Works* (Vol. 18). Politizdat. (In Russian).

Locke, J. (1894). *An Essay Concerning Human Understanding*. George Routledge and sons LTD. (In Russian).

Lotman, Yu. M. (Ed.). (1965). *Works on Sign Systems*. Tartu. (In Russian).

Meillassoux, Q. (2015). *After Finitude: An Essay on the Necessity of Contingency*. Cabinet Scientist. (In Russian).

Mikeshina, L. A. (1990). Contemporary problematization of the eternal theme. *Philosophical Sciences*, 10, 77–78. (In Russian).

Mikeshina, L. A. (2002). *Philosophy of Cognition: Polemical Chapters*. Progress-Tradition. (In Russian).

Mikeshina, L. A. (2005). *Philosophy of Science: Contemporary Epistemology. Scientific Knowledge in the Dynamics of Culture. Methodology of Scientific Research: Textbook*. Progress-Tradition. (In Russian).

Narsky, I. S. (1985). John Locke and His Theoretical System. In J. Locke, *Works in 3 Volumes: Vol. I*. Mysl'. (In Russian).

Narsky, I. S. (1989). Introductory Article to M. Heidegger's Work 'On the Essence of Truth'. *Philosophical Sciences*, 4. (In Russian).

Ockham, W. (2002). *Selected Works*. RAN IF Editorial URSS. (In Russian).

Philosophy, Culture, Education in the 21st Century: Collection of Articles and Theses of the All-Russian Scientific and Practical Conference. (2011). Kazan. (In Russian).

Philosophy, Logic, Language. (1987). Moscow. (In Russian).

Philosophy. Language. Cognition. Collection of Jubilee Materials. (2011). KGAEU. (In Russian).

Plato. (1994). Cratylus. In *Collected Works in 4 Volumes: Vol. III*. Mysl'. (In Russian).

Sciences of Language and Text in Europe of the 14th-16th Centuries. (2016). Delo RANHiGS Publishers. (In Russian).

Stepanov, Yu. S. (2001). Introduction Article. In Yu. S. Stepanov (Ed.), *Semiotics. Anthology* (2nd ed.). Academic Project; Delovaya Kniga. (In Russian).

Surovtsev, V. A. (2008). On the Logical-Philosophical Views of Gottlob Frege. In G. Frege, *Logical-Philosophical Works. Logical Investigations. The Foundations of Arithmetic*. Siberian University Press. (In Russian).

Taysina, E. A. (2013). *Theory of Cognition. Introduction and Capricious Rondo*. Aleteiya. (In Russian).

Taysina, E. A. (2014). *Philosophical Questions of Semiotics*. Aleteiya. (In Russian).

Volkov, A. G. (1966). *Language as a System of Signs*. Moscow. (In Russian).

Vygodsky, M. Ya. (1977). *Handbook of Higher Mathematics*. § 368. Nauka. (In Russian).

Zamyatin, D. N. (2004). *Metageography: Images of Space and Spaces of Images*. Agraf. (In Russian).

Список литературы

Czarnocka, M. (2017). *A Path to a Conception of Symbolic Truth*. Peter Lang Verlag. https://doi.org/10.3726/978-3-653-05546-7

Eco, U. (1976). *A Theory of Semiotics*. Bloomington. https://doi.org/10.1007/978-1-349-15849-2

Frege, G. (1993). *Der Gedanke. Eine logische Untersuchung [The Thought. A logical investigation]*. Logische Untersuchungen. (In German).

Horwich, P. (2013). Truth. In F. Jackson & M. Smith (Eds.), *The Oxford Handbook of Contemporary Philosophy. Part IV. Philosophy of Language*. Oxford University Press.

Locke, J. (1894). *An Essay Concerning Human Understanding*. George Routledge and sons LTD.

Аристотель. (1976). «Категории». «Об истолковании». В *Сочинения. В 4-х томах: Т. II*. Мысль.

Боэций. (1990). *Утешение философией и другие трактаты*. Москва.

Волков, А. Г. (1966). *Язык как система знаков*. Москва.

Выгодский, М. Я. (1977). *Справочник по высшей математике*. § 368. Наука.

Де Мауро, Т. (2000). *Введение в семантику* (Б. П. Нарумов, Пер.). ДИК.

Дильтей В. (1924). *Описательная психология*. Москва.

Замятин, Д. Н. (2004). «*Метагеография: Пространство образов и образы пространства*». АГРАФ.

Иванов, В. В. (1984). ДО – ВРЕМЯ – ПОСЛЕ? (вместо предисловия). В Г. Франкфорт, Г. А. Гройне-веген-Франкфорт, Дж. А. Уилсон, & Т. Якобсен, *В преддверии философии*. Наука.

Касавин, И. Т. (1990). О дескриптивном понимании истины. *Философские науки*, 8, 64–73.

Касавин, И. Т. (2000). *Традиции и интерпретации: Фрагменты исторической эпистемологии*. Издательство РХГИ.

Кошелев, А. Д. (Ред.). (1994). *Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа*. Гнозис.

Ленин, В. И. (1967). Материализм и эмпириокритицизм. Глава II. Теория познания эмпириокритицизма и диалектического материализма. В *Полное собрание сочинений* (Т. 18). Политиздат.

Лотман, Ю. М. (Ред.). (1965). *Труды по знаковым системам*. Тарту.

Мейясу́, К. (2015). *После конечности. Эссе о необходимости контингентности*. Кабинетный ученый.

Микешина, Л. А. (1990). Современная проблематизация вечной темы. *Философские науки*, 10, 77-78.

Микешина, Л. А. (2002). *Философия познания. Полемические главы*. Прогресс-Традиция.

Микешина, Л. А. (2005). *Философия науки: Современная эпистемология. Научное знание в динамике культуры. Методология научного исследования: Учебное пособие*. Прогресс-Традиция.

Нарский, И. С. (1985). Джон Локк и его теоретическая система. В Дж. Локк, *Сочинения в 3-х томах*: Т. I. Мысль.

Нарский, И. С. (1989). Вступит. Статья к раб. М. Хайдеггера «О сущности истины». *Философские науки*, 4.

Науки о языке и тексте в Европе XIV - XVI *веков*. (2016). Издательский дом «Дело» РАНХиГС.

Оккам, У. (2002). *Избранное*. РАН ИФ Едиториал УРСС.

Платон. (1994). Кратил. В *Сочинения. В 4-х томах*: Т. III. Мысль.

Степанов, Ю. С. (2001). Вводная статья. В Ю. С. Степанов (Ред.), *Семиотика. Антология* (2-е изд.). Академический Проект; Деловая книга.

Суровцев В.А. (2008). О логико-философских взглядах Готлоба Фреге. В Г. Фреге, *Логико-философские труды. Логические исследования. Основоположения арифметики.* Сибирское университетское издательство.

Тайсина, Э. А. (2013). *Теория познания. Интродукция и рондо каприччиозо*. Алетейя.

Тайсина, Э. А. (2014). *Философские вопросы семиотики*. Алетейя.

Философия, культура, образование в XXI *в. Сборник статей и тезисов Всероссийской научно-практической конференции*. (2011). Казань.

Философия, логика, язык. (1987). Москва.

Философия. Язык. Познание. Сборник юбилейных материалов. (2011). КГЭУ.

Франкфорт, Г., Гройневеген-Франкфорт, Г. А., Уилсон, Дж. А., & Якобсен, Т. (1984). *В преддверии философии*. Наука.

Хайдеггер М. (1989). О сущности истины. *Философские науки*, 4, 91–104.

Хайдеггер, М. (1994). *К вопросу о назначении дела мышления // Философия сознания в* XX *веке: Проблемы и решения* (А. Н. Портнов, Пер.). Иваново.

Харман, Г. (2015). *Четвероякий объект. Метафизика вещей после Хайдеггера*. Гиле Пресс.

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2023. No 3 | ISSN: 2658-7734
Critics & Reviews | https://doi.org/10.46539/gmd.v5i3.400

The Discreet Charm of the Soviet Things

Nikolai B. Afanasov

Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences. Moscow, Russia. Email: n.afanasov[at]gmail.com

Received: 15 June 2023 | Revised: 24 July 2023 | Accepted: 4 August 2023

Abstract

The subject of this review is the book "The Things of Life: Materiality in Late Soviet Russia" written by historian Alexey Golubev. The English translation was published in 2022 as part of the "Library of the Journal *Neprikosnovennyy zapas*" series by the "New Literary Observer" publishing house. The book comprises six chapters, each delving into a distinct aspect of late-Soviet materiality: "Techno-Utopian Visions of Soviet Intellectuals after Stalin", "Time in 1:72 Scale: The Plastic Historicity of Soviet Models", "History in Wood: The Search for Historical Authenticity in North Russia", "When Spaces of Transit Fail Their Designers: Social Antagonisms of Soviet Stairwells and Streets", "The Men of Steel: Repairing and Empowering Soviet Bodies with Iron", and "Ordinary and Paranormal: The Soviet Television Set". Golubev's approach emphasizes the significance of materiality in analyzing social history.

This review outlines the primary content of the book and seeks to position it within the discursive realm of contemporary social sciences and humanities. It demonstrates that the book's relevance extends beyond merely cataloging items produced in the Soviet Union. The work aims to refresh social and cultural research methodologies, and its conceptual innovation offers a critical counterpoint to ideological interpretations of (Soviet) history.

Keywords

Materiality; Modernity; Soviet; History; Historical Memory; Technology; Philosophy; Social Philosophy; Practical Philosophy; Applied Philosophy

This work is licensed under a Creative Commons "Attribution" 4.0 International License

Скромное обаяние советских вещей

Афанасов Николай Борисович

Институт философии РАН. Москва, Россия. Email: n.afanasov[at]gmail.com

Рукопись получена: 15 июня 2023 | Пересмотрена: 24 июля 2023 | Принята: 4 августа 2023

Аннотация

Предметом рецензирования выступает монография историка Алексея Голубева «Вещная жизнь: материальность позднего социализма», перевод которой с английского языка в 2022 году вышел в серии «Библиотека журнала “Неприкосновенный запас”» издательства «Новое литературное обозрение». Книга состоит из шести глав, каждая из которых обращается к отдельному сюжету позднесоветской материальности: «Техноутопизм советской интеллигенции после Сталина», «Время в масштабе 1:72. Пластмассовая историчность советских моделей», «История, запечатлённая в дереве. Поиски исторической подлинности на Русском Севере», «Проходные пространства выходят из-под контроля. Социальные противоречия советских подъездов и улиц», «Люди из стали. Железо для здоровья и силы советского тела», «Обыденное и паранормальное в советском телевизоре». В основе подхода автора лежит представление о важном значении материальности для истории общества.

В рецензии отражено основное содержание монографии, а также предпринята попытка определить её место в дискурсивном поле современного социально-гуманитарного знания. Показано, что значение книги не ограничивается каталогизацией советских вещей. Работа претендует на обновление методологии исследования общества и культуры, а её концептуальное новаторство несёт в себе критический потенциал в отношении идеологизированных подходов к осмыслению (советской) истории.

Ключевые слова

материальность; модерность; советское; история; историческая память; техника; философия; социальная философия; практическая философия; прикладная философия

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons “Attribution” («Атрибуция»)4.0 Всемирная

Структура спроса и предложения в современной философии переживает нечто похожее на индивидуализацию производства в позднем капитализме: потребителю (интеллектуалу) уже недостаточно ограниченного набора «базовых» товаров. Французский философ и социолог Жиль Липовецкий предложил взглянуть на моду как на нормативную модель функционирования современной культуры: «Мы живём в обществе, в котором господствует нечто фривольное, легкомысленное и несерьёзное, и наше общество – последнее звено в многовековой авантюре под названием “капитализм – демократическое общество – индивидуализм» (Липовецкий, 2012, с. 13). Заданная авторитарной логикой изменчивости новизна навязывает себя.

Суть подхода состоит в том, что на примере развития феномена моды, определившего потребительские стратегии XX и XXI-го вв., можно вычленить наиболее значимые особенности жизненного мира и машины желаний современного человека. Мода порывает с традицией. Она узаконивает изменчивость как принцип. В её логике завершается характерная для Модерна индивидуализация общества. Но, одновременно, мода и эфемиризует мир, буквально растворяя всё твёрдое в воздухе (Берман, 2020) вслед за модерновым капитализмом. «Совершенная мода <…>, конечно же, дочь капитализма» (2012, с. 209).

Поворот к материальному, если следовать предложенной метафоре, относится к числу тех дискурсивных доминант, которые определяют поле современных социо-гуманитарных исследований. В социальных науках его начало датируется 1980-ми гг. (Вахштайн, 2015, с. 8). На концептуальном уровне именно работы тех лет – прежде всего социологов – определили ход развития дисциплин актуальной гуманитарной мысли, повлияв на таких мыслителей как Дж. Беннет, М. де Серто, Б. Браун, Д. Миллер (Голубев, 2022, с. 297). Философия принадлежит к их числу. Для истории или культурологии, как более молодой дисциплины, материальное с самого начала представляло собой важную предметную сферу, хотя поворот к малому, появление «микроистории», «истории вещей» также радикально преобразовали ландшафт этих наук. Сложнее сказать что-то определённое о материальном в философии.

Материализм всегда был одним из полюсов философского мышления, но в том виде, в котором к нему обращаются современные теоретики, он далёк от античного физикализма или даже исторического материализма марксистской традиции. Иначе говоря, радикального «материального поворота» в философии быть не могло, потому что он всегда был её составляющей. С самого начала философия была переходом не от материального к идеальному, но от обыденного, будь то идеальное (к примеру, миф) или материальное (границы земельных участков), к теоретическому осмыслению. Тем удивительнее, что нечто, описывающее себя как материалистический поворот в философии, происходит на наших глазах. Сегодня материализмов много, и каждый из них претендует на новизну. По меньшей мере они выглядят «модно», добавляя в устаревшие (по законам моды или каким-то иным?)

концепции новые акценты: «Различные версии материализма пересекают теоретическое поле по меньшей мере с середины 2000-х гг., избирая в качестве основы для своих построений активную материю, скоплениям частиц которой приписываются свойства не только онтологические, но и политические и даже эстетические» (Сосна, 2022, с. 71).

Мода на материальное не обошла стороной и российское академическое пространство, составив достойную конкуренцию продолжающей оставаться интеллектуальной доминантой «междисциплинарности». Сразу оговоримся: мы не имеем в виду ничего плохого. Современность накладывает свои требования – воздушные, изящные, отчасти эфемерные, но неизменно обязательные к исполнению – на производство знания. Интеллектуальная мода столь же деспотична, как и мода материальная: «… изменения носят отчасти “принудительный” характер, так как сопровождаются своеобразным “долгом” адаптации и ассимиляции, они властно навязывают себя» (Липовецкий, 2012, с. 39). К счастью, следование моде – часто приятное и захватывающее дело. Когда мы имеем дело с интеллектуальной жизнью, оно также может оказаться единственно продуктивным, коль скоро соотносится с внутренней логикой функционирования общества. Так, концептуальное осмысление и самоописание общества обновляется в соответствии с достигнутым им уровнем развития.

Издание перевода книги историка Алексея Голубева «Вещная жизнь: материальность позднего социализма» (Голубев, 2022) на русский язык вполне встраивается в обрисованную нами картину. В оригинале работа вышла в 2020 году в издательстве Cornell University Press (Golubev, 2020). Перевод был выполнен Татьяной Пирусской, о трудах которой автор пишет так: «Её упорная работа, внимательность к языковым нюансам и чувство стиля стали залогом того, что русский перевод состоялся» (Голубев, 2022, с. 11). С нашей точки зрения, оценка А. Голубева справедлива – книга действительно читается на одном дыхании. Это прежде всего историческая работа, выполненная в традиции «истории вещей», социальной и культурной истории.

Перед нами книга, изначально адресованная западному читателю. Она работает с советским материалом, который интересен зарубежной академии в качестве эмпирической перспективы для сравнения. В этом контексте материальность позднего социализма помогает лучше понять материальность (позднего) капитализма, всю «материальность» в целом, а также убедиться в том, что получившие распространение материально-ориентированные концептуальные методы можно считать универсальными.

На русском языке выход англоязычного издания не остался незамеченным. Анна Соколова в своей рецензии говорит о целевой аудитории исследования А. Голубева: «… основной аудиторией Голубева является англоговорящая публика, для которой данное исследование открывает путь в причудливый мир поздне-советской материальности» (Соколова, 2021, с. 182). Действительно, работа нашла отклик в зарубежной академической периодике,

где вписалась в авторитетную область исследований советскости. Выбор материала был признан новаторским. Если традиционная материальная советология фокусируется на авангарде 1920-х и 1930-х гг., то есть инновациях в советской материальности, последовавших сразу за Революцией, то работ о вещном мире позднего социализма меньше. Чаще всего они фокусируются на глобальных проектах, чей объём измерялся в десятках миллионов кубометров железобетонных конструкций в год или сотнях тысяч произведённых тракторов. Примером может служить программа жилищного строительства «хрущёвок»: «В последние годы область исследования расширилась за пределы документации нового, и всё больше внимания уделяется более повседневным аспектам советской модерности. Новаторская книга Алексея Голубева <…> отражает этот новый подход» (Betts, 2022, p. 810).

Возможно, «Вещная жизнь» для постсоветского читателя окажется даже более новаторской, чем она воспринимается в контексте западных *Soviet Studies*. Дело не в том, что нам хуже знакома (пост-)советская повседневность. Во-первых, как известно, глаз не может увидеть сам себя. Привычное становится незаметным, хотя, как сказали бы современные последователи методологии материального поворота, именно оно является определяющим. К тому же «выросло поколение, которое вовсе не знало опыта существования в СССР, что формирует специфическую дистанцию» (Куренной, 2012, с. 294). Во-вторых, важен академический контекст. Традиция исследования советской истории определяется эпохальной значимостью, которая отводится СССР, его появлению и краху, как феноменам, определившим архитектуру современного мира. Достаточно вспомнить, что британский историк Эрик Хобсбаум верхнюю границу XX столетия определяет 1991-м годом, а начало «исторического» века 1914-м, в событиях которого будущая Советская Россия, ещё бывшая Империей, также сыграла не последнюю роль (Хобсбаум, 2004). Современные российские исследования преимущественно наследуют этой традиции большого стиля. И если в культурологии, истории или социологии можно найти примеры смещения фокуса внимания на повседневное, то философия продолжает широкими мазками писать историософию утраченной цивилизации.

Когда обращение к советской истории не преследует целью внести что-то новое в понимание мировых процессов, по меньшей мере оно тогда претендует на вскрытие антропологического новаторства советского проекта: «Почти все влиятельные книги о советской истории, выходившие в последние десятилетия, так или иначе разрабатывали проблему субъектности – того, как рождался, менялся и шёл к своему концу советский человек» (Гулин, 2022, 7 октября). Академический поток, впрочем, не ламинарен, а многие отечественные учёные не следуют моде, задаваемой западными коллегами. Ещё в 2012-м году коллектив авторов подготовил книгу «СССР: Жизнь после смерти» (Глущенко, 2012), в которой помимо вопросов о «больших» исторических понятиях затрагивались темы личных автомобилей в СССР, психология

покупателя и даже формирование салонной видеокультуры. В открывающей сборник статье социолог и философ Борис Кагарлицкий писал: «Ни “величие”, ни “тоталитаризм” не только не описывают всего многообразия советского исторического опыта, но, что гораздо важнее, и не *объясняют* (курсив мой – Н.А.) его» (Кагарлицкий, 2012, сс. 12–13).

Объяснение – это не просто описание, а помещение в определённую теоретическую рамку, которая претендует на общезначимость. Но что, если не «большое» объясняет «малое», а наоборот? Книга А. Голубева — это концептуальный синтез различных подходов, дающих ответ на этот вопрос: «Моя центральная концепция сформировалась в ходе наших многочисленных дискуссий [с Сергеем Ушакиным] о советской культуре и обществе, теории аффекта, материальности, субъективности и личности, производстве знания» (Голубев, 2022, с. 9). В её основе лежит интерес к материальности, который проливает свет на логику функционирования общества. Мы писали о том, что книга вписывается в определённую традицию исследования советскости, но, и это более важно, её значение не исчерпывается контекстуальным высказыванием в *Soviet Studies*. Можно выделить три значимых для современной гуманитарной науки смысловых уровня работы. Во-первых, это методологическое развитие применения концепций формирования субъектности и истории через материальное, выполненное с опорой на историю позднесоветской повседневности. Во-вторых, анализируя агентность материальности и возникающие вокруг неё объяснительные модели, А. Голубев предпринимает попытку деидеологизации исследований культуры и истории СССР. Наконец, с точки зрения культурной истории и проработки эмпирического материала работа вводит в научный оборот новые сюжеты, обращается к ранее фактически неисследованным областям из жизни советского общества.

Начнём с конца, то есть с самой книги как «вещи» и тех предметов, которым она посвящена. Книга была издана «Новым литературным обозрением» в серии «Библиотека журнала “Неприкосновенный запас”». Визитной карточкой серии стал интерес к теме повседневности и, в частности, к советскому материалу. Ранее в ней уже выходили важные для области теоретические работы Светланы Бойм (Бойм, 2022), Алейды Ассман (Ассман, 2014), Марты Нуссбаум (Нуссбаум, 2023) и др. «Вещная жизнь» органично встраивается в этот ряд. Знакомство даже с несколькими книгами из серии может дать представление об особого рода исследовательском видении, которое она продвигает.

Структурно работа состоит из шести глав, введения и заключения. Несмотря на то, что концептуальная схема работы и намерения авторы ясно представлены именно во «Введении», а высказывание собственной позиции, которое до того момента могло не быть эксплицированным, отдельно артикулируется в «Заключении», все шесть глав самостоятельны и независимы друг от друга. «Вещная жизнь» выстраивается как система, каждая часть которой могла бы существовать отдельно, сохраняя своё самостоятельное значение.

Сюжеты, к которым обращается Голубев, разнообразны, и их сложно сгруппировать в соответствии с одним принципом. Научно-технический утопизм советского общества (Глава 1), страсть к моделизму (Глава 2), историческая реконструкция деревянных памятников Русского Севера (Глава 3), советские подъезды (Глава 4), аппараты Илизарова и подвальные качалки (Глава 5), наконец, сеансы коллективной медицины от Анатолия Кашпировского и Аллана Чумака в телевизорах советских гостиных (Глава 6) могут быть связаны только хорошо продуманной концепцией.

Подборка тем продиктована, на наш взгляд, двумя соображениями. Хотя все эти сюжеты одинаково интересы с позиций материалистического подхода к объяснению повседневности, важно, чтобы они не были «избитыми» и предлагали оригинальное видение. Три главы предлагают новаторский способ осмысления предметов, к которым ранее обращались исследователи: это советская одержимость научно-техническим прогрессом, практики музеификации деревянной архитектуры и роль телевидения, шире – средств массовой информации – в позднем советском обществе. Оставшиеся три главы фактически впервые вводят в социально-исторический контекст новые сюжеты.

Будто отвечая желанию читателя начать с чего-то знакомого, первая глава возвращает в привычный академический мир описания советского проекта через техническую модернизацию: «Апеллируя к миру современной техники, официальные дискурсы создавали образ советского общества – прогрессивного, технократического, и индустриализованного» (Голубев, 2022, с. 58). Авангардистское значение механизмов, стремления стать машиной для советского утопического проекта хорошо известны. Поздний социализм стремился придать внутреннюю динамику утратившему идеалистический пафос обществу через обновление этого мифа: «С середины 1950-х годов всё чаще предпринимались попытки, пусть лишь частичные и осторожные, возродить политику и эстетику советского авангарда» (2022, с. 53). Метафора машины, как цели и средства преобразования общества, была изначально встроена в универсум идей советского проекта. Посредством технических средств советский человек должен был овладеть материей, направив её движение в соответствии со своими продиктованными гуманистическими целями желаниями.

В позднем социализме эти желания стали доступны каждому на другом уровне материального потребления. А. Голубев затрагивает общекультурные вопросы, но предлагает остановиться на том, как рядовые граждане СССР опосредовали общий культурный паттерн освобождения через «сотрудничество» с машиной. Автор акцентирует внимание на феномене «сделай сам», которым было одержимо советское общество. Гражданину, лишённому доступа к широкому разнообразию потребительских товаров, приходилось мобилизовывать собственную творческую энергию. В результате «советская

материальность представала в этом дискурсе как динамичная; в позднесоветской культуре любая вещь могла превратиться во что угодно, поэтому прежде всего рассматривалась как сырьё или набор деталей, даже если была совершенно новой» (2022, с. 71). В главе представлен экскурс в мир дискурса советских журналов, посвящённых вопросам домашнего технического творчества. Потребность «смастерить» что-то своими руками оказывается не только чертой, определявшей мир дефицитного социализма, но прежде всего характеристикой умонастроения людей. Это одна из первых иллюстраций того, что «материя определяет сознание», или, модернизируя этот старый тезис, «вещность конституирует символический универсум».

Автор разоблачает мифологему о том, что советскому гражданину отводилась роль «винтика» в машине государства. Напротив, мужчина позднего социализма должен был овладеть миром через власть над машиной, но не стать её частью, в соответствии с инструментальными представлениями политического руководства. Упрёки в последнем можно встретить в историософских осмыслениях отношений человека – машины в СССР, но А. Голубев убедительно аргументирует классовый характер этой идеологемы. В этом контексте можно вспомнить и гуманистический пафос культуры оттепели, нашедший отражение в том числе и в кинематографе. В фильме «Застава Ильича» (1963) режиссёр Марлен Хуциев использует такой фрагмент из стихотворения Р. Рождественского: «Я не верю, что это *винтики* (курсив мой – Н.А.) с грозным космосом побратались». Фетишизм творческого начала в технике оказывает влияние на современные дискуссии, оценивающие потенциал России как технической наследницы СССР, что также становится одним из предметов авторского анализа.

Композиционно за экскурсом в позднесоветский технический дискурс следует рассказ о советском моделировании. Структура книги задаёт особую систему координат. Если Советский авангард был захвачен симфонией Донбасса, а после войны мужчины были вынуждены, несомненно, реализуя себя и получая от этого удовольствие, «делать всё сами», то титанический масштаб сжимается до истории в формате 1:72. Книга ведёт нас от вещей огромных к вещам малым. Советской промышленности, пусть и при участии западных стран, поставлявших пресс-формы, удалось наладить широкое производство моделей для самостоятельной сборки. Автор показывает, как способы продажи и представления коробочных наборов задавали исторические координаты самоосмысления советского общества: «Переход к статичным моделям-копиям побуждал советских любителей моделирования мыслить исторически, причём в категориях не столько классовых, сколько национальных границ и иерархий. Он подразумевал, что большевистская революция была не разрывом, а звеном в цепи исторического развития, и позволял проследить преемственность, роднящую средневековые восточнославянские государства, Московскую Русь, Российскую империю и Советский союз» (2022, с. 89). Моделирование вступало в конфликт с раскрытой в первой главе сущно-

стью технического творчества. Фетишизация деталей и запечатление конкретных моментов в жизни того или иного технического объекта служило его отчуждённому от общего нарратива технического творчества восприятию: «Сборные модели подтверждали и усугубляли историческое отчуждение труда при производстве технических объектов» (2022, с. 106), что вступало в конфликт с советской идеологической политикой. Показательно, что это вылилось в создание многочисленных коллекций. Эпиграфом ко второй главе автор выбрал цитату из «Пассажей» Вальтера Беньямина, посвящённую феномену коллекционирования. Беньямин принадлежал к числу тонких наблюдателей буржуазного общества. Пусть и другим путём, советский авангардистский проект также стал вместилищем страсти обывателя к коллекционированию, а фигура пламенного революционера была одомашнена вещностью этого мира.

Третья глава продолжает линию встраивания Советского проекта в «нормализованное русло» движения современности на материале попыток историзации материального наследия Русского Севера. Немецкий философ Герман Люббе писал, что «… вероятность повторения случившегося снижается, а это и означает, что актуализация этой уникальности превращается в процесс её историзации» (Люббе, 2019, с. 57). Динамика Модерна предполагает всё большие усилия по сохранению того, что быстро становится устаревшим – всё новое и современное устареет ещё быстрее. На уровне аналитической переклички между главами прослеживается вектор на признание внутренней де-идеализации советского проекта. Сравнивая функциональный архитектурный модернизм и музеефикацию, А. Голубев заключает: «Если Гинзбург [Моисей Гинзбург, архитектор – Н.А.] хотел, чтобы социалистическая архитектура преодолела социальное отчуждение, то для Ополовникова [Александр Ополовников, реставратор-исследователь – Н.А.] старинное деревянное зодчество должно было преодолеть отчуждение историческое, перекинув мост между прошлым и настоящим русского / советского народа» (Голубев, 2022, с. 144). Как и советские моделисты, музеефикаторы, историки, любители древности находили своё призвание в том, чтобы эту древность сохранять. Глава имеет важное значение для целого книги, затрагивая в том числе и российскую современность, которая продолжает советские практики консервации формы, но предлагает читателю и обширный эмпирический материал, который подтверждает схему. Сохранением исторической культуры озабочены прежде всего образованные горожане, т.е. «чужаки» (Куренной, 2022): «В конце концов, для местных жителей «банька» – объект утилитарный, а не эстетический» (Голубев, 2022, с. 135).

Глава 4 «Проходные пространства выходят из-под контроля» методологически развивает подход Мишеля Фуко: «Археология советских подъездов и улиц <…> позволяет составить представление о политике советских проходных пространств и их роли в формировании советских людей как на телесном

уровне, так и в плане осознания своего “Я”» (2022, с. 172). Фокус внимания на материальное, с которым трудно спорить, позволяет автору вступать в полемику с широко распространёнными интерпретациями того или иного социального явления. В частности, автор показывает, что хрущёвскую программу массового жилищного строительства неверно интерпретировать в качестве отказа от социалистических идеалов: «… на уровне отдельных квартир эти идеалы не пытались воплотить в жизнь, их перенесли на более крупные участки города – микрорайоны» (2022, с. 175).

Советские подъезды, ставшие одним из немногих доступных мест для приватности (и девиантности) в стеснённых условиях социалистических городов, превратились в мифическое пространство. Они стали местами, в которых разворачивалось действие анекдотов, различных историй, пространством для съёмки телепередач. На излёте эпохи подъезд для одних стал врагом, а для других – желанным местом, где можно отдохнуть с друзьями. Впрочем, их «уникальность» должна мыслиться критически, поскольку маргинальные группы использовали проходные пространства в других странах сходным образом. Для книги важнее, что уникальность советской материальности всё также была вписана в общий материалистический дискурс, в котором мыслили и действовали советские чиновники. Соответственно, «материалистическое понимание способности “улиц и подъездов” превращать советских подростков в малолетних преступников подсказало чиновникам и сознательным гражданам столь же материалистическое решение: вытащить их из подъезда» (2022, с. 191).

Заключительные параграфы главы продолжают актуализацию материала применительно к современному контексту. Смещая фокус внимания на материальную сторону пространства, подчиняющуюся своим (универсальным) закономерностям, А. Голубев показывает, что критика эстетической неприглядности советских подъездов обусловливается классовым сознанием: «Значимое отсутствие городских общественных пространств в биографиях советской интеллигенции слишком часто оборачивается умолчанием об их активной социальной жизни. Многие западные исследователи, в силу классовой близости склонные выражать солидарность с советской и постсоветской интеллигенцией, воспроизводят это умолчание» (2022, с. 205).

Название Главы 5, «Люди из стали», обыгрывает устоявшийся советский троп: «… за железом, как и за сталью, его сплавом, в советской культуре прочно закрепилась функция эффективных инструментов для создания образа нового социалистического человека» (2022, с. 212). В главе освещается история изобретения знаменитого аппарата Илизарова и развитие бодибилдинга в подвальных помещениях. Контраст с историческим экскурсом в первой главе очевиден. Фотография «Витальность аппаратов Илизарова» вынесена на обложку как русского, так и зарубежного вариантов книги. На ней изображены дети, которые проходят лечение при помощи этих фантастических устройств. Они собирают, будто из конструктора, антропоморфного робота

из деталей, предназначенных для сбора аппаратов. Голубев прослеживает, как метафорика целительного железа сначала отвергалась советской медициной, а затем триумфально восторжествовала. Его дискурс-анализ показывает, что восприятие аппаратов было футуристическим, люди видели в них «сходство с киборгами» (2022, с. 217). Высокий культурный статус металла становился приложим к проблемам здоровья, мог трансформировать человеческое тело, излечивать его от болезней.

Это металлическое овнешнение потенциала человеческого тела нашло своё отражение в ещё одном малоисследованном феномене – советской подвальной качалке. Советский «культуризм» (понятие заимствовано из французского языка, так как «бодибилдинг» звучало слишком по-английски) воспринимался официальной советской властью как вызов социалистической идеологии. В упрёк культуристам ставили следование буржуазным принципам и идеалам, превознесение индивидуального в ущерб коллективному, асоциальность. А. Голубев показывает, что на деле всё обстояло ровно наоборот. Посетители советских качалок выступали стражами сложившегося социального порядка и одной из основных задач своих занятий наращиванием мышечной массы видели подготовку тела к службе в советской армии и к отстаиванию «нормы» в уличных стычках с маргиналами: « … вместо эгоистов, поглощённых работой над образом собственного тела, из подвальных спортзалов выходили лояльные и социально активные граждане, ощущавшие прочную связь с советским обществом» (2022, с. 251). Автор обнаруживает параллели в риторике реконструкторов и теоретиков атлетизма: «Поражает сходство <…> с доводами советских реставраторов, тоже искавших в далёком прошлом эстетические идеалы, искажённые позднейшими капиталистическими наслоениями» (2022, с. 247). Так обращение к разному материалу приближает к пониманию общих паттернов легитимации или критики, присущих позднесоветской культуре. Все они оказались продиктованы и рождены материальностью, без которой не могли жить советские люди.

Заключительная глава, «Обыденное и паранормальное в советском телевизоре», обращается к краеугольному сюжету для рефлексии в отношении (пост-)советской культуры. Дискуссия вокруг него остаётся жаркой и сегодня. Речь идёт о телевизоре. Автор отказывается от политизации этого бытового прибора. Через обращение к его материальности описывается, как телевизор менял жизнь советских граждан, и каким образом он послужил условием для возникновения одержимости паранормальным. Мракобесие, «… понятие, эмоционально окрашенное и оценочное, отражало бурную реакцию образованных советских людей на то, что казалось им грандиозным поражением советского рационализма» (2022, с. 266–267). Физически сама телевизионная коробка не могла подорвать советский модернизационный рационализм, но она стала проводником «внешнего» в жизненный мир советских домохо-

зяйств. А. Голубев рассматривает и те последствия, которые появление телевизора в советских квартирах оказало на тела (вес, форму, подвижность) граждан.

В своём анализе материальности телевидения книга наследует идеям медиатеоретика Фридриха Киттлера, предложившего деидеологизированный подход к интерпретациям медиа. Появление телевизора, если следовать логике книги, становится одним из ключевых событий вещной жизни позднего социализма. Моделизм, аппараты Иллизарова, подвальные качалки и даже подъезды оказывали влияние на разные группы советского населения, но часто этому влиянию были подвержены лишь отдельные маргинальные слои или воздействие оставалось ограниченным. Телевизору удалось изменить конфигурацию мебели в гостиной. Теперь именно ему отводилось главное место, а окружающие его объекты (включая людей) располагались в пространстве так, чтобы телевизор было удобно смотреть. Он также смог выступить катализатором образования крупных сообществ, вступавших в противоречие с декларируемой советской идеологией и ценностями: «Телевизор преобразовал советское жилище и вторгся в личное пространство, вовлекая зрителей в различные действия, которые, несмотря на частный характер (просмотр телепередач дома), объединяли их в более крупное сообщество» (2022, с. 292).

На протяжении шести глав повествование в полной мере позволяет оценить потенциал подхода Алексея Голубева к истории «вещей» в вопросах осмысления феномена позднего социализма. Он не ограничивается музеификацией быта, каким бы диковинным он сейчас ни казался не заставшим СССР поколениям. Если книгу и помещать в дисциплинарные рамки, то это будет не просто рефлексивная в отношении собственной методологии история, но полемическое высказывание, затрагивающее культурные, политические и философские темы. Каждую из глав действительно можно читать отдельно. Вопрос в том, что будет значить это чтение, и есть ли у книги более общая претензия. На наш взгляд, самое ценное в «Вещной жизни» можно обнаружить, не просто читая книгу как последовательный и каталогизирующий нарратив, обозрение своего рода «коллекции» материальностей, но и помещая её в общий интеллектуальный контекст разворачивающихся сегодня дискуссий.

Погрузившись в мир стальных механизмов, пластиковых моделей, деревянных церквей и маргинальных сред, легко забыть, что речь идёт о переводной работе, первоначальным адресатом которой выступало англоязычное академическое сообщество. Эта линия сохраняет свою силу на протяжении всего повествования: действительно, западный читатель найдёт, чему удивиться в развитом социализме. Однако дискурсивное пространство, в которое встраивается книга, более многоплановое. Нами было отмечено, что одной из стержневых идей книги является де-идеологизация анализа позднесоветской материальности. Под ней мы понимаем критику критики определённых подходов при анализе советской истории. Она одновременно методологическая и содержательная. Сама постановка вопроса о решающем значении материальности в объяснении множества феноменов подрывает

основу для вынесения оценочных суждений, которые склонны эту материальность игнорировать. Особенно отчётливо это было продемонстрировано в главах, посвящённым советским подъездам и телевидению.

А. Голубев прямо не полемизирует ни с одной из традиций историософского осмысления СССР, но не отказывает себе в удовольствии вскрыть те аспекты классовой солидарности, которые подменяют аналитические суждения накладыванием эстетической и социальной схемы на реальность. Так, книга обретает не меньшую актуальность в полемическом поле российской академической и социально-политической философии. Любопытно, что это «сообщение» книги может быть считано как в зарубежной, так и в российской академической традиции. Возможно, эти две традиции, разделённые по объективным причинам, имеют больше пересечений, чем принято считать. «Вещная жизнь. Материальность позднего социализма» задаёт координаты работы с политическим через материальную повседневность. В «Заключении» автор пишет, что теоретики, «… предложившие новый взгляд на роль материальных предметов в социальных изменениях, неоднократно подчёркивали, что их исследования и работы напрямую обращены к политической повестке» (2022, с. 297). Это нужно иметь в виду и при чтении рецензируемой монографии.

Политическое послание дополняется эпистемологическим высказыванием. Работа становится важным примером осмысления материальности, предлагая работающие модели по анализу разнообразных феноменов. Они могут быть масштабированы или перенесены на другие области материальности. А. Голубев вносит вклад в формирование целого исследовательского поля, которое только находится в стадии становления. Книга делает это легко и непринуждённо, во многом избегая тяжеловесной для ищущего интеллектуального наслаждения читателя проработки теоретических сюжетов. Они представлены ровно в той степени, которая необходима для соблюдения академических приличий, а также для того, чтобы интересующийся знал, куда ему обратиться для дальнейшего продвижения в сюжете. «Вещная жизнь» – это интеллектуально стильная книга, чьё изящество может сыграть с ней злую шутку. Работа очевидно способна внести свои полемические коррективы в непрекращающиеся и болезненные попытки осмысления того, чем было советское общество, и почему история пошла именно так, а не иначе. Но есть риск, что она окажется незамеченной именно там, где её дискуссионный пафос пришёлся бы более всего к месту.

Впрочем, не только философски-мыслящие интеллектуальные историки найдут, что можно почерпнуть, а с чем можно и поспорить в работе А. Голубева. Предметно философские дискуссии о материализме и плоских онтологиях получили мощный импульс в русскоязычной периодике и книгоиздании. Новая тема нашла благодатную почву. Впрочем, есть основания предположить,

что философский контекст осмысления материальности «Вещной жизни» легко может стать объектом критики.

Если общее умонастроение об агентности материального и стало распространённой установкой, то приложение её к конкретному материалу способно переформулировать классический вопрос. Что первично: телевизор «Рубин» в комнате хрущёвки или социальная система, которая сумела наладить проектирование и производство на «Московском телевизионном заводе “Рубин”»? Философ Грэм Харман в своём анализе акторно-сетевой теории Бруно Латура пишет: «В действительности <…> объекты или акторы используются *против* материализма. <…> Тот факт, что все уровни одинаково реальны, означает, что материализм тотчас отпадает. <…> Что важнее, как гордо заявил Жижек, материализм на самом деле *является* формой идеализма» (Харман, 2017, с. 7). Книга А. Голубева своим использованием разнообразных методологических установок выступает поставщиком теоретико-эмпирического материала, который может послужить развитию обозначенной выше дискуссии.

Вполне возможно, что эта перекличка не была сознательной, но иногда вещи начинают жить своей жизнью, вступая в связи с другими объектами. В 2012-м году издательство «Новое литературное обозрение» издало книгу историка Джеффри Хоскинга «Правители и жертвы. Русские в Советском Союзе» (Хоскинг, 2012). На обложке, основой которой послужил плакат А. Кокорекина «К новым победам в труде и спорте!» (1955), красуется гордый советский тяжёлоатлет. В 1955-м в его мускулистых руках лежала штанга, в 2012-м у него вовсе нет рук. Ретушь плаката для обложки иллюстрирует идею книги, которая рассказывает историю русских, которые одновременно были и субъектами–выгодоприобретателями советской политики, и одними из главных жертв советского эксперимента. Аппараты Иллизарова, контраст между телесным и механическим которых обыгрывается фотографией на переплёте «Вещной жизни», будто полемизирует с инвалидизированным образом спортсмена. Символизируя потенциал материалистического подхода, они дополняют историко-культурный исследовательский нарратив, внося завихрения в ламинарность его течения.

Список литературы

Betts, P. (2022). The Things of Life: Materiality in Late Soviet Russia. By Alexey Golubev. Ithaca: Cornell University Press, 2020. xvii, 220 pp. Notes. Bibliography. Index. Illustrations. Plates. Photographs. $39.95, hard bound. *Slavic Review*, 81(3), 810–811. https://doi.org/10.1017/slr.2022.275

Golubev, A. (2020). *The things of life: Materiality in late Soviet Russia*. Cornell University Press. https://doi.org/10.1515/9781501752902

Ассман, А. (2014). *Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика*. Новое литературное обозрение.

Берман, М. (2020). *Все твердое растворяется в воздухе*. Горизонталь.

Бойм, С. (2022). *Общие места: Мифология повседневной жизни*. Новое литературное обозрение.

Вахштайн (признан иноагентом в РФ), В. (2015). «Поворот к материальному»: Тридцать лет спустя. *Социология Власти*, 27(1), 8–16.

Глущенко, И. В. (Ред.). (2012). *СССР. Жизнь после смерти*. НИУ Высшая школа экономики.

Голубев, А. (2022). *Вещная жизнь: Материальность позднего социализма*. Новое литературное обозрение.

Гулин, И. (2022, октябрь 7). *Силы вещей*. Коммерсантъ. https://www.kommersant.ru/doc/5583788

Кагарлицкий (признан иноагентом в РФ), Б. (2012). Загадка советского сфинкса. В И. В. Глущенко (Ред.), *СССР. Жизнь после смерти* (сс. 8–16). НИУ Высшая школа экономики.

Куренной, В. А. (2012). «Советское» как предмет исследовательского интереса. В И. В. Глущенко (Ред.), *СССР. Жизнь после смерти* (сс. 294–299). НИУ Высшая школа экономики.

Куренной, В. А. (2022). Роль Чужака. Почему наследие так мало интересует местных жителей? *Охраняется государством*, 1, 46–53.

Липовецкий, Ж. (2012). *Империя эфемерного. Мода и ее судьба в современном обществе*. Новое литературное обозрение.

Люббе, Г. (2019). *В ногу со временем. Сокращённое пребывание в настоящем*. НИУ Высшая школа экономики. https://doi.org/10.17323/978-5-7598-1918-9

Нуссбаум, М. (2023). *Политические эмоции: Почему любовь важна для справедливости*. Новое литературное обозрение.

Соколова, А. (2021). Alexey Golubev. The Things of Life: Materiality in Late Soviet Russia. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2020. *Laboratorium: журнал социальных исследований*, 3(13). https://doi.org/10.25285/2078-1938-2021-13-3-180-182

Сосна, Н. Н. (2022). Поэтика тихого космизма. *Философский журнал*, 15(3), 70–83. https://doi.org/10.21146/2072-0726-2022-15-3-70-83

Харман, Г. (2017). Сети и ассамбляжи: Возрождение вещей у Латура и Деланда. *Логос*, 27(3), 1–32. https://doi.org/10.22394/0869-5377-2017-3-1-32

Хобсбаум Эрик. (2004). *Эпоха крайностей: Короткий XX век* (1914–1991). Независимая Газета.

Хоскинг, Дж. (2012). *Правители и жертвы*. Новое литературное обозрение.

References

Assman, A. (2014). *The long shadow of the past. Memorial culture and historical politics*. New Literary Review. (In Russian).

Berman, M. (2020). *All solids dissolve in air*. Gorizontal. (In Russian).

Betts, P. (2022). The Things of Life: Materiality in Late Soviet Russia. By Alexey Golubev. Ithaca: Cornell University Press, 2020. xvii, 220 pp. Notes. Bibliography. Index. Illustrations. Plates. Photographs. $39.95, hard bound. *Slavic Review*, 81(3), 810–811. https://doi.org/10.1017/slr.2022.275

Boehm, S. (2022). *Commonplaces: The mythology of everyday life*. New Literary Review. (In Russian).

Glushchenko, I. V. (Ed.). (2012). *USSR. Life after death*. Higher School of Economics Publishing. (In Russian).

Golubev, A. (2020). *The things of life: Materiality in late Soviet Russia*. Cornell University Press. https://doi.org/10.1515/9781501752902

Golubev, A. (2022). *Thing Life: The Materiality of Late Socialism*. New Literary Review. (In Russian).

Gulin, I. (2022). *The power of things*. Kommersant. https://www.kommersant.ru/doc/5583788 (In Russian).

Harman, G. (2017). Networks and assemblages: The revival of things in Latour and Delanda. *Logos*, 27(3), 1–32. https://doi.org/10.22394/0869-5377-2017-3-1-32 (In Russian).

Hobsbawm, E. (2004). *The age of extremes: The short 20th century (1914–1991)*. Independent Newspaper. (In Russian).

Hosking, G. (2012). *Rulers and victims*. New Literary Review. (In Russian).

Kagarlitsky, B. (Recognised as a foreign agent in the Russian Federation) (2012). The riddle of the Soviet sphinx. In I. V. Glushchenko (Ed.), *USSR: Life after death* (cc. 8–16). Higher School of Economics Publishing. (In Russian).

Kurennoy, V. A. (2012). «Soviet» as a subject of research interest. In I. V. Glushchenko (Ed.), *USSR: Life after death* (cc. 294–299). Higher School of Economics Publishing. (In Russian).

Kurennoy, V. A. (2022). The role of the stranger: Why is heritage of little interest to local residents? *Protected by the State*, 1, 46–53. (In Russian).

Lipovetsky, Z. (2012). *The empire of the ephemeral: Fashion and its fate in modern society*. New Literary Review. (In Russian).

Lübbe, H. (2019). *Keeping up with the times: Shortened stay in the present*. Higher School of Economics Publishing. https://doi.org/10.17323/978-5-7598-1918-9 (In Russian).

Nussbaum, M. (2023). *Political emotions: Why love matters for justice*. New Literary Review. (In Russian).

Sokolova, A. (2021). Alexey Golubev. The Things of Life: Materiality in Late Soviet Russia. *Laboratorium: Russian Review of Social Research*, 3(13), 180–182. https://doi.org/10.25285/2078-1938-2021-13-3-180-182 (In Russian).

Sosna, N. N. (2022). The poetics of gentle cosmism. *Philosophy Journal*, 15(3), 70–83. https://doi.org/10.21146/2072-0726-2022-15-3-70-83 (In Russian).

Vakhshtayn, V. (Eecognised as a foreign agent in the Russian Federation) (2015). "Turn to the material": Thirty years later. *Sociology of Power*, 27(1), 8–16. (In Russian).

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2023. No 3 | ISSN: 2658-7734
Critics & Reviews | https://doi.org/10.46539/gmd.v5i3.411

Mythologization of Time in the Contemporary Media Landscape

Ivan V. Suslov

Saratov Chernyshevsky State University – National Research University; Saratov State Law Academy. Saratov, Russia. Email: suslov85[at]inbox.ru

Received: 13 July 2023 | Revised: 28 July 2023 | Accepted: 10 August 2023

Abstract

The peer-reviewed collective monograph explores the mythologization of time in modern media environments. Philosophers from Lipetsk (A.G. Ivanov, A.A. Linchenko, I.P. Polyakova) and Saratov (S.V. Tikhonova, D.S. Artamonov) consider theoretical and methodological aspects of the mythological understanding of time, analyze time frames in the media environment, use different philosophical approaches in the study of "strange time". Attention is also paid to practical aspects of time management in everyday life, peculiarities of time mythologization in computer games, digital history, Internet memes and media projects. The specifics of time representation in British TV series and interactive cinema, as well as its manifestations in musical works, also come into the focus of scientific interest. In general, the monograph is a comprehensive study of the mythological dimension of time in the context of contemporary media environment.

The instant mythologization of time in media space implies a rejection of the modernist idea of a straightforward flow of time and a return to ancient ideas about the cyclical nature of time periods. A clear temporal sequence of past-present-future is denied and it is argued that events are not necessarily subject to temporal logic. These trends arise from the use of new digital and media technologies that allow ordinary people to experience archaic notions of time in everyday life.

Keywords

Myths; Past; Present; Future; Time; Media; Mass Culture

This work is licensed under a Creative Commons "Attribution" 4.0 International License

Galactica Media: Journal of Media Studies. 2023. No 3 | ISSN: 2658-7734
Критика и рецензии | https://doi.org/10.46539/gmd.v5i3.411

Мифологизация времени в современной медийной среде

Суслов Иван Владимирович

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского; Саратовская государственная юридическая академия. Саратов, Россия. Email: suslov85[at]inbox.ru

Рукопись получена: 13 июля 2023 | Пересмотрена: 28 июля 2023 | Принята: 10 августа 2023

Аннотация

Рецензируемая коллективная монография исследует мифологизацию времени в современных. Философы из Липецка (А.Г. Иванов, А.А. Линченко, И.П. Полякова) и Саратова (С.В. Тихонова, Д.С. Артамонов) рассматривают теоретические и методологические аспекты мифологического понимания времени, анализируют временные рамки в медийной среде, используют различные философские подходы при изучении «странного времени». Также обращается внимание на практические аспекты управления временем в повседневной жизни, особенности мифологизации времени в компьютерных играх, цифровой истории, интернет-мемах и медиапроектах. В фокус научного интереса попадает и специфика репрезентации времени в британских сериалах и интерактивном кинематографе, а также его проявления в музыкальных произведениях. В целом, монография представляет собой комплексное исследование мифологического измерения времени в контексте современных медийных сред.

Современная мифологизация времени в медиа пространстве предполагает отказ от модернистской идеи о прямолинейном течении времени и возвращение к древним представлениям о цикличности временных периодов. Отрицается четкая временная последовательность прошлое-настоящее-будущее и утверждается, что события не обязательно подчинены временной логике. Эти тенденции возникают в результате использования новых цифровых и медиа технологий, позволяющих обычным людям переживать архаические представления о времени в повседневной жизни.

Ключевые слова

мифы; прошлое; настоящее; будущее; время; медиа; массовая культура

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons “Attribution” («Атрибуция»)4.0 Всемирная

Время – это базовая философская категория, ускользающая от определений. Индивидуальные обыденные представления о времени предполагают его трехчастное деление с односторонним движением от прошлого к настоящему и далее в будущее. Данное свойство времени, очевидно, известное подавляющему большинству представителей современного человечества, вдохновляет режиссеров, писателей, музыкантов на создание произведений, ломающих привычное бытие пространственно-временного континуума. И речь идет не только о многочисленных художественных вариациях на тему «машины времени», но и о проектировании сущностей, передвигающихся из будущего в прошлое (Шрайк из романа «Гиперион» Дэна Симмонса, 1989) или живущих одновременно в трех временных измерениях (инопланетная раса из фильма «Прибытие» Дэни Вильнева, 2016). Широкую известность получил фильм «Memento» Кристофера Нолана (2000), в котором сцены располагаются в обратном хронологическом порядке, и зрителю в начале фильма показывают финал, затем предфинал и т.д. И список примеров на этом, безусловно, не заканчивается.

Свойство человеческого сознания путешествовать по временной шкале своей жизни с помощью силы воображения позволяет предположить, что время – это не только физическая, а значит, объективная категория, фиксирующая перемещение объектов в пространстве, но и глубоко индивидуальный, субъективно-конструируемый феномен разума.

Субъективность переживания времени – это, пожалуй, наиболее сложный вызов для человеческой социальности. Общество цементируют совместные представления, включающие в себя одинаковый (или схожий) набор знаний о прошлом, а также понимание настоящего как результат предшествующих и основу для будущих событий.

Однако события прошлого, настоящего и будущего для человеческого сообщества одновременно и объективно-одинаковые, и субъективно-разные. Плюрализм временных представлений затрудняет процессы социальной интеграции, а значит, успешность социального проектирования общественного единства требует выработки технологий постоянного обновления «коллективного чувства времени».

Помещение пространственно-временного континуума в социально-сконструированные рамки – это первое необходимое условие существования человеческого общества, которое было выполнено уже в первобытную эпоху. Самую древнюю форму работы коллективного сознания мы называем мифом. Миф как общепринятый набор представлений о той или иной части мироздания был обязан обеспечивать внедрение в то или иное сообщество единого понимания времени, или, другими словами, знаний о том, что есть прошлое, настоящее и будущее.

Мифологизация времени – это составная и неотъемлемая часть мифологизации мироздания, природы, окружающего мира, социальных отношений.

Миф и время связаны между собой на онтологическом уровне. Миф – это в первую очередь рассказ. А рассказ – это выстраивание очередности событий. А что есть время – если не способ измерения очередности? Феномен времени эксплицитно заложен в мифе, мифологическом повествовании. Игнорировать раздражающий факт неумолимого течения времени человечество, начиная с первобытной эпохи, было не в состоянии, однако оказалось возможным эту фрустрацию (как и многие другие) мифологизировать.

В Новое время идеи Просвещения провозгласили курс на рациональность, что привело к переосмыслению и категоризации, в том числе и феномена «времени». Философы (социальные ученые), верные модернистским идеалам, с удивлением анализировали представления о времени в предшествующие эпохи в частности и особенности мышления в целом. Для характеристики домодернового сознания часто использовался эпитет «мифологическое». Казалось, что человек современного типа, освоивший (в том числе благодаря школе, науке, а также медиа – в самом широком смысле этого слова) основы рационального мышления, никогда не впадет в пучину архаического «мракобесия». Однако Р. Барт, предвосхищая эпоху постмодерна, уже в 1950-е гг. отмечал, что современная мифология это уже не совокупность больших рассказов, объясняющих мир, а всего лишь дискурс, корпус фраз, набор стереотипов, не всегда укладывающихся даже в повествование как таковое (2004, с. 235).

В наше время основными субъектами, определяющими представления общества о мире и времени, являются средства массовой информации. Субъекты изменились, однако мифологическая основа технологий работы со временем осталась неизменной. На непростой, но важный вопрос («Что есть такое мифологизация времени в современной медийной среде»?) дается ответ в одноименной рецензируемой коллективной монографии пяти философов из Липецка и Саратова. Роли были распределены следующим образом. В первой главе А. Г. Иванов раскрыл общетеоретические и методологические вопросы мифологической темпоральности. Современную темпоральную ситуацию и основные измерения времени в медиарельности проанализировал А. А. Линченко. Саратовский дуэт С. В. Тихоновой и Д. С. Артамонова во второй главе изучил возможность применения интеллектуальных ресурсов объектно-ориентированной онтологии Г. Хармана и акторно-сетевой теории Б. Латура при наблюдении за «странным временем». Кроме того, внимание было уделено и практическим вопросам трансформации микро-хронополитических стратегий управления временем в условиях наполнения повседневного бытия современного человека многочисленными цифровыми гаджетами.

В третьей главе саратовские адепты цифровой философии сосредоточились на изучении мифологизации времени в компьютерных играх, цифровой истории, интернет-мемах, медипроекте «Часы Судного дня». В четвертой главе (А. А. Линченко и И. П. Поляковой) были проанализированы особенности мифологизации времени в британских сериалах «Аббатство Даунтон»,

«Корона» и «Черное зеркало», а также (С. В. Тихоновой) в интерактивном кинематографе. Пятая глава за авторством А. Г. Иванова посвящена мифологизации времени в музыкальном произведении.

Насколько правильно использовать для описания современных реалий изобретенный в новое время и наполненный модернистскими коннотациями эпитет «мифологическое»? Насколько мы можем быть уверенными в том, что модернистские когнитивные конструкции когда-либо занимали господствующие высоты пространства массового сознания? Оставим эти вопросы в стороне и обратимся к тексту рецензируемой монографии, в которой исследуется феномен мифологизации времени, связанный с невероятным расцветом медиа в наш XXI век.

Отметим еще раз, что если во времена господства эпохи модерна (начиная, пожалуй, с Люсьена Леви-Брюля) с облегчением констатировалось, что первобытное мышление осталось в глубоком прошлом (2020), то в эпоху постмодерна социальные исследователи оказались перед выбором: или отрицать факт архаизации массового сознания, или же констатировать возвращение *мифологического*.

Первая теоретико-методологическая глава открывается ключевым (фундаментальным) тезисом рецензируемой монографии:

> «Считается, что мифологизация является одним из проявлений мифологического сознания, которое доминировало в древности, но и в настоящее время латентно присутствует в структуре общественного сознания и в определенных условиях иногда воспроизводится» (Иванов и др., 2022, с. 9).

Таким образом, авторы разбираемого исследования заявляют о намерениях изучить процессы мифологизации реальности, протекающие в «нашем Просвещенном веке». В первых параграфах, написанных А. Г. Ивановым, предоставлен историографический очерк об основных подходах к изучению мифов и мифологического сознания ранних эпох (К. Леви-Стросса, М. Элиаде, Е. М. Мелетинского, А. Ф. Лосева и др.). В частности, серьезное внимание было уделено работе К. Хюбнера (1996), в которой речь идет об античном делении времени на сакральное (священное) и профанное. К сакральному (первостепенно важному) времени относятся и эпоха сотворения мира, и эсхатологические события будущего конца света. Сакральное время может быть цикличным и дискретным, или, другими словами, оно не интересуется физически обусловленной обязательностью однонаправленного движения от прошлого к будущему через настоящее. В профанное же время происходят реальные (исторические) события, а также протекает повседневная жизнь человека.

Сакральное (священное) время, отмечает А. Г. Иванов, нельзя рассматривать как реликт, характерный для традиционных обществ. Напротив:

> «Новое время дает начало процессу мифологизации профанного времени, что… представляет собой процесс превращения времени реальных исторических событий в вечность» (2022, с. 15).

Таким образом, наиболее заметной формой мифологизации времени в нашей современности является историческая политика (политика памяти), которая, например:

1) формирует официальный набор памятных событий и важных исторических деятелей;
2) с помощью организации торжественных памятных мероприятий переносит сознание их участников во времена далеких трагических или героических событий.

В гуманитарной науке считается общепринятым тезис, что официальная история, как и первобытный миф, использует события прошлого как ресурс социальной интеграции. Мифологизация прошлого (или, по-другому, сотворение мифов о прошлом), добавят затем С. В. Тихонова и Д. С. Артамонов во второй главе, – приобрела в наше цифровое время массовый сетевой, а значит, государственно-альтернативный характер. Участие масс в конструировании исторических представлений приводит к утрате государственной монополии на производство знаний и появлению так называемой «цифровой истории» (подробнее см. параграф 3.2.).

Однако рецензируемая монография сосредоточивается не только на проблемах мифологизации прошлого. Дело в том, что политическая необходимость интеграции социума реализуется и через работу с будущим. Процесс конструирования желаемого образа будущего с неизбежностью предполагает его мифологизацию. В данном случае миф отождествляется с утопией.

Авторское разъяснение того, что понимается под мифологизацией времени, в первый раз появляется на странице 22:

> «Мифологизация времени – это процесс наделения мифологической образностью и символикой… любого модуса времени, осуществляемое как отдельными индивидами, так и социальными группами…» (Иванов и др., 2022, С. 22).

С модернистской точки зрения, наша цивилизация, проходя этап цифровизации, погружается в «странные» процессы. В частности, мы вдруг осознаем, что время (понятное и простое в эпоху модерна) оказывается «странным» модусом бытия. Категория «странного» – одна из любопытных разработок Г. Хармана – была рассмотрена С. В. Тихоновой (в параграфе 2.1) как важный интеллектуальный ресурс для анализа времени. Объектно-ориентированная онтология подчеркивает невозможность субъекта-наблюдателя продвинуться в понимании феномена времени (очевидно, объективно существующего явления) дальше простой констатации его «странности».

В параграфе 2.2. особое внимание уделяется Бруно Латуру, считавшему, что время *изготавливается*. Действительно, время производно по отношению к взаимодействию актантов (человеков и нечеловеков) и может рассматриваться как результат сетевого взаимодействия актантов различного рода и уровня (2014).

Цифровые и не-цифровые сети отношений, включающие в себя человеческих и нечеловеческих актантов, определяют наше восприятие времени (или даже «изготовляют» его для нас). Чат-боты нейросетей, алгоритмы социальных платформ, умные роботы, устройства и гаджеты регулируют наше поведение, в том числе и в аспекте управления временем (тайм-менеджмента), что дает основание говорить о принципиальном плюрализме и не-объективности времени.

Попадание субъекта в зависимость (в том числе и микрохронополитическую) от сетей делает соблазнительным обращение за интеллектуальными ресурсами познания к биополитической теории, которую намечает М. Фуко (2010), а развивает Дж. Агамбен (2012). В параграфе 2.3. отмечается, что трансформация модернистских представлений о времени, а также практик работы со временем (хронохакинг) в новом цифровом мире может быть рассмотрена как акт хронополитики. Термин «хронохакинг» вводится по аналогии с концептом «нейрохакинга», под которым А. Векслер предлагает понимать оптимизацию деятельности мозга для достижения более высокой производительности (2017, p. 224).

Важнейшим теоретическим выводом из первых двух глав, как подчеркивают и А. Г Иванов и С. В. Тихонова, разбирая идеи Г. Хармана (2018), может стать определение метафоричности как важнейшей составляющей процесса мифологизации.

Мемы могут быть представлены в качестве примера метафорического переосмысления событий (Nissenbaum, 2018) как прошлого, так и будущего. Д. С. Артамонов (в параграфе 3.3) приводит примеры, в которых в юмористическом виде обыгрываются альтернативные представления о возможностях течения времени. Множество интернет-мемов, посвященных теме пандемии, начавшейся в 2020-м году, демонстрируют мечты и желания обычных людей переписать уже произошедшие события кризисного времени. Например: «*Простите, а можно переустановить 2020 г. Эта версия с вирусом*», «*В связи с короновирусом 2020 г. переносится на 2021*» и «*Прошу не прибавлять этот год к моему возрасту, я им почти не пользовался*» (2022, с. 154). Таким образом, интернет-мемы доказывают, что метафорическая/мифологическая игривость в обращении со временем оказывается актуальной в цифровом пространстве в качестве адаптационной стратегии, полезной во время кризисных событий.

В параграфе 3.4. речь идет о конкретном медийно-научном проекте «Часы судного дня», который является прямой метафорой ядерного апокалипсиса. Данная тема позволяет порассуждать про мифологические представления современного человечества о возможных катастрофических вариантах не-светлого будущего.

Во-первых, отмечает Д. С. Артамонов, проект «Часы судного дня» вводит эсхатологическую (мифологическую по своей природе) проблематику в современное медийное пространство с целью мобилизации общества. Во-вторых,

«Часы судного дня» предлагают альтернативную шкалу времени, в которой стрелки движутся не под влиянием реально-астрономических циклов, а по желанию неких физиков-ядерщиков, авторитетных носителей высшего знания. Наконец, в-третьих:

> «Модальность времени «Часов судного дня» заключает в себе переживание апокалипсиса в настоящем. Люди становятся очевидцами своего конца, который неумолимо надвигается, но не наступает, создавая ситуацию, когда смерть человечества может длиться дольше, чем вся предыдущая его история....» (2022, с. 170).

В главе 4 речь идет о мифологизации времени в британских сериалах, рассказывающих про прошлое («Аббатство Даунтон» и «Корона») и будущее («Черное зеркало»). Сериалы про аристократические семейства Великобритании погружают зрителя в мир, где течет сакральное время, приписываемое (как уже было отмечено выше) антропологами мифологическому сознанию древнего человека. Мифологические рассказы не создавались с целью знакомства слушателя с событиями прошлого, они повествовали о жизни героев.

В анализируемых сериалах внимание зрителя приковано не к истории Англии, а к ритмам времени в отдельно взятом поместье (аббатстве Даунтон) или же королевском дворце. Подобное невнимание к историческим событиям, по мнению Лауры Сэкстон, отвечает запросам современных зрителей (2022, p. 127-144) и демонстрирует высокую степень мифологизации массового сознания. Таким образом, анализ кинематографического нарратива подтверждает гипотезу об отсутствии у современных мастеров сериального storytelling(a) интереса к реалистичному изображению прошлого (Seamon, 2015).

Кинопродукция способна сформировать и коллективные представления о будущем. Например, как отмечает А. А. Линченко, популярный британский сериал «Черное зеркало» состоит из серий, в которых зрителю предлагают оценить варианты будущего:

1) которое уже наступило;
2) которое наступит очень скоро;
3) которое наступит в отдаленной перспективе.

Первая модель будущего представлена в серии про мир, в котором реализована такая (существующая сейчас в Китае в зачаточном состоянии) биополитическая технология как социальный рейтинг. Вторая модель будущего представлена в серии, где в центре сюжета находятся импланты, записывающие, а затем и позволяющие просматривать события собственной жизни. Третья модель будущего описывает общество, в котором мир виртуальной реальности неотличим от мира настоящего.

> «Чувство искренности и чувство ответственности, характерные для метамодернистского прочтения... позволяют поставить вопрос о сериале “Черное

зеркало"... как орудии культурного ориентирования в современной темпоральной ситуации» (2022, с. 199).

Таким образом, воспроизведение образов будущего в кинематографической (а значит метафорической) форме массовой культуры может быть определено как один из вариантов мифологизации времени.

Заключительный параграф 4-й главы посвящен кейсу про интерактивный фильм о деятельности поискового отряда «ЛизаАлерт», в котором время оказывается не измерением физических процессов, а реальным противником (антагонистом). Герои фильма должны победить время, то есть как можно быстрее найти пропавшего человека. Время превращается в антисилу, и в определенной степени приобретает персонификацию как враг или необходимый элемент выстраивания темпоральной динамики в любом мифологическом нарративе.

В 5-й (последней) главе речь идет об аудиальном формате мифологизации времени. В центре внимания Андрея Иванова находятся Дэвид Боуи, а также солисты таких групп как "Led Zeppelin" и "Pink Floyd".

Песни Дэвида Боуи предлагают слушателям познакомиться с авторскими мифами про будущее, в котором произойдет переустройство настоящего несправедливого мира. Музыкант, рассказывая журналистам биографические подробности, мифологизировал и события собственного прошлого. Таким образом, пример Дэвида Боуи показывает, что агентом мифологизации в музыкальном мире может быть сам автор и/или исполнитель песен.

Второй параграф последней главы посвящен разбору метафор, которые используют музыканты для описания времени. В частности, подробно описывается метафора поезда и пути в творчестве Роберта Планта. В последнем параграфе речь идет о вневременном характере политической сатиры Роджера Уотерса.

Таким образом, осуществленное эмпирическое исследование метафоризации представлений о времени на материале массовой культуры (мемов, компьютерных игр, кинематографа, музыки) позволяет ответить на следующий вопрос:

Как технологические медиа новинки конца XX начала XXI века способствовали преодолению модернистской рациональности в освоении времени?

Во-первых (заявляется в параграфе 3.1), сетевая коммуникация в цифровом пространстве, предполагающая вовлечение огромных масс в обсуждение социальной реальности, уничтожила/уничижила/дезавуировала веру в возможность обретения истинного знания о мире, исходящего из авторитетного источника. Массовое сознание склонилось к идее, что значение имеет не правда, а постправда или субъективное оценочное суждение о событии или реальности, а значит, несложно усомниться и в модернистских представлениях об однолинейности, однонаправленности и однородности времени.

Во-вторых, цифровое пространство знаний и информации позволило материализоваться феномену «гипертекста» технологии передвижения в информационных потоках в любой последовательности. А (не)последовательность восприятия событий, напомним, это один из атрибутов субъективного переживания времени.

В-третьих, погружение человека в виртуальные игровые миры (как подробно объясняется Д. С. Артамоновым в параграфе 3.2) также предполагает освоение новых форм работы со временем. Игрокам предлагается возможность поучаствовать в воссоздании событий прошлого и будущего, а также познакомиться с невозможными в рамках ньютоновской вселенной практиками управления временем (например, сейвами, паузами, переигровками, спидраннерством) своего виртуального альтер эго (персонажа) или виртуальной реальности.

Рецензирование коллективных монографий ставит непростую задачу придерживаться генеральной линии в изложении и анализе богатого набора интеллектуальных сюжетов, зашитых в текст, написанный (еще раз подчеркнем) несколькими независимыми друг от друга исследователями. Естественно, что одни параграфы будут разбираться более подробно, нежели их соседи.

Как и любое хорошее монографическое исследование, данная книга включает в себя и сюжеты, связанные с проблемами мифологизации времени косвенно. Например, читатель узнает основные характеристики темпоральной ситуации современного медиапространства (параграф 1.3), познакомится с методологическими основами критического дискурс-анализа, без которого невозможен конструктивный разговор о мире медиа-контента (параграф 2.4).

Какой основной вывод следует извлечь из рецензируемой монографии? Парадоксалии технического прогресса, позволившего провести тотальную цифровизацию повседневной жизни, сделали возможным взлом стройной и логичной или другими словами модернистской временной картины.

Время становится «странным». Но, как замечают А. Г. Иванов и С. В. Тихонова, в своих размышлениях отталкиваясь от идей Г. Хармана, время всегда было странным качеством / модусом бытия объекта. Время просто идет / проходит, и попытки субъектов отрефлексировать характер течения времени, безусловно, слабы и неубедительны.

> «Харманoвское основание [странности времени] завязано на физической онтологии времени, лежащей в основе восприятия человеком физического течения времени. В психологическом ракурсе, на уровне индивида, странное время предполагает изменение в восприятии времени, когда оно переживается как растянутое или сжатое независимо от астрономического отрезка» (2022, с. 84).

И далее:

> «… зазор между восприятием времени и самосознанием онтологически укоренен в человеческом сознании, благодаря которому индивид не совпадает со своим бытием, отделен от настоящего, устремляясь в будущее и приковываясь к прошлому» (Там же).

Современные медиа разрушили нашу уверенность в том, что понимание настоящего обязательно предполагает понимание прошлого. Оказалось, что это не обязательно. Мы должны знать прошлое, чтобы не повторять ошибок в будущем – особенно уверенно говорят те школьники, которые не проявляют интерес к изучению истории. И это неудивительно, поскольку многие историки-профессионалы, что одной ногой стоят в постмодерне, уже давно с научным интересом размышляют об упущенных возможностях, несостоявшихся альтернативных вариантах развития события.

Кинематограф в игровой форме приучил зрителя к условности утверждения того, что прошлое необязательно порождает настоящее и далее будущее. Фильмы, содержащие флэшбеки, доказывают, что совершенно необязательно знать подробности прошлого киноперсонажей для того, чтобы получать удовольствие от кинонарратива. Забавный хронополитический эксперимент Джорджа Лукаса с показом «Звездных войн 4» также может быть определен как удар по привычке зрителя к линейному изложению сюжета. Компьютерные игры с постоянными переигровками, сохранениями позволяют геймеру почувствовать себя повелителем времени, преодолевшим модерновую обреченность и невозможность повернуть время вспять.

Мифологизация времени сегодня – это разрыв с модернистским представлением о линейности течения времени и возвращение к архаичным идеям о цикличности, отказу от понятия шкалы прошлое-настоящее-будущее, утверждение необязательности временной детерминации событий. То есть, ко всему тому, что было характерно для архаического сознания, и благодаря новым цифровым и медийным технологиям, оказалось доступным для переживания в повседневном опыте рядового обывателя.

Благодарности

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда проект No 22-18-00153 «Образ СССР в исторической памяти: исследование медиастратегий воспроизводства представлений о прошлом в России и зарубежных странах».

Список литературы

Harman, G. (2018). *Art and Objects*. Polity Press. https://doi.org/10.1080/14434318.2021.1934782

Nissenbaum, A. (2018). Meme Templates as Expressive in a Globalizing World: A Cross-Lingvuistic Study. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 23(8), 294–310. https://doi.org/10.1093/jcmc/zmy016

Saxton, L. (2020). True Story: Defining Accuracy and Authenticity in Historical Fiction. *Rethinking History*, 24(2), 127–144. https://doi.org/10.1080/13642529.2020.1727189

Seamon, J. (2015). *What Films Can Teach Us about Memory*. MIT Press.

Wexler, A. (2017). The Social Context of "Do-It-Yourself" Brain Stimulation: Neurohackers, Biohackers, and Lifehackers. *Frontiers in Human Neuroscience*, 11, 224. https://doi.org/10.3389/fnhum.2017.00224

Агамбен, Дж. (2012). *Что современно?* ДУХ I ЛИТЕРА.

Барт, Р. (2004). *Мифологии*. Издательство им. Сабашниковых.

Иванов, А. Г., Тихонова, С. В., Линченко, А. А., Артамонов, Д. С., & Полякова, И. П. (2022). *Мифологизация времени в современной медийной среде*. Издательство Липецкого государственного технического университета.

Латур, Б. (2014). *Пересборка социального: Введение в акторно-сетевую теорию*. Издательский Дом Высшей школы экономики.

Леви-Брюль, Л. (2020). *Первобытное мышление*. Академический проект.

Фуко, М. (2010). *Рождение биополитики*. Наука.

References

Agamben, G. (2012). *What Is the Contemporary?* DUH I LITERA. (In Russian).

Barthes, R. (2004). *Mythologies*. Izdatelstvo im. Sabashnikovykh. (In Russian).

Foucault, M. (2010). *The Birth of Biopolitics*. Nauka. (In Russian).

Harman, G. (2018). *Art and Objects*. Polity Press. https://doi.org/10.1080/14434318.2021.1934782

Ivanov, A. G., Tikhonova, S. V., Linchenko, A. A., Artamonov, D. S., & Polyakova, I. P. (2022). *Mythologization of Time in the Modern Media Environment*. Izdatelstvo Lipetskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. (In Russian).

Latour, B. (2014). *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network Theory*. Izdatelskiy Dom Vysshey shkoly ekonomiki. (In Russian).

Lévi-Strauss, C. (2020). *Primitive Thought*. Akademicheskiy proyekt. (In Russian).

Nissenbaum, A. (2018). Meme Templates as Expressive in a Globalizing World: A Cross-Lingvuistic Study. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 23(8), 294–310. https://doi.org/10.1093/jcmc/zmy016

Saxton, L. (2020). True Story: Defining Accuracy and Authenticity in Historical Fiction. *Rethinking History*, 24(2), 127–144. https://doi.org/10.1080/13642529.2020.1727189

Seamon, J. (2015). *What Films Can Teach Us about Memory*. MIT Press.

Wexler, A. (2017). The Social Context of "Do-It-Yourself" Brain Stimulation: Neurohackers, Biohackers, and Lifehackers. *Frontiers in Human Neuroscience*, 11, 224. https://doi.org/10.3389/fnhum.2017.00224

Certificate of registration issued by Roskomnadzor: ЭЛ № ФС77-75215 since 07 march 2019

Founder: Limited Liability Company Scientific Industrial Enterprise “Genesis. Frontier. Science”

Address: 24, Savushkina St. apt. 88, Astrakhan, Russia, 414056

Address of Editorial board: 57, Granovskiy per. apt. 2, Astrakhan, Russia, 414038

Editor-in-Chief: Olesya S. Yakushenkova, PhD

In case you have any questions about co-operation please write an e-mail the following address: admin@galacticamedia.com or galacticamedia@gmail.com

Phone: +7 (988) 068-63-72

Materials are intended for persons over 18 years old

This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International

© 2019 Galactica Media: Journal of Media Studies. E-ISSN: 2658-7734

Свидетельство о регистрации выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС77-75215 от 07 марта 2019

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «Генезис.Фронтир.Наука». ИНН/ОГРН: 3019005706/1123019003678

Юр. Адрес: Российская Федерация, 414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 24, кв. 88

Адрес редакции: 414038, Астраханская обл., г. Астрахань, Грановский пер., д. 57, кв. 2

Главный редактор: к.ф.н. Олеся Сергеевна Якушенкова

По всем вопросам сотрудничества и публикации материалов обращаться по e-mail: admin@galacticamedia.com или galacticamedia@gmail.com

Телефон: +7 (988) 068-63-72

Опубликованные в сетевом издании материалы предназначены для лиц старше 18 лет

Сетевое издание доступно по лицензии Creative Commons “Attribution” («Атрибуция») 4.0 Международная

© 2019 Галактика медиа: журнал медиа исследований. e-ISSN: 2658-7734